



Игорь  
Шестков

САД  
НАСЛАЖДЕНИЙ

Игорь  
ШЕСТКОВ

САД  
НАСЛАЖДЕНИЙ

БЕРЛИН 2020

**Игорь Шестков**  
Сад наслаждений

Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow) – берлинский писатель-эмигрант. Родился и вырос в Москве. Окончил МГУ. Эмигрировал в Германию в 1990 году. Жил в Саксонии, затем переехал в Берлин. Гражданин Германии. Писать прозу по-русски начал в 2003 году. Сборник рассказов «Сад наслаждений» составляет вместе с уже напечатанными книгами «Ужас на заброшенной фабрике» и «Покажи мне дорогу в ад» полное собрание рассказов писателя.

© Igor Heinrich Schestkow 2020

ISBN 978-3-75315-936-2

## СКОРПИОНЫ

Вместо того чтобы сидеть на скучной лекции в душной аудитории, поехал в Пушкинский музей. Бродил, бродил... зашел в зал с фаюмскими портретами. Сел на лавку и устался на стену с окошечками...

Постепенно мной завладело известное загадочное чувство — дежавю. Оно сопровождалось волной радости. Неизвестно откуда пришла уверенность — я знал этих людей! Искал их всю жизнь и, наконец, нашел... на фаюмских портретах.

Начал вспоминать, рыть, пробиваться сквозь известковые стены времени, но мне не удавалось вызвать в памяти ничего, кроме пустыни, пальм и обжигающего ветра. Нос ощутил нездешние ароматы, на зубах захрустел песок...

Портреты смотрели на меня большими семитскими глазами — так выразительно, так живо. Казалось, что это не портреты, а живые люди, заточенные в плоские неумелые изображения. Если бы я верил в переселение душ, то все было бы ясно — в мою прошлую жизнь там, в Египте, я был ремесленником, изготавливающим подобные художества. Но я не верил в метемпсихоз, потому что никогда не замечал других существ в самом себе, кроме отца, матери, дедушек и бабушек. Это во мне голос деда, а это — явно голос матери, говорил я часто самому себе. Но сейчас, перед портретами, во мне звучал давно ожидаемый, но неведомый голос. Он говорил во мне, говорил со мной. Язык его был сладостен, и я понимал его. Воспроизвести его я не мог бы и тогда, тем более не могу сейчас. Но смысл его слов я не забыл.

— Ты был с нами. Ты и сейчас наш. Ты должен изменить свою жизнь. Твое дело изображать души людей. Их судьбу. Их посмертье. Ты можешь это. Ты мог это делать среди нас, сможешь и в твоё время. Не забывай нас. Ты был с нами. Ты один из нас.

Со мной говорил самый старый из портретов коллекции, «Портрет римлянина», написанный, согласно тексту на табличке, в конце первого века нашей эры. Стало быть, современник Домициана. Возможно, участник Иудейской войны, живущий на императорской пенсии. Но почему в Египте? Какая-нибудь романтическая история? Не знаю. Я его ни о чем не спрашивал. Я был в трансе и боялся прервать этот потрясающий опыт. Смотрел на оживающие изображения двухтысячелетней давности и слышал голоса. Если бы мне кто-то рассказал об этом, я поднял бы рассказчика на смех. До сих пор я не знаю точно, что же было со мной — или я действительно вступил в контакт с душами давно умерших людей или мое собственное подсознание разыграло со мной эту сцену, чтобы вывести из реального — в метафизическое, магическое пространство. Увести в сторону от советской помойки.

Приехав домой, я взял тушь, лист картона и начал рисовать мою бабушку, согласившуюся двадцать минут сидеть неподвижно. Рисунок получился неловкий, но похожий. Важнее похожести было для меня то, что исполнилось предсказание — да, я действительно мог отобразить в рисунке душу портретируемого. Моя прежняя жизнь кончилась. Началось нечто новое, то, что мне и сейчас трудно определить. Мое существование получило пусть иллюзорный, но смысл, задание. Надежду на то, что наш мир в действительности не таков, каким он нам представляется, и его истинную сущность можно выразить средствами искусства. Примерно так, как это делали скромные ремесленники, малюющие восковыми красками портреты маленьких людей в малозначительных египетских селениях. Чтобы облегчить им встречу с богами.

...

Реальная жизнь сурово покарала меня за эти романтические бредни. Мои знакомые и родственники считают меня безнадежным идиотом. Я потерял сон. Когда я закрываю глаза и пытаюсь хоть немного подремать, передо мной возникает образ пустыни, я слышу шелест песка и вижу бесконечные дюны, по которым ползут оранжевые скорпионы.

## БЕШЕНЫЙ ВОЛК

Случилась это в начале шестидесятых. Я отдыхал с бабушкой в Доме отдыха на Клязьме. Мне было восемь лет. Каждый вечер нам показывали кино. А перед кино, как тогда было принято, журнал. Обычно — «Новости дня». Это было скучно, но успокаивало. Партия и правительство заботились о народе. Народ отвечал безграничной преданностью партии. Урожай собрали вовремя. Стали выплавлять больше всех в мире. Балет Большого театра выступил с успехом в Лондоне и Рязани. Но в тот раз журнал заменили актуальным агитационным фильмом. Как было написано в титрах — «снятым в целях предотвращения укусов населения бешеными животными». Фильм был сделан в традициях экспрессионистического немого кино. В начале показали лес. Без звука. Черно-белый. Ветки деревьев беззвучно качались. По высокой траве на поляне ходили волны ветра. Потом торжественный голос возвестил: «Лес европейской части нашей страны таит в себе опасность. Все чаще встречаются в нем зараженные бациллой бешенства животные. Бешеные лисы. Бешеные хорьки. Бешеные волки. Будьте бдительны! В случае укушения немедленно обращайтесь к врачу!»

На экране появляется волк. Он стоит рядом с кустами. Камера показывает волка издали, потом начинает укрупнять план — морда волка медленно растет. Волк смотрит вниз. Косящие его глаза полны муки и безумия. Из пасти идет пена.

Потом на экране больничная палата. Бесконечный ряд кроватей с больными. Вот и больной мальчик. Его лицо искажено страхом. Диктор говорит сурово: «Его укусил бешеный волк! Он не обратился к врачу. А вакцина от бешенства действует только в день укуса. Ребенок умрет!»

Это значит, никакая сила не в состоянии его спасти. Ни партия, ни правительство. Ни сталь не поможет, ни балет.

Мальчику придется превращаться в такого же страшного, косо в землю смотрящего зверя. Бояться воды и света. Кусаться, бесноваться и умереть в одиночестве в лесу. Его труп будут грызть маленькие гадкие животные. Остатки сожрут муравьи.

Я почувствовал, как по моей спине забегали мурашки. Меня бросило в жар, я пролепетал что-то сидящей рядом бабушке, встал и вышел из темного кинозала. Бабушка догнала меня. Взяла за руку и проводила в нашу комнатку с двумя кроватями и тумбочкой. Я разделся и лег. Мне было страшно.

Всю ночь меня трясло. Болело горло. Поднялась температура. Бабушка сидела рядом. Приходил врач. Говорил что-то успокоительное. На лоб мне положили холодный компресс, который сейчас же стал теплым и противным. Ноги мне растирали водкой. Все это не помогало.

Перед глазами у меня был страшный лес. Огромные деревья беззвучно шевелили ветками. По траве проходили как конвульсии волны ветра. На опушке леса стоял бешеный волк и косо глядел вниз. Безумный мальчик беззвучно неся по черно-белому лесу — он не хотел умирать.

## АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Было это там же, на Клязьме. Мне уже исполнилось шестнадцать лет, и я стыдился того, что я в Доме отдыха не один, а с старой больной бабушкой.

Я только недавно приехал с побережья Черного моря. С меня еще не сошел оливково-шоколадный загар. Сравнивая свою руку с руками сверстников, я убеждался в превосходстве черноморского загара над подмосковным, багровым.

Чувство отчаянной радости бытия переполняло меня. Я все время смеялся. Часто прыгал и скакал без цели. Курил. Вызывающе смотрел не только на сверстниц, но и на казавшихся мне пожилыми двадцати двух — двадцати трехлетних девушек. Выходя из воды после купания, напрягал мышцы спины, чтобы подчеркнуть треугольность ее формы.

Среди отдыхающих Дома отдыха попадались странные люди. Одного из них, невзрачного мужчину средних лет, звали Чижов или Чижиков. Он был, как рассказывали, «в те времена» главным прокурором Украины. Говорили, что этот «зверь» отправил на тот свет несметное количество людей. «В те времена» означало — во времена сталинщины. В начале семидесятых имя Сталина еще произносили шепотом. Или вообще не произносили. Говорили: «Усатый, Вождь, Друг детей. Или — во времена культа личности». А кого культ — не поясняли.

Я заметил, что этот Чижов явно ищет возможности поговорить. Мне это хоть и не было приятно (что со стариками разговаривать?), но все-таки немного льстило. Как ни как — а «бывший главный прокурор Украины». В советские времена слово «главный» обладало магической силой и пахло томительно сладко. Властью. Влиянием. Деньгами.

Однажды он заговорил со мной. Было это на пляже. Сказал — как ты хорошо плаваешь, какой красивый стиль. Мне понравилось, что он заметил мой кроль. Я тоже считал



его очень красивым. Что-то ответил, мы немного потрепались. Приятно было, что взрослый говорит со мной просто, как с равным, без нравоучений или претензий. Он обращался ко мне на ты. Я с ним — на вы. На следующий день мы уже здоровались как старые приятели. Еще через день он предложил пройтись с ним вместе «к охотникам». Это означало — дойти до отдаленного охотничьего домика по асфальтированной дороге, а обратно — по лесу и берегу водохранилища. Обычно эта прогулка занимала часа три.

Я согласился, хотя что-то меня настораживало. Внутренний голос подсказывал мне — что-то этому Чижиху от меня надо. Может быть и скверное. Как-то он странно держался, разговаривая. Лицо шершавое, глаз не видно, брови как кусты. Руки — большие, сильные, часто сжимались в кулаки. Нервные руки. Роста он был небольшого. Невзрачен, но эта его невзрачность, как я заметил, маскировала непонятное мне стремление. К чему? Я не понимал.

Бабушке я не сказал, куда иду и с кем. Она мне доверяла, потому что знала — несмотря на мою молодость и глупость я был московским человеком, был готов к отпору всяческих посягательств. Кроме того я был и трусоват.

Мы вышли после обеда. Жарко. Я — в шортах и майке. Под шортами плавки, на случай если захочется искупаться. Мой спутник — в казенных штанах, в ковбойке с длинными рукавами, на спине он нес увесистый рюкзак. А в нем — две бутылки портвейна, стаканы, надувной матрас, хлеб, банка килек и одеяло.

...

Мы шли по асфальтированной дороге, болтали о незначительных вещах. В числе прочего, Чижихов спросил меня, не ходили ли мальчики моего класса вместе в баню. Я ответил — нет. На это он захохотал и сказал, что это так замечательно — париться вместе... И для тела полезно и потом здорово.

Мне всегда были отвратительны общественные бани. Совместный помыв уничтожает неприкосновенность личности. Как неприятны случайные прикосновения чужих скользких тел! Черные ногти и изъеденные грибкамии пальцы ног банных посетителей всегда приводили меня в отчая-

ные. Мне казалось, что боги или природа допустили ошибку в конструировании... Бесформенные, похожие на чурку тела, гигантские отвислые животы, волосатые спины, изношенные гениталии — все это внушает страх и свидетельствует о трудной, механической жизни их обладателей. И сколько ни потей, ни мойся, сколько друг друга березовым веником ни хлещи, а ни здоровей, ни красивей не станешь. После русской бани распаренные красномордые мужчины обычно накачиваются пивом с водкой... Гадко.

По дороге мы болтали. Дошли до охотничьего домика. Повернули назад. Углубились в лес. Шли по лесу минут десять. Вышли на небольшую поляну с шелковистой высокой травой. Тут Чижов захотел сделать привал. Он вынул из рюкзака матрас, предложил мне его надуть, а сам пошел за дровами для костра. Скоро и костер горел и матрас был надут и одеяло на него брошено. Чижов достал портвейн. Налил в стаканы. Сказал: «Ну, будем здоровы!»

Выпил свой портвейн залпом. Я тоже попытался выпить залпом стакан пахнущей помоями жидкости, но подавился и закашлялся. Пришлось пить маленькими глотками.

Закусили хлебом и кильками. После второго стакана я опьянел. Меня развезло, я потихоньку отключился. Не совсем, конечно. Помню смутно, как Чижов что-то мне шептал на ухо, смеялся. Протягивал мне третий стакан. Уговаривал выпить. Я стакан от себя отталкивал. Потом его шершавое лицо вдруг приблизилось к моему лицу. Он поцеловал меня. Я пытался отстраниться. Он обнял меня, крепко сжал. Отпустил. Стал раздевать. Я был пассивен. Ничего не понимал. Весь мир крутился вокруг моего носа. В глазах стояло бурое море. Мне казалось, что я, как бутылка, полон портвейна. Казалось, что Чижов пытается меня выпить.

— Не пей, — убеждал я. — Не пей!

— Выпью, выпью, — отзывался Чижов.

Потом мы стали бороться. Чижов навалился на меня. Обхватил и стал крутить. Я вяло пытался ему противодействовать. Руки меня не слушались. Ударил его ногой в голый живот. Моя пятка скользнула по животу как по салу. Чижов придавил меня и опять появилось чувство, что он пытается высосать меня. Как ракушку.

Не знаю, долго ли все это продолжалось. Мне казалось — вечность. Когда я, наконец, пришел в себя, то не сразу понял, что лежу на надувном матрасе. Под гадким колючим одеялом. Голый и пьяный. Но дееспособный. Чижов стоял метрах в пяти и мочился на березу. Он был тоже голый, маленький и страшный. Повернул голову, посмотрел в мою сторону. Засмеялся гадко. И тут я узнал в Чижове волка. Он смотрел вниз, во всей его фигуре было что-то больное, безумное.

Тут, наконец, до меня дошло. Дошло, зачем он хвалил мое плавание, зачем прогулка и портвейн. Меня охватила ярость.

Я крикнул: «Отъебись от меня, пидор поганый!»

Он отозвался: «Не теряй стиля, Димочка. Я таких как ты валенком хлебал, на карандаш насаживал! Интеллигенттики!»

— Засунь свои валенки и карандаши себе в задницу!

— Ты лучше полижи мой аленький цветочек!

Сказав это, он показал мне свой черно-красный зад, растянув своими большими руками ягодицы. Потом встал на четвереньки, и начал так, на четырех конечностях, бегать вокруг костра. Пришел в экстаз. Рот его был полуоткрыт, в углах рта выступила пена.

На ходу он долдонил про себя: «Маменькины сынки, дрянь, сосунки... Сколько я вас покрошил... Аа, Аа, Аа... Говноеды!»

Мне хотелось встать, ударить его изо всех сил ногой и убежать. Но я его боялся. Боялся, что он догонит, прыгнет, вопьется мне когтями в спину и укусит как волк, перегрызет шейный позвонок.

Я нашел глазами мои плавки, валявшиеся рядом с матрасом, и попытался достать их рукой. Чижов заметил это, зарычал и вцепился мне зубами в руку. Укусил. Потом отпустил руку, схватил зубами, как пес, плавки и унес. Бросил их в сторону, мотнув головой. Завыл. Пятясь и вихляя задом, пополз назад ко мне. На расстоянии вытянутой руки остановился. Опять растянул руками ягодицы. Я против воли посмотрел на его дырку. Она была раскрыта и подрагивала. Волчий анус. Аленький цветочек.

Потом он упал в изнеможении на траву. Стал по ней кататься и дергаться как паралитик.

Я нашел в себе силы встать. Надел шорты, майку, кеды. Чижов тем временем переполз на матрас. Укрылся одеялом. Допил прямо из горлышка вторую бутылку портвейна. И сразу захрапел.

Я ушел от него. Вышел на берег водохранилища. Разделся и прыгнул в зеленоватую воду. Прополоскал горло, натер себя мягкой глиной, вымылся. И наплавался вволю.

В воде полегчало. Я вышел на берег, оделся на мокрое тело и побежал в Дом отдыха. Бабушки в комнате не было. Пошел в столовую. За нашим столом уже сидела бабушка, ее подруга Раиса Романовна и ее муж, профессор химик. Они разговаривали о новом романе Фолкнера. Официантки разносили чай и свежее испеченные ватрушки.

## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

В начале восьмидесятых я работал в НИИ в Москве. Вместе со мной там трудился аспирант А., симпатичный парень из провинции. Он часто рассказывал про своего отца, командира вертолетного подразделения на афганской войне.

Аспирант корпел три года и в конце с успехом защитил диссертацию. После защиты тогда еще устраивали банкеты. На банкет прибыл отец аспиранта, подполковник, молодой 50-летний человек. Он пришел не в форме, а в импортном вельветовом пиджаке и американских джинсах — до советского вторжения Афганистан был чем-то вроде перевалочного пункта для многих западных товаров и доблестные войны советской армии, особенно офицеры, крепко там прибрахлились. Подполковник вел себя на банкете поначалу скромно, потом стал вальяжнее, сделал несколько комплиментов нашим лабораторским дамам. Плясал и пел. А к концу банкета нарезался всерьез, погрузился и стал агрессивен. Так часто бывает с русскими людьми — пьяные вначале плачут, потом блюют, потом дерутся. Или тоже, но в обратном порядке. Подполковник не дрался, но говорил задиристо.

Он кричал: «Вы тут танцуете, а я людей убивал. Понимаете, я людей убивал! Вот этими руками. Афганов. Вы тут науками занимаетесь. А я военный. Я верен партии и народу, а вы все удрать хотите. Я исполняю этот, как его, блин, ну... интернациональный долг. Я людей убиваю!»

— Меня жена бросила, — сказал он напоследок совсем тихо. И заплакал.

К нему подошли, пытались его успокоить. Аспирант сгорал от стыда. Потом махнул на все рукой и сел рядом с отцом. Вскоре подполковник плакать перестал. Сидел, молчал и тупо глядел перед собой. Сын его утешал. Я подошел к ним. Подполковник опять начал говорить.

— Эх, ребятки. Расскажу вам одну историю. Короткую. Было это под Кандагаром. Нам дали приказ очистить деревню, потому что там боевики якобы засели. Ну эти, афганцы, духи. Командиру легко в Кабуле. Они там сидят, водку пьют и приказы раздают. Очистить деревню. Это значит прилететь туда на вертолетах. А потом — что? Начнешь высаживать солдат — сразу получишь или гранату или очередь из пулемета. Значит, солдат не высаживаешь, а только сверху бомбишь. Так они все в норах попрятались. Умные. В норах и жратва и оружие. А сверху только ихние бабы да детишки бегают. Ты отбомбишься, улетишь. А завтра за границей везде фотографии — мертвые женщины и дети. Советские их убили. А душманы дальше воюют. На конвои нападают. Из Кабула директива приходит — не бомбить, а высаживаться и очищать. Ну, тут мое дело солдат доставить и смыться побыстрее. А к вечеру — забрать кого можно. Обычно я сам в операциях не участвую. Только планирую, контролирую, рапортую. А тут приказ — самому возглавить операцию... Звоню генералу Л., мы с ним вместе в академии учились. Леша, говорю, я ведь вертолетчик, а не пехота. Ты что, охуел? Посылай Маринина, а я буду только ишаком.

Нет, говорит, товарищ майор, вы ответственный за операцию.

Сволочь! Потом, на базе, после карт, ржал как конь. Что мол, как мы тебя в бутылку загнали!

Ну это потом. А мне в деревню лететь надо. Там воевать. А до деревни десять ущелий, воздушные потоки там, турбулентность, машины будет мотать, солдаты блевать будут.

Ладно, полетели. Потряслись. Поблевали. Высадил я солдат рядом с деревушкой. Сам тоже вышел. Обстрела не было. Не было вообще никого. В одну хибару ворвались, в другую. Нет никого. Значит, жди засады или другого подвоха какого. Деревня, вроде как в долине. Вокруг только камни, то ли степь, то ли пустыня. И пещеры. Что они тут жрут? Как живут? И главное, что мы тут забыли? Ладно, думать не положено! Тебе доведено и делай, что приказано!

Ну вот, ходят, значит, солдаты с огнеметами, хибары обыскивают и зажигают. Что еще делать-то? Оружия мы не

нашли. Зато барахлишко кое-какое прихватили. Откуда что берется? Известно откуда — опиум там разводят, но об этом говорить запрещено. Молчок.

Ну вот, хожу по деревне. Прикидываю, что в рапорте писать буду. Попросил у солдата огнемёт. Захотелось попробовать, никогда сам до того не жег. Отличная машина. Металл прожигает. Вдруг вижу — тень мелькнула на улице. Как чиркнула. Я стою с огнеметом, жду. Напрягся. Потом еще раз — тень у каменной стены. Ну, думаю, сейчас из всех углов повыскачат и нас порешат. Потом смотрю, прямо на середине улицы стоит кто-то, не солдат, не афган, а вроде собака. Пригляделся — волк, волчара огромная. Смотрит косо, вниз. На морде — пена.

Бешеный значит. Ну тут я огнеметом и дал по нему. Он взметнулся вверх. Как ангел огненный. А потом упал и сгорел. Мы потом с солдатом разглядывали — только пепел серый остался. Ну, кино.

Мы улетели. После узнали, что жители бешеного волка испугались и в горах отсиживались. Это им жизнь и спасло. Ведь обычно их всех наши солдаты огнеметами сжигали. И женщин и детей. Что на них пули то тратить. Все одно — афганы.

И ведь что смешно, мне за эту операцию подполковника дали. За волка. Я в рапорте много чего порасписал. Ну что ребята. Давай выпьем, у меня сын — кандидат, а я вам все байки рассказываю.

...

Банкет закончился благополучно. Кое-кто немного перепил, а так, ничего, все были довольны.

## ПАЛЬЦЕВ

Я даже имени его не знал. Фамилия его была — Пальцев. Кличка, естественно «Палец». С ударением во всех падежах на последнем слог.

Учителя говорили: «Пальцев, к доске!»

Или: «Пальцев, не ковырай в носу! Пальцев, сядь нормально и слушай!»

Но никогда его имени не называли. Хотя многих других школьников — и любимчиков и хулиганов звали по имени — они, мол, всем известны. Имена любимчиков произносились ласково, интимно, имена прогульщиков, хулиганов — с интонацией дикторов центрального телевидения, когда они кого-нибудь клеймят, например, израильскую военщину или режим Смита. А Пальцев был вне добра и зла. Он был Пальцев. Чудик. Не от мира сего. Придурок!

Хотя дураком он не был и все это прекрасно знали. В редкие минуты присутствия на земле был он сосредоточен, задачи по арифметике решал быстро, только всегда не так, как требовали учителя. Иногда они его даже не понимали, слишком нестандартно было мышление этого пятиклассника. Но обычно дух его витал в небесах, а брэнное тело ковыряло в носу, сидело не нормально, учителей не слушало и подчас само, без помощи соседей, падало на пол.

Одноклассники жестоко травили «Пальца». Травля начиналась до уроков, шла весь школьный день и продолжалась нередко и после занятий. Называлось это на классном жаргоне — травить Пальца до смерти. Как только его тощая фигура появлялась в дверном проеме нашего класса, полагалось громко крикнуть: «Палец пришел! Трави Пальца!»

После этого надо было ухитриться вырвать у него ранец и начать дразнить, а когда он подбежит, чтобы вырвать ранец из рук обидчика, бросить ранец другому, сопровождая это комментариями вроде: «Палец, ну что ты травмишься?



Никто у тебя ранец не собирается отнимать, ну, подойди, возьми ранец, возьми! А, не можешь? Тебе мама на завтрак что положила? Бутерброд? На скушай! Что, съел? Трави Пальца до смерти! До смерти трави!»

Пальцев знал, что его ожидает в классе. Знал, что у него вырвут ранец. Спротивлялся. Упорно, безнадежно. Подбегал к обидчику, пытался схватить ранец за лямки, схватив, тянул к себе. Но как-то робко, заторможенно. То ли в руках у него была слабость, оставшаяся от перенесенного в детстве полиомиелита, то ли он боялся по-настоящему агрессивно отвечать на травлю. Единственное возможное средство против травли — взять себя в руки, не бегать собачкой от одного к другому, не выть, просто сесть за парту и подождать, пока все уляжется, было почему-то ему недоступно.

Все его движения были странно замедленными. Именно эта замедленность всего его существа больше всего раздражало его одноклассников. Инстинкт заставлял их травить чужака, чье присутствие нарушало психическую и пространственно-временную стабильность их ординарного мира.

Ранец летал как бабочка от одного школьника к другому. Пальцев тяжело бежал за ним. Пыхтел. Пытался догнать ускользящее мгновенье. Ускорялся. Может быть мы хотели от него этого ускорения? Или превращения его в одного из нас — все мы были моторными психопатами. А он был каким-то Буддой.

Иногда он явственно — застревал в чем-то для нас невидимом, погружался в себя и забывал и о ранце, и о травле. В такие мгновения он шептал, делал руками странные движения, как бы писал на доске, отвечал кому-то. В этом случае полагалось «оживить» Пальца, т.е. ткнуть его пару раз ранцем в лицо. Желательно пряжками в нос. Чтобы он очнулся и дальше травился.

После «оживления» Пальцев разъярялся и бросался на обидчика, подняв обе руки вверх, как распятый апостол Андрей. Но не бил. Никогда и никого. Вообще ни к кому не прикасался. Прикосновения были для него табу. Как будто он боялся повредить пыльцу на чьих-то невидимых крыльшках. Одноклассники это знали и травили его без опасений, что он в один прекрасный момент расписхуется и уда-

рит кого-нибудь кирпичом по голове. Травля продолжалась обычно до того момента, пока в классе не появлялся учитель. Пальцева оставляли в покое до перемены. Хотя иногда его «дергали» и на уроках. После звонка травля начиналась с начала.

Травили Пальцева все мальчики нашего класса — и хорошие ученики и плохие, и хулиганы и «школьники примерного поведения», травил и я. Травля слабого давала своеобразную психологическую фору. Не меня ведь травят! А Пальца. Он не такой как все, значит его надо травить. Его все травят. И я травлю. Я участвую в том, что делают все. Я часть. А Палец — сам по себе. Пусть за это и получает. Его не жалко.

Для трех моих одноклассников травля Пальцева стала главным содержанием школьного дня. Одним из них был хорошист Лусев, вторым — хулиган и троечник Ашкенази, третьим — двоечник Петя Тужин по кличке «Петух». Лусев был лицемер, законченный мерзавец, садист. С учителями — сдержан, умен. С сильными учениками — прост, с средними и слабыми — высокомерен. Сквозь Ашкенази, казалось, дул криминальный ветер. Он не был садистом, как Лусев, просто у него не было никаких других жизненных мотиваций кроме злых. Лусев и Ашкенази соперничали. Травить «чудика» было гораздо проще, чем выяснять друг с другом отношения — их силы были примерно равны. Петух сам был «слабаком» и травил Пальцева, потому что боялся, что одноклассники начнут травить его самого.

Мои одноклассницы в травле Пальцева не участвовали — они были заняты выяснением отношений между собой. У них тоже была жертвочка — Юлия Бернадская, прозванная «Ссычкой» за случившуюся с ней еще в первом классе на уроке неприятность. Это была чрезвычайно застенчивая девочка из семьи инженера. Один раз я видел ее отца на классном собрании, куда ученики должны были явиться с родителями. Маленький еврей, худой, запуганный. Он все время потирал красные потные руки, ерзал на стуле, когда речь шла о его дочери (училась она посредственно), видно было, что он боится нашу классную руководительницу — дородную учительницу истории Клавдию Дмитриевну.

Девочки Юлю не травили, а умеренно третировали. Кидали в нее бумажки, говорили о ней как о последней дуре, неряхе, уродине, иногда, желая унижить, называли в лицо Ссычкой. Но часто оставляли в покое. Мальчики Бернадскую до поры до времени просто не замечали. Все изменилось, когда у нее стали расти груди.

Лусев заметил это первый.

— Димыч, — сказал он мне на перемене. — Посмотри на Юльку! Вот это буфера! Знаешь, что еврейки всегда теплые? У евреек всегда течет!

Я не знал, что сказать. Не понимал, что значит «теплые», что — «течет». Но почувствовал, что Лусев сказал гнусность.

— Ты, Лусев, у тебя самого не течет?

— Течет, течет, еще как течет.

Проговорив это, он удалился. На конфликт не пошел.

Вот сволочь, подумал я. Надо будет найти повод и дать ему в морду.

Когда Юля проходила мимо, я незаметно взглянул на нее и сразу заметил, что Лусев был прав. Под школьной формой колыхались два увесистых холмика. Это взволновало меня. Захотелось положить на холмики руки и сжать их пальцами. По животу прошла судорога. Я невольно закрыл глаза. Проглотил слюну. Юля заметила мои гримасы, грустно посмотрела в мою сторону и быстро пошла дальше. На ее бледном лице не появилось даже следа женского удовлетворения — знаю, мол, что ты хочешь! Только печаль и страх новых осложнений и унижений.

...

В тот день Пальцева травили особенно жестоко. Он травился, мычал, размахивал как Дон Кихот длинными руками. Перед звонком Лусев демонстративно вытряс на пол содержимое его ранца. Ашкенази ударил выпавшие учебники ногой. Учебники разлетелись по классу как птицы. Одна книга разорвалась пополам. Петух схватил сверток с завтраком Пальцева, развернул его и принялся, по-клоунски ухмыляясь, есть бутерброд. Я заметил, что Юля Бернадская не смотрела на травлю, как другие, а отвела глаза.

На перемене о Пальцеве забыли. Может быть забава надоела или что-то отвлекло. Школьный мир волновался как шарик ртути на руке — малейшее движение приводило к фатальным изменениям.

Первый урок тянулся бесконечно долго. Учительница биологии рассказывала о размножении кольчатых червей. Потом была арифметика. Любимыми педагогическими высказываниями нашего учителя Федора Федоровича были: «Проще пареной репы» и «Как об стенку горох».

Он говорил: «Тужин, сложить одну вторую с одной третьей не можешь, а ведь это проще пареной репы! Но тебе ведь и объяснить бесполезно — как об стену горох!»

Я представлял себе огромную вареную репу. Репа лежит на столе, от нее идет пар. Федор Федорович режет ее ножиком. Внутри репа гладкая и действительно очень простая.

— Проще пареной репы! — говорит Федор Федорович. Рядом с репой лежит открытый мешок сухого разноцветного гороха. Федор Федорович запускает в него волосатую руку и достает горсть. Потом бросает горох яростно в стену. Горох отскакивает от стены и с противным шелестом рассыпается по полу.

— Как об стену горох! — подтверждает учитель горестно.

После третьего урока была большая перемена — двадцать минут. Можно было расслабиться. Даже тайком из школы выйти и сбежать к универмагу «Москва», купить пирожок с мясом или с повидлом. К универмагу я не побежал, решил просто постоять в зале у окна.

Стою, смотрю. Отдыхаю.

Подходит ко мне Петух и говорит: «Димыч, пошли в тупик, там ребята Юльку зажали — за сиськи лапают. Пошли, пока не убежала!»

Сказал и смылся.

Я пошел вверх по одной из школьных лестниц. На последнем, пятом этаже школы был актовый зал. Когда его двери были закрыты, перед ними образовывался «тупик», о котором говорил Петух. Тупик ограничивали — стена, огромные двери в актовый зал и стальная решетчатая дверь на чердачную лестницу. Учителя и школьники младших классов туда не заходили, старшеклассники предпочитали ку-

рить на улице или в туалете. Турик был свободной зоной для нас, пятиклассников. Там сводили счеты, играли на деньги в «трясучку», изредка торговали сигаретами или почтовыми марками. Девочки туда не ходили. Боялись. Не знаю, как удалось Лусеву заманить туда Юлю. В том, что это была его идея, я не сомневался. Ашкенази был зол, но прост. Петух — просто дурак.

Поднимаясь по лестнице с четвертого на пятый этаж, я прислушивался — сверху ничего не доносилось. Не наврал ли Петух?

Достиг, наконец, тупика. Петух не наврал. Юля стояла, привязанная за руки к решетке. Измочаленная школьная блуза была стянута на лицо — своих мучителей она не видела. Старый белый бюстгальтер мотался на шее. Лапали трое — Лусев, Ашкенази и Петух. Молча хватили за груди. Схватив, отпускали. Потом опять хватили. Схватить было не легко, потому что Юля брыкалась и выкручивалась, несмотря на связанные руки. Пыталась ударить коленом в пах. Я видел, как Лусев схватил Юлю за сосок. Крутанул его, как выключатель. Юля глухо застонала. Лусев схватил ее и за другой сосок. Тут Ашкенази отодрал его руки от Юли и схватил груди сам. Потянул их на себя.

Меня охватило бешеное желание. И, одновременно, — отчаянье и ужас.

Как шальной подскочил к Юле, отпихнул остальных и схватил ее за груди. Сжал в ладонях. Мне представилось, что ее груди состоят из мягкой резины, сваренной из молока. Внутри них нащупывались как бы нежные яблочки. Их хотелось взять в рот и надкусить. Я неловко поцеловал Юлю в сосок. Меня ударил электрический ток. Такого блаженства я еще не испытывал. Я чувствовал себя одновременно и садистом Лусевым и хулиганом Ашкенази, дураком Петухом и несчастной Ссычкой. Господом Богом в экстазе вечного оргазма и Сатаной в содрогании вечной муки.

Тут Юля попала мне коленом в пах. Я выпустил ее, согнулся и отошел в сторону. Ее сейчас же облепили другие. Неожиданно в тупике появился Пальцев.

— Вы что, что тут делаете? — воскликнул он скрипучим высоким голосом и добавил. — Гады!

— Отвали, Палец! Твоя очередь еще придет.

— Ах, гады!

Сказав это, Пальцев бросился на лапающих, забыв, вероятно, в пароксизме гнева о табу на прикосновения. Он вел себя так, как будто кто-то вложил в него уверенность и силу.

Отбросил Петуха в сторону. Петух стукнулся головой о кирпичную стену. Схватил квадратного атлета Ашкенази, отодрал его от Юли, заломил ему назад руку и дал крепкого пинка в зад. Тот не ожидал от Пальцева такой прыти. Упал в углу тупика. Подвернул ногу. Завопил.

Лусев всего этого не замечал. Он лапал как одержимый. Пальцев налетел и на него, оттащил от девочки. Они сцепились. Упали. Покатались. Тут поднялся Ашкенази и ударил Пальцева ногой в бок — по почкам. Полез к Юле.

В этот момент решалась моя судьба. У меня не было времени трусить. Или надо было вставать на сторону Ашкенази и Лусева или заступаться за Пальцева и Бернадскую.

Я бросился на Ашкенази. Получил удар под дых. Это называлось у него — «в душу». Задохнулся. Потом — по ребрам («в торец»). Переборов боль, увернулся от третьего удара и схватил Ашкенази «стальным зажимом» за шею. Начал жать. Он не сдавался. Прохрипел: «Отпусти, убью!»

Я сжал еще крепче. Он закатил глаза. Тут я, наконец, услышал страшный крик Клавдии Дмитриевны. Она кричала мне в ухо: «Отпусти его, ты его задушишь!»

Отпустил. Ашкенази был без сознания. На его лице застыла презрительная улыбка. Очнулся он минут через пять.

Я огляделся. Вокруг сновали учителя. Юлю развязали, увели. Петух убежал, по-видимому еще до прихода учителей. Пальцев и Лусев еще дрались. Лусев бил Пальцева кулаком в живот, тот кусал Лусева в плечо и царапал ему щеки. Их растащили.

Потом нас повели к директору, по кличке «Керогаз». Туда же привели и испуганного Петуха. Керогаз наорал на всех, вызвал в школу родителей.

На следующий день родители Юли забрали ее из нашей школы. Впоследствии ее семья была одной из первых, покинувших СССР в 1969 году. Юля окончила школу в Израиле и университет в Торонто. Стала врачом. Ашкенази из школы

исключили. По совокупности заслуг. Он перешел в другую школу, но до аттестата не доучился, попал в колонию для несовершеннолетних преступников. Петуха тоже исключили за неисправленные двойки по английскому и арифметике в году. Пальцев покинул нашу школу перед седьмым классом — перешел в соседнюю, математическую. То же сделал и я. Лусев выкрутился. Он благополучно доучился и стал после окончания юридического факультета МГУ следователем уголовного розыска.

...

В математической школе Пальцева не травил — кроме него там было много и других чудиков. Мы познакомились. Я узнал, что его зовут Володей. Что он интересуется астрономией и индийской философией. Что он прочитал книгу Зельдовича «Высшая математика для начинающих» и части «Махабхараты». В подходящий момент я попытался расспросить его о старой истории. Спросил его, как он узнал тогда, что Юлю мучают, почему не побоялся прийти на помощь, почему терпел, когда его травил?

Он ответил вопросом на вопрос: «А почему ты меня травил?»

— Потому что был дурак.

— А ты уверен, что перестал быть дураком?

— Нет, но кое-чему меня эта история научила.

— Ну вот, тебя — эта история, а меня научили астралы.

— Что ты плетешь? Расскажи подробнее.

— Это началось после моего сотрясения мозга. Меня сбил велосипедист на Ленинском. Сбил и удрал. А я на земле лежал. Когда я в больнице очнулся и глаза открыл, то понял, что я не на земле, а где-то там, далеко, на восьмой планете в системе Сириуса. Что тут на земле — только мое тело. Да и то не всегда. Описать это словами я не могу. Окружающий меня мир стал не таким, каким он был до моего падения. Сквозь него просвечивал ландшафт другой планеты, было видно новое небо. Кроме того, они показывали мне прошлое.

— Кто они?

— Астралы.

— Ну ты даешь! Кто же это такие, астралы?

— Хозяева времени. По моему миру они как тени летают. Они время разжимают, как гармошку, или, наоборот, сжимают. Например, видел я Лусева не только такого, каким он в классе был. Видел его дома, видел как его отец тиранил, как он от этого страдал и к этой тирании приспособлялся. Менялся. Он, даже когда гадом стал, мать от отца защищал. Заботился о ней. И во время травли, когда я руки подымал, чтобы его ударить, астралы мне как раз эти сцены показывали, как он мать защищает или как он маленький плачет, когда его, шестилетнего, отец порет. И я не мог его тронуть. А с Ашкенази — еще хуже. Его не только били, но с раннего детства пьяные воруги насиловали. У него отца не было, а мать пила и с блатными водилась. А Петуха в его собственном дворе на Шаболовке травили хуже, чем меня в классе. Никто этого не знает, а я это видел.

— А ты меня не дуришь, Палец? Сириус. Астралы. Тебя ведь проверить — проще пареной репы. Если астралы тебе меня тоже показывают... то... то скажи, что я сегодня на завтрак ел?

— Ничего не ел, ты проснулся, оделся и сразу в школу побежал.

Мне стало не по себе. Я действительно не завтракал. Неужели он не погибает? Что бы его еще такое спросить?

— Еще один вопрос. С кем я вчера встречался?

— С Инкой. На Динамо. Ты матери сказал, что на плавание пойдешь, а сам с Инкой поехал.

— Черт! А как тогда с Юлькой было? Тебе что же, и будущее показывают? — спросил я, удивляясь собственному безумию.

Пальцев замялся.

— С будущим сложнее. Это — как они захотят. Ясно не вижу. Как силуэт или дух... иногда вижу. И тогда, что с Юлей будет... увидел когда меня травили, а она глаза отводила. Ей потом Лусев сказал, что я в тупике стою и вою. Она туда меня выручать пошла.

Так все получалось красиво, что я дальше его расспрашивать не стал. Потом подумал и спросил все-таки: «Так ты, что же, и сейчас там, на Сириусе?»

— Ну да.



- И астралов видишь?
- Вижу.
- И что они тебе показывают? Из будущего?
- Размыто как-то все. Кажется, Берлин.
- До него, брат, дальше, чем до Сириуса!
- Как сказать.

Мы распрощались. И с тех пор обменивались только приветствиями или ничего не значащими фразами. Если я видел, что Пальцев на меня смотрит — невольно старался поскорее спрятаться.

Добавить к моему рассказу почти нечего. Окончив школу, Пальцев поступил на геологический. Еще студентом полюбил «севера». Ездил в экспедиции. Забичевал и остался в Сибири. В университет так и не вернулся. До сих пор не знаю, дурачил он меня или нет.

## ВАКХАНАЛИЯ

Когда мне было четырнадцать лет, я понял, что со мной что-то происходит. Сны меня замучили. Не сны, а сон. Он снился мне каждую ночь. Будто лежу я в огромном стеклянном цилиндре. Цилиндр широкий, вроде как труба. Верхний его конец в небесах, на Млечном пути, а нижний — в раскаленном центре земли. И весь он полон голыми женщинами, как консервная банка кильками. Но только вместо постного — там благоуханное розовое масло. Голые женщины и я с ними. Прикосновения их тел мне сказочно приятны. Женщины ласкают меня, мой язык шарит по укромным уголкам их тел, которые мне во сне представлялись очень нереалистично — как в японских мультфильмах. Просыпался я в страшном возбуждении. Как себя успокоить, не знал. Надо было вставать и в школу тащиться.

После школы я шел в близлежащий бассейн. Там тренировался — вначале в зале, потом и в воде. После плавания мылся под душем. Включал воду погорячее, закрывал глаза и балдел. Вспоминал свой сон.

Однажды я так замечтался, что не заметил, как все другие мальчики ушли одеваться в раздевалку. Все, кроме одного. Это был знакомый парень — Анисьев. Он стоял в отдаленной от меня душевой кабинке и совершал ритмичные движения рукой. Когда я подошел к нему, он повернулся ко мне и неожиданно спокойно спросил: «Тебе чего надо?»

Я сказал: «Это что, приятно что ли?»

— Ну и дурак ты. Не приятно, а офигенно!

Слово «офигенно» он произнес так, как будто в нем не одна, а десять букв — «е». Буква «о» перешла в громкий стон и мне на живот полетели белые капли. Я встал под соседний душ, смыл капли и сказал: «Но ведь это запрещено».

— Ничего не запрещено. Мне сосед, иностранец, показал. Год назад. А ты не пробовал?

— Пробовал, пробовал.

Это была неправда — я не «пробовал».

— Ну, дурак... Пробовал и не понравилось?

Пора было кончать разговор. Пока мой авторитет не испарился.

Я сказал: «Иди ты...»

И ушел в раздевалку.

Перед сном я «попробовал», но у меня ничего не получилось. К тому же мать пришла и прилегла рядом со мной. И тотчас заснула. Я ворочался, не мог заснуть. Тело матери было горячим, как грелка. Я разбудил ее, сказал: «Ма, ты горячая».

Мать что-то проворчала и ушла в свою комнату. А я заснул.

Дальше — хуже. Мой сон начал пробиваться в реальность. Реальность нехотя, но отступала. Я все еще не знал, что со мной. Никто из взрослых не приходил мне на помощь. Мать пыталась мне что-то объяснить, но из ее объяснений ничего хорошего не вышло.

Она говорила мне: «Сынок, в твоём возрасте в организме происходят серьезные изменения. Ты должен это понимать и не обращать внимания. Тренируйся больше в бассейне, больше читай и учись. И главное, спи с руками поверх одеяла».

Вот и вся наука. А у меня уже сексуальные галлюцинации начались. Сажу я, например, за письменным столом. И гляжу на шкаф. Его поверхность покрыта тысячами маленьких паутинок, образующих затейливые картинки. Абстрактные. Но я в них вижу голых женщин из своего сна. Их тела вертятся, переплетаются, закручиваются в спирали. Они тянут ко мне руки, вызывают тихими томными голосами.

Или — листаю я книгу чешских путешественников, которые проехали половину Африки, одну из немногих советских книг, в которой можно было увидеть нагое человеческое тело. Стоит мне на картинку посмотреть — она оживает. Чернокожие девушки начинают двигаться, они подмигивают мне, делают руками знаки — иди, иди к нам, танцуй с нами! Раздеваются. Я делаюсь маленький и вхожу в картинку. Приближаюсь к ним. Они вплетают меня как цветок в букет из своих тел...

Любопытно, что с живыми людьми у меня не было подобных эксцессов. Да, конечно, случайное прикосновение груди или бедер моих одноклассниц отзывалось во мне электрическим разрядом, но сами одноклассницы и более взрослые девушки не вызывали у меня эротических галлюцинаций. Возможно, мне мешала их реальность. Их плоть. Невозможность манипуляций с ними.

Тогда же я сам, без подсказки взрослых, открыл для себя искусство. Его эротическую сторону. Дрожащими руками листал я бабушкин альбом «Дрезденская галерея». На белой странице книги лежала нежнейшая, светящаяся «Венера» Джорджоне. На коленях стояла только распущенными волосами и куском полотна укрытая «Святая Агнесса» Рибейры, нагло расставив ноги, лежала, доминируя своим кубическим задом, «Девушка» Трюбнера.

Многие не эротические картины возбуждали меня даже больше, чем голые тела. Например, застрявшие в воздухе фигуры левой половины картины Боттичелли «Из жизни святого Зиновия». Я глядел на них и мое тело тоже «застревало», но не в воздухе и не в пространстве, а во времени. Загоралось огнем боттичеллевского колорита. Меня влекло внутрь картины, туда, в ее таинственные — входы, в окна другого мира. В ее преобразующую суть бытия, и тело, и душу волшебную камеру, в которой исполняются потаенные желания.

Мое скромное грехопадение произошло, увы, не с человеком, а с изображением. Не в музее, а дома. С репродукцией картины Пушкинского музея «Вакханалия».

Пространство этой картины заполнено не воздухом, а зеленоватым свечением, дионисическим нектаром. Тут пахнет вином, потом, женским молоком.

Посмотрев на «Вакханалию» я превратился в одного из сосущих молоко козлоногих мальчиков. Ощутил сладость во рту и приятное жжение внизу живота. Вспомнил урок в душевой бассейна. Через минуту все было кончено. Книгу пришлось оттирать тряпкой.

С тех пор жизнь моя изменилась. Или — раздвоилась. Превратилась в два сообщающихся сосуда. В одном сосуде

была эротика, в другом — все остальное. Это «остальное» волновало меня не слишком сильно, его задачей было представлять образы и ситуации для второй, главной половины.

— Тамара, — сказал отчим матери. — Ты же видишь, он нас готов спустить в сортир!

Эти слова я услышал случайно и подумал с ужасом: «Он прав, я их действительно в сортир готов спустить, потому что они мне мешают. Мешают своими упреками, придирками, бесконечными нравоучениями».

Я воспринимал жизнь, как конвейер образов и ситуаций, которые мои гормоны превращали в эротические, возбуждающие картины. Не только шкаф своей поверхностью, но и сама жизнь своей цветной лентой наполняла соблазнительными кошмарами мой «Декамерон».

Иногда видения имели сюрреалистический вид. Иду я, например, по Ленинскому проспекту. Смотрю на дома, на людей, на машины. И вдруг вижу — из всех окон смотрят на меня обнаженные синие женщины. Грациозно, через плечо. Очень классично. И соблазнительно. И все деревья на аллее оживают как дриады, синеют и тоже превращаются в синих красавиц. И из окон машин выглядывают синие женские лица. Огромное белое облако медленно синеет и меняет очертания. Появляется голова, руки, ноги. И вот, над проспектом уже висит гигантская синяя фигура. А под ней красный транспарант: «Партия — наш рулевой». И портрет Ильича.

Еще интенсивнее были мои эротико-архитектурные видения. Все дома представлялись мне как великаны. Они стоят и смотрят. Давят мощью своих коленей и спин. Они внутренне напряжены, эти колоссы. И сексуально озабочены. Страшно медлительны. Главное здание Московского университета на Ленинских горах — их предводитель. Предводитель московского войска.

Этот составленный из прямоугольников гигантский фаллос воткнул в глинистую почву Ленинских гор страшный дядя Сталин. По пояс. С тех пор он стоит и смотрит на Москву с высоты. Очертания его широких плечей украдены архитектором в Нью-Йорке. На сплюсненной цилиндрической

голове — шпилевидная дурацкая шапка. Вместо члена — гигантский куб с колоннами «Главный вход». Его тело разбито на зоны. В них муравьи учат муравьев.

После грехопадения физическое мое состояние улучшилось, но началось страдания другого рода. Меня мучило то, что я был сам себе муж или сам себе жена. Меня терзала не столько нечистая совесть, сколько сексуальное одиночество. Меня влекло к девушкам, но я не знал, что делать, что говорить. И стеснялся зверски.

Я решил, если не получится «по-хорошему», пойти к проституткам. По-хорошему не получалось. Не только потому, что я не знал, как подступиться, а потому, что подступаться было не к кому. Нравы и обычаи советского государства или, по крайней мере, среды, к которой я принадлежал, не позволяли какой-либо женщине или девушке «спутаться» с пацаном.

Из сэкономленных полтинников, которые мама давала мне на обед в школьном буфете, составила наконец гигантская для меня сумма в двадцать рублей.

Куда идти, где искать «блядей»? Как купить презерватив?

Я направился за информацией в параллельный класс — к Анисьеву. Анисьев был второгодником, ему было почти шестнадцать, и он мне представлялся знатоком амурных дел.

Вдоволь поиздевавшись над молокососом, Анисьев нехотя сообщил — девки в Москве есть только на Соколе. Стоят у метро в ряд. Выбирай любую.

— А сколько это стоит? — спросил я, не зная точно, что «это».

— От рубля до трешки.

Зря значит, я столько денег накопил.

— А где гондон купить?

— В аптеке.

Пошел я в аптеку.

— А не рано вам, молодой человек? — ехидно заметила аптекарша, заворачивая в бумажку два презерватива. Бумажка жгла мне руку. Спрятал ее поскорее в карман. И удрал.

Вечером наврал что-то для оправдания завтрашнего отсутствия дома. И на следующий день поехал. На метро. На Сокол.

По дороге думал: «Хорошо, что ехать целый час, надо успокоиться и взять себя в руки».

Это оказалось труднее, чем я полагал. Люди стали другими. Многие вопросительно и насмешливо смотрели на меня. Казалось, они хотят спросить: «А вы куда едете? На Сокол? А не рано вам, молодой человек?»

На мне горела шапка. Жгла совесть. Гадкий внутренний голос кричал: «Ни на что не годен, мудака!»

Внешний мир вторил: «А не рано ли тебе покупать женщин? Это ведь не пирожки с капустой. А презервативом умеешь пользоваться? Ничего у тебя не выйдет!»

И сам я говорил себе: «Ну ладно, приедешь ты на Сокол. Найдешь какую-нибудь. А куда ты с ней пойдешь? На дворе осень. Дождь. Лужи. Эх ты, дубина!»

...

Приехал. Выхожу на площадь. Народу вокруг! У парапета стоят женщины. Серые. Те? Черт их знает. Просмотрел их глазами. Вроде те. Подошел к одной и сказал: «Пойдем со мной».

Она пошла. Но тут же разъяснила ситуацию: «Ты не подумай, что я какая больная. Три рубля. И резинка. Пойдем в один дом. Близко. Иди за мной. И перестань дрожать. Никто тебя не съест. Потом посмотрела на меня, хмыкнула и спросила: В первый раз что ли?»

— В первый раз.

Мы пошли. Она шла впереди. Я трусил за ней. Улица прыгала у меня под ногами. Ноги не шли. Внизу живота сосало. Ей ведь не меньше двадцати! И грубая. Голос низкий, каркающий. И сзади на ворону похожа. И нос длинный, как у вороны клюв. И с прыщиком.

Подошли к дому. Прошли в подъезд. Поднялись на лифте на восьмой этаж. Прошли еще пролет. Вышли на чердак. Там было тепло. Поблескивала серебряная изоляционная бумага на трубах. Валялись провода, стояла старая изломанная мебель. Велосипед без колес, детская ко-

ляска, холодильник. Прошли метров двадцать — в захла-  
ленном углу нашли железную кровать. На ней лежала ку-  
ча тряпья.

Девушка сказала: «Ну вот и квартера. Ну, чего стоишь  
как пень. Снимай штаны. Я не могу тут весь день с тобой во-  
зиться. В первый раз, в первый класс...»

Я чувствовал себя сломанной механической куклой.  
С трудом снял куртку. Медленно расстегнул штаны и спустил  
на колени черные трусы. Девушка скинула пальто, сняла зе-  
леную кофточку. Расстегнула не очень чистый розовый лиф-  
чик. Я увидел ее небольшие груди. Левая была заметно  
меньше правой. На коже остались следы от резинки. Как  
будто проехал маленький трактор.

Спросил: «Как тебя зовут?»

— А тебе не все равно? Любой зовут. Да ты, я вижу, и не  
хочешь ничего.

Она была права. Ничего я не хотел. Желание исчезло.  
Исчезли и сообщающиеся сосуды. Жизнь упростилась. И  
страх прошел. Хотелось уйти. Девушка положила руку на  
мой живот.

Я сказал: «Не делай ничего. Я пойду».

Она разозлилась: «Плати деньги и вали. Ребенок, бля!»

Я вынул из кармана мои двадцать рублей и подал ей.  
Считать и думать не мог. Она взяла деньги. Отсчитала три  
рубля, остальное подала мне назад.

И тут мы услышали уверенный хриплый голос из друго-  
го угла чердака: «Деньги ложи на кровать».

Из темноты вышли два типа и подошли к нам. Оба ху-  
дые, за тридцать, в наколках, пьяные или начифиренные.  
У одного в руке нож. Он подошел к девушке и прохрипел:  
«Уу, сука... давай деньги!»

Взял у нее кошелек и положил себе в карман. Забрал и  
мой полтинники. Потом взял девушку за волосы и сильно  
дернул. Вниз. Она вскрикнула и упала на колени.

— Расстегни штаны и соси, сука! — приказал он.

В это время второй подошел ко мне.

— Давай часы!

Я снял часы и подал ему. Одной рукой он принял часы,  
а другой как-то странно размахнулся и огрел меня чем-то



железным. У меня от боли перехватило дыхание. Я сел на пол. Увидел в его руке велосипедную цепь. Подумал: «Если он меня ей по голове ударит, то убьет».

Но убивать меня, видимо, не входило в его планы. Он связал мне руки и привязал к какой-то трубе. Растегнул ширинку и встал рядом с товарищем. Девушке пришлось обслуживать двоих. Они сопровождали происходящее комментариями, которые мне не хочется вспоминать.

Сердце мое было в пятках. Я предвидел, что, получив желаемое, мерзавцы не оставят нас в покое, а захотят помучить. А потом...

В голову неожиданно пришли слова: «Пресвятая Богородица, помилуй меня грешного, спаси и сохрани!»

Я повторял их снова и снова. Молитву эту я слышал от бабушки. Легче мне не стало — сердце трепыхалось, по спине струился пот.

Я видел все. Видел, как один тип срывал с девушки оставшуюся одежду. Потом заламывал ей руки. Другой бил ее ногой. Потом ремнем. По груди, по спине. Слышал, как она кричала.

Один тип с наколками сказал что-то другому, показал на меня. Тот подошел ко мне и ударил кулаком по лицу. Потом еще раз. Во рту у меня стало тепло и солоно. Потом оба ушли.

Девушка с трудом встала, оделась и развязала меня. Я поднялся. Выплюнул кровь. Челюсть болела. В верхнем ряду зубов образовалось прореха. Девушке тоже досталось крепко — нос ей сломали, один глаз заплыл, она охала, хромала, левую руку прижимала к груди. Мы не говорили между собой. Вышли из дома и пошли в разные стороны.

## ПСОУ

Псоу — это желтое абхазское вино. Очень легкое.

— Не бери этот лимонад, — сказал мне Горгия, — возьми лучше Гурджаани.

— От Гурджаани голова болит, — вмешался Сашенька-Комсорг. — Пойдем в горы к абхамам и купим молодого красного вина. Изабеллу.

— Любое вино — кислотина. Портвеша надо взять и делу конец, — пробурчал Валерка.

Я предложил: «Берем сейчас пять Псоу для девочек, десять Гурджаани для нас и специально для Валерки — пять фугасов».

Никто не возражал. Горгия проворчал: «Как можно пить этот лимонад, эту сладкую мочу?»

Миша Маленький заплатил из общего кошелька. Еще и на пару хачапури с сыром хватило. Разделили по-братски, съели и пошли в лагерь. Несли так: Горгия и Сашенька несли каждый по пять бутылок Гурджаани. Я — Псоу. Валерка — фугасы. А Миша Маленький ничего не нес. Он был аспирант-математик. А математикам бутылки нельзя доверять.

Вино мы брали для вечера. У Ниночки был день рождения. Договорились идти в шалман в первом ущелье. Его хозяин обещал сделать шашлыки.

— Зарежем барашка. Лаваш и помидоры бесплатно дам. Столики поставим на пляже у моря. Будете сидеть как боги! А вино свое несите.

В спортивном лагере был сухой закон. Начальство боялось, что «все перепьются и станут неуправляемы».

Жара в тот июль в Пицунде стояла дикая. Днем и ночью — тридцать шесть градусов. Уже пять дней — ни ветерка. И влажность такая, что развешенное на балконе белье за ночь становилось мокрым. Но нам было все равно. Молодость! Самому старшему из нашей компании, Мише Ма-

ленькому было двадцать два. Всем остальным и девятнадцати не было. Жара — так жара. Влажность — так влажность. Гога Жуткий говорил: «Люблю, когда тепло!»

И спал на пляже. Ноги в воде, голова на суше.

На море стоял мертвый штиль. Купаться днем было противно, такой теплой была вода. Студенты называли ее презрительно — «чернила». Черное море называли — «лужей».

...

Вечером все собрались в шалмане. Как и было обещано, прямо у моря стоял длинный стол. На столе алюминиевые вилки, стаканы, тарелки и два больших блюда с помидорами и лавашем. Мы достали бутылки, расселись. Горгия разлил вино и провозгласил тост за здоровье новорожденной. Посмотрел на Ниночку масляно. Он на всех женщин так смотрел. Чокнулись, выпили, расцеловали Ниночку. Я поцеловал Ниночку, потом Ниночкину подружку Верочку, которую Ниночка звала Лапочкой. Ниночка говорила: «У Лапочки очень стройные ножки... На нее все мальчишки смотрят».

А потом Таню.

Ждали шашлыка. Наконец он появился. Хозяин шалмана принес в двух руках огромные похожие на шпаги шампуры. От больших, зажаренных до красноты, кусков баранины шел ароматный пар. Хозяин снял мясо с шампуров, положил на тарелки. Мы начали есть. Шашлык легко жевался. Помидоры были сладкими. Лаваш макали в помидорный сок, в котором плавали укроп, петрушка и белые колечки лука.

Вначале я пил Гурджаани. Потом крепленое. И только, когда уже был пьяный — Псоу. Это называлось «сделать асаже».

Хозяин включил магнитофон. Опера. Кикабидзе пел: «Я пьян от любви!»

Валерка заговорил, обращаясь к девушкам: «Не ходите, дети, в Африку гулять... Знайте — на большом дереве, что перед воротами лагеря, сидит Гога Жуткий. С утра сидит. Когда девушка мимо проходит, Гога свистит соловьем. Я, говорит, не Гога, а Соловей-разбойник».

Миша Маленький ничего не понял и спросил: «Этот Соловей что, из Африки?»

— Нет, он с журналистики.

— А что он на дереве делает?

— Сидит.

— Гога харашо жизнь панимает, — добавил Горгия. — Я би тоже на дерево палез, если б на журналистике учился. Там вед адни девачки... Им гавариш — пады суда, а ани тебе — идыот.

Миша Маленький понес дичь: «И я хочу на дерево. К Гоге. В Африку. Вместе будем свистеть... Как соловьи. Димыч, полезем?»

— Я не против, только для начала искупаться хочу. И тебе советую.

Скинул одежду и вошел в воду. Несколько шагов было до воды, но я умудрился по дороге два раза споткнуться.

— Димыч нахрюкался, — сказал кто-то.

Остальные тоже полезли — в чернила. Как назло у берега было много медуз.

— Медузы! — закричали Ниночка и Верочка.

Таня вошла в море не спеша, вкрадчиво, как кошечка.

— Вада как в тбилисских банях. А мидузами можно как мылом мыться, — заявил Горгия и поплыл брассом, отфыркиваясь.

Комсорг Сашенька заревел по-медвежьи, попытался руками пробить себе дорогу к чистой воде. Шумел и брызгался.

— В Африке большие злые крокодилы! — провозгласил Валерка, снял свои толстые очки, положил их на одежду и нырнул, попытался проплыть под медузами. Это ему не удалось, он вынырнул метрах в пяти от берега, жадно глотнул воздух широко раскрытым ртом и поплыл, смешно махая руками.

Миша Маленький вообще в воду не полез. Он был щуплый и болезный. Ему везде и всегда было холодно. Даже в кавказскую жару. Он говорил: «Мои древние кости согреются только на холме Сион».

За это его иногда звали — «сионист проклятый».

Купались долго. Подныривали под девчонок — пугали. Девушки визжали. Валерка вертелся вокруг Тани. Это мне не нравилось.

Потом вышли из моря, обсушились и опять сели за стол. Я сел рядом с Таней. Обнял ее. Тихонько поцеловал в шею. Она посмотрела на меня нежно. И поцеловала в нос. Засмеялась.

Я сказал: «Что-то Валерка все около тебя вертится».

— Не ревнуй, бесполезно.

— На обратном пути отстанем от всех и посидим на скалах?

— Почему бы и нет?

— Ты что сегодня весь день молчишь? Жизнь прекрасна! И я с тобой.

— Ты милый, но мир на тебе не сходится. Димыч, я болею.

— Аааа.

— Да. Да.

— Но в губы-то тебя поцеловать можно?

— В губы можно, а больше ничего нельзя.

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь, дуралей. Я тебя люблю!

— А я — тебя. Жизнь прекрасна!

— Вот заладил.

Сашенька явно перебрал. Громко разглагольствовал: «Да, я — комсорг. А вы все — комсомольцы. Кому вся эта мутовень нужна — что, мне? Мне нужна — баба, а не комсомольская организация. А бабы все кто? Комсомолки. А комсорг — кто? Я. Логично? Димыч, ты у нас по девушкам спец, скажи, логично или нет?»

— Логично, только ты больше из фугаса не пей, а то тебя нести придется.

— А надо будет — и понесешь. Руки не отсохнут.

— Отсохнут.

Тут в спор вмешался Горгия. Он сказал: «Ты, Сашенка, не к Димычу, а ко мне обратись за помощью и советом. Я тебе дэвушку найду. Хочешь бландинку, хочешь бранетку. Их так много везде, дэвушек. И все камсомолки. Очень нэжные. Только не журналистки».

Ниночка обиделась за журналисток. Возразила: «Что ты к журналисткам привязался. Они очень умные. Начитанные».

Верочка-Лапочка вторила подруге: «И красивые».

Горгия процедил сквозь зубы: «Прадажные все...»

Пьяный Валерка задолдонил: «Они будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите дети в Африку гулять! В Африке гориллы...»

Миша Маленький влез с комментарием: «В Африку без визы не пускают. А визу хрен кому дадут. Ах, хорошо в стране советской жить!»

Сашенька-Комсорг услышал это и взорвался: «Сионист проклятый! Ты меня не провоцируй! Думаешь, я не понимаю тебя? Думаешь, я глупее всех? Нетушки. Знаю я вас! Умники! Вам не понравилось, вы — тю и нету вас. А я родился в Можайске. Где одни блатари да дебилы. Я русский человек. И учусь на экономфаке Московского университета! И советскую власть люблю... Была бы ваша власть, вы бы меня сожрали. Всех бы нас сожрали».

Тут он перестал говорить, завсхлипывал. Потом посмотрел на щуплого Мишу и добавил: «Ну ладно, Мишан, не сердчай, это я так, заврался слегка... Димыч, налей мне красного!»

— Я же говорил, что тебе хватит.

— Ничего не хватит.

Стемнело. Хозяин шалмана зажег две свечи. На них сейчас же прилетели какие-то мушки. Мы пошли в лагерь.

Я шел с Таней в обнимку. Горгия любезничал с Ниночкой и Верочкой. Рассказывал им какие-то байки из своей тбилисской жизни. Сашенька-Комсорг шел один, бормотал про себя. В темноте он был похож на большую белую колонну. А Миша Маленький завел с Валеркой бесконечный спор о том, кто лучше думает — математики или физики (Валерка был с физфака.)

— У математиков мозги закомпостированы, — нападал Валерка.

— Зато мы можем логично думать, — парировал Миша.

На середине пути мы с Таней действительно отстали. Нашли ровное место на корявых, поросших водорослями,

скалах. Сели. Смотрели на ночное море, напоминающее огромную чернильницу. В лагерь пришли, когда горизонт был светлый и первые золотисто-розовые лучи Солнца уже осветили вершины гор. Я пошел в наш коттедж, где жил в одной комнате с Валеркой, Мишей, Сашенькой и Горгия. Таня ушла в свою комнату.

— Ниночка и Верочка, — рассказывала она потом. — Дрыхли без задних ног.

И вот что странно — когда мы входили в лагерь, с большого дерева, стоящего недалеко от ворот, доносился свист и слова популярной тогда песенки: «А меня укусил гиппопотам, я от него на дерево залез, и вот сижу я здесь, а нога моя там, гиппопотам уходит в лес».

Кто-то пел и свистел. Неужели Гога? Надо будет его завтра спросить, подумал я, засыпая. Но так и не спросил.

«Завтра» наступило неожиданно быстро. Как будто ты положил голову на подушку, а через мгновение — уже надо вставать. Миша Маленький разбудил всех — надо было идти на физзарядку. Я не пошел, зная, что за это может последовать наказание — внеочередной наряд на кухню или что-либо другое в этом роде. Советская система все, что могла, превращала в подобие армии или тюрьмы. Студенческая жизнь в спортлагере не была исключением. Никаких результатов это неослабевающее давление не приносило, зато жизнь отравляло. Возможно это и был главный результат.

Валерка тоже не пошел на зарядку.

Спросил: «Димыч, у нас есть еще горючее?»

— Достаточно. Два фугаса не початых. Бутылен Гурджаани и пара Псоу.

— Дай мне этого твоего Псоу хлебнуть. Как ты говоришь, сделаем ассаже?

— Ассаже.

Откупорили Псоу и выпили. Вкусно! Настроение сразу улучшилось.

Я сказал: «Пойдем в воду, пока не жарко».

— Чернила!

Мы вышли из коттеджа и задним путем вышли на пляж. Там еще не было никого. Вошли в воду. Медузы пропали. Я отплыл метров сто от берега. Начал кувыркаться в воде как парашютист в воздухе.

Блаженство! Утро теплое. Небо голубое. Вода сверкает, лучится. Плынешь как в бриллиантах. Пьяный. И наплевать на все. Ты часть волнующейся от счастья голубой вселенной. Плыви, ныряй, вертись! Позволь воде промыть твои поры, охладить гениталии, освежить щеки и плечи.

Тут до меня долетел голос Валерки. Он кричал:

— Димыч, Димыч, я берега не вижу!

Подплыл к нему. Взял за плечо. Указал направление. Валерка уплыл. Благополучно достиг берега. Плавал он ничего, только видел плохо. Вышел на пляж, надел очки. Помахал мне рукой.

Я опять начал кувыркаться — попытался еще раз ощутить экстаз существования. Но блаженство не приходило. Море было только морем. Вода — водой. Чернила в луже.

После завтрака решили пройтись по ущелью Бабы Яги.

Горгия отказался. Что я ущелий не видел? А с Бабой Ягой я бы лучше в шалмане пасидел. И кроме таго, ко мне сегодня гости придут.

Сашенька тоже не пошел. Он намылился идти к Володе, отшельнику, уже долгие годы живущему в Абхазии натуральным хозяйством. Ушел сразу после завтрака. Прихватив двадцатилитровую канистру.

Остальные отправились к Бабе Яге. С собой мы взяли только воду в фляжке, да десяток кислых яблок. Шли прямо по речке. Глубиной она была сантиметров десять. Шириной — метра три. Речка текла по дну ущелья, которое становилось тем уже, чем дальше мы уходили от берега моря.

Идти в тени было очень приятно. Пресная розоватая вода освежала босые ноги (кеды и сандалии мы несли на плечах). Шли мы очень медленно, чтобы не пораниться о камни. Брызгались. Травили анекдоты.

Мишенька рассказал свой коронный анекдот. Помнится, начинался он так — вот, сидят вокруг костра Чапаев, Винни Пух, Брежнев и Хошимин и спорят, кто из них еврей, а кто нет...

Валерка рассказал анекдот про корову на березе.

Ниночка и Верочка обсуждали с Таней свои факультетские сплетни (они учились в одной группе на филфаке). Хихикали. Лапочка возбужденно рассказывала:



— Ну Турбин и пригласил ее домой. Она решила — это он за ее талант. А он любит узкие бедра.

Я шел и не думал ни о чем. Смотрел на чистую водичку, на забавные цветные камешки. На колючие лианы, тянущиеся по стенам ущелья. Мне было весело. Мысли роились где-то в стороне, как мухи. Голова была блаженно пуста.

Я подошел к Валерке.

Спросил:

— Слушай, а что там, на дереве, действительно Гога сидит? Вчера ночью там кто-то свистел и песню пел.

Гога был соседом Валерки по общежитию.

— Про гиппопотама?

— Про него.

— Значит, точно он. Иногда целый день поет. Говорит — это мне учиться помогает. Он жуткий, что с него взять?

— А ты что поешь?

— Я ничего не пою. У меня голоса нет, — и тут же запел. — В Африке большие злые крокодилы... будут вас кусать...

— Он про гиппопотама, а ты про крокодилов, все вы шизанутые!

— Это точно.

— Посмотри, или у меня ум за разум заходит или речка глубже стала.

— Ты прав Аркадий!

— Без булды!

— Ну да, вроде глубже. И хрен с ней.

— Если в горах гроза, мы ее тут даже не услышим. А в речке уровень поднимется за полчаса на пять метров! Надо выход из ущелья искать. Пока не поздно.

— А меня еще шизанутым называешь! На пять метров. Ни в жизнь не поверю!

Я знал, что говорил. Попытался уговорить остальных. Все нехотя, но согласились. Вода прибывала. Когда мы, наконец, нашли сухое русло ручья, по которому можно было вскарабкаться и уйти налево от ущелья, вода была уже по колено. И течение стало быстрее. Я нервничал, начал всех подгонять.

Миша сказал:

— Димыч, может быть в гору не поперем, а просто по речке назад... а?

— На это у нас нет времени. Почему вы мне не верите? Тут такое через четверть часа начнется! Костей не соберешь!

— В Африке гориллы! (Валерка)

— Димыч всегда все лучше всех знает! (Таня)

— Баба Яга придет, водичка поднимется, а мы как воздушные шарик поплывем. Хи-хи-хи! (Ниночка и Верочка)

— Злые крокодилы! (Валерка)

В этот момент природа пришла мне на помощь.

Вначале истошно закричали девушки. Потом Валерка ругнулся. Миша закричал:

— Бррр!

По речке несло раздувшийся труп собаки. Его поднесло прямо к стройным ножкам Верочки-Лапочки. Она стояла, закрыв лицо руками. Труп ткнулся раскрытой в гримасе смерти пастью прямо в изящное колено. Лапочка вскрикнула, дернулась, оттолкнула труп и неожиданно ловко полезла по руслу ручья в гору, хватаясь за свисающие лианы и корни. Остальные последовали ее примеру.

Минут через десять, потные и грязные, мы вылезли на небольшую террасу, с которой наше ущелье было прекрасно видно. Привели себя в порядок. Обулись. Уселись. Попили воды. Стали яблоки грызть.

Хорошо видны были и горы, возвышающиеся примерно в десяти километрах от нас. И величественные грозовые тучи. Вскоре мы услышали нарастающий шум. По-видимому, где-то прорвало естественную плотину и грязевая волна неслась по ущелью, волоча с собой деревья и камни. Шум постепенно превратился в грохот. Ущелье — в скрежещущий ад. Уровень воды поднялся по крайней мере на три метра. Вода была уже не водой, а текущей землей, тяжелой и страшной. Стало ясно, если бы она нас накрыла — всем был бы конец. Девушки притихли. Надо было думать, как домой идти. Я знал, как. Но не хотел разряжать раньше времени атмосферу. Хотел помучить. Скорчил трагическую мину и сказал:

— Ну все, мы от цивилизации отрезаны!

— Димыч, что ты говоришь? — сказала Ниночка.

— Пугаешь только.  
— Нет, отрезаны! И всем капут!  
— Ох, не ходите дети в Африку гулять! — прогудел Валерка.

Таня встала, подошла ко мне, обняла и демонстративно поцеловала. Потом промурлыкала:

— Димыч, мы все тебя любим, твое превосходство признаем и смиренно просим нас простить и вести домой.  
— Лицемеры! Собачку видели? Всем капут!  
— Сусанин!

Подурачились и стали дальше карабкаться. Вышли на тропинку, ведущую к морю по холмам. И через два часа были дома. Пришли, сполоснулись в лагерном душе, поели в столовой и только тогда заметили, что погода переменялась — дул свежий ветер, Солнца не было видно из-за быстро бегущих по небу облаков, море волновалось, по нему катились полуметровые волны, синева его прерывалась то тут, то там белыми барашками.

...

Сашенька свою программу выполнил на сто процентов. Был у Володи «на ранчо». Купил вино. Пробовал его вместе с Володей. Как гость был допущен до черешневого дерева. Притащил на себе не только полную канистру, но и пластиковое ведро черешни, хотя и был «пьян как обезьяна». Отоспался и был готов для дальнейших подвигов.

— А где мегрельский князь? — спросил я у Сашеньки. Горгия в разговорах с нами часто намекал на свое княжеское происхождение.

— Он арестован и сидит в милиции в Пицунде.  
— Да ты что? Как это «арестован»? За что?  
— За изнасилование студентки исторического факультета.

— Ты откуда знаешь?  
— Меня Фантомас (так за глаза называли начальника лагеря) для переговоров вызывал. Возил в Пицунду. Они там все сидят и гонца с деньгами из Тбилиси ждут.

— Какого гонца, ты что, Комсорг, перепил чачи?  
— Иди ты знаешь куда? Горгия скоро приедет и сам расскажет.

— Ну, дела...

Горгия действительно скоро появился, «оскорбленный в лучших чувствах».

— Аскарбили, аскарбили и апарочили! Я ее даже не патрогал! — восклицал он. Я попросил его успокоиться и не вываливать все сейчас, а подождать пока все соберутся.

Собрались. Посоветовавшись, решили отойти от лагерного пляжа метров на двести. Так и сделали. Нашли укрытое скалами от ветра место, постелили несколько одеял, развели крохотный костерчик. Топили плавником.

Попросили Горгию рассказать все «с самого начала» и ничего не пропуская.

С ним во время нашего отсутствия произошла типично кавказская история. Привожу его рассказ без грузинского акцента:

— Приехали ко мне гости сегодня из Тбилиси. Знакомые отца. На Волге. Только на один день. Трое. Ты тут знаешь все, говорят, найди нам блондинку. Студентку. И чтобы попышнее. И тут чтобы было и там (Горгия показал на грудь и на зад). И чтоб по-настоящему дала. А мы купим груши и чачу. А я тут знаю одну. Студентка истфака. Марина зовут. Блондинка. И вроде на все готова. Поговорил с ней. Показал ей Волгу. Груши показал. Познакомил с гостями. Отъехали по дороге. Недалеко. Нашли тень. Вышли, разложили ковер. Начали пить и веселиться. Марина опьянела. Одному гостю дала. Он доволен. Другому. Он тоже доволен. Третьему. Я тоже хотел. Но тут... Тут недалеко от нас, в кустах появился... Как его, ну этот, активист. Физкультурник. Алексей Петрович. Стоит и смотрит. А мы все голые. Чего он по горам ходит, людей пугает? Этот Петрович — доцент на истфаке. Он Марину узнал. И она его узнала. И испугалась, что донесет. Схватила свои вещи и закричала:

— Меня изнасиловали, меня изнасиловали!

Подбежала к Петровичу. И отправилась вместе с ним — к Фантомасу. Фантомас милицию вызвал. Милиция нас тут же нашла. Отбуксировали Волгу в лагерь, а нас всех забрали и к абхамам в Пицунду отвезли. Сидим мы в милиции. Входит заотделением. Что, говорит, попались... В тюрьму все сядете. Или как джентльмены дело уладим?

Мы говорим, лучше как джентльмены. Я, продолжает, эту дуру припугнул следствием, она согласна пятьсот взять и все забыть. Только доцент ничего знать не хочет. Доцента сами уговаривать будете. А мне и моим людям за хлопоты — четыре тысячи. Сегодня — четыре. А завтра будет — десять. Наличными.

Гости звонили в Тбилиси, деньги будут поздно вечером. Все трое еще там сидят, гонца ждут. А меня отпустили, чтобы я с доцентом поговорил. Доцент долго артачился. Потом сказал, буду молчать, но ты меня на неделю в Тбилиси пригласи. Теперь надо будет этого козла у мамы принимать. Вот как было.

Валерка сказал назидательно:

— Не ходите дети в Африку гулять!

Кто-то спросил:

— А Марина?

— Ее завтра в Москву отправят.

— А гости?

— Гости пьют в милиции с заведованием. А завтра в Тбилиси уедут. Хватит, погостили!

Я сказал:

— Самое время Изабеллы попробовать! Только чур — прямо из канистры.

Мне за инициативу и вручили первому канистру. Сашенька ее поддерживал. А я пил. Терпкое вино обдирало горло. Заглянул внутрь канистры. Там было темно, по поверхности вина ходили темно-красные волны.

На двадцатом глотке я отпрянул от канистры. Вино натекло по подбородку на майку. Закружилась голова. Я полез на скалу, проветриться и посмотреть на море.

Море бушевало. В темноте волны представлялись огромными, увенчанными пеной, поднимающимися и опускающимися буграми.

Через несколько минут все ребята были пьяные (девочки пили не много). Мне захотелось погеройствовать.

— Вы как хотите, а я купаться хочу. Кто со мной?

— Ты что, сдурел?

— Ночью, в шторм! Мы тебя и спасти не сможем.

Один Валерка принял вызов.

— Я пойду, но ты должен быть рядом, а то я берег потеряю. Очки тут оставлю.

Досадно. Опять не удастся показать Тане, какой я герой. Ведь Валерка рискует в десять раз больше моего.

— Мальчишки, вы что, с ума сошли? Валерка, ты что? — воскликнула Таня, когда мы встали. Меня резануло — какую она о нем заботу проявляет!

Мы отошли от скал, вышли туда, где был ровный мелкогалечный пляж и вошли в пенящуюся воду. Секрет купания в шторм прост — надо умело зайти, отплыть подальше, туда, где волны покатые, наплаваться и выйти в редкую минуту сравнительного затишья. Все это мы обсудили с Валеркой до купания. Дождались слабой волны и быстро, прорубив ее головой поплыли от берега. Я плыл рядом с Валеркой и все время подавал голосом сигнал. Все было бы хорошо, если бы Валерка мог также быстро плавать как и я. Но он плыл медленно. И подныривать под волну просто не успевал. Поэтому попадал прямо в пекло — в закручивающийся гребешок. Глотнул соленой воды. Закашлялся. Еще раз глотнул. Захлебнулся. Начал тонуть. Я взял его за локоть и потащил к берегу. По дороге нас два раза било падающими гребешками. Один раз я даже Валерку потерял, но, к счастью, быстро нашел. Выйти тоже удалось сравнительно благополучно — я отделался двумя царапинами. У Валерки царапин было больше. Но он не жаловался. Откашлялся. Царапины затер руками.

— Пришли, герои! — объявила Таня.

— А вот вам штрафную из канистрочки, — провозгласил Сашенька.

Я шепнул Валерке:

— Знаешь, если бы мы не выплыли, они бы этого даже не заметили.

Он ответил тоже тихо:

— Это, может быть, и не плохо.

А потом пропел хриплым голосом:

— Не ходите дети в Африку гулять!

Костер еще горел. Ниночка и Верочка ушли спать. Комсорг дремал. Мишенька солировал. Он говорил с легким еврейским акцентом:

— Я родился в Кишиневе. Ты, Димыч — москвич. Ты не знаешь, что значит жить в провинции... Мои родители жили как в девятнадцатом веке. Тети, дяди, братья, сестры, кузены, бабушки, дедушки — и все аиды. Никто в синагогу не ходит, даже на идише никто не говорит, но все обсуждают, сколько в том и в том еврейской крови. Когда кто уехал и куда. А потом разъехались все. Кто в Израиль, кто в Штаты, кто в Канаду. Папа не поехал — он коммунист, отставник. И Сталина и Хрущева и Брежнева любил. Мама — бухгалтер. В детстве я все время болел. В школе учился плохо. Потом попал в математическую школу. Открыли тогда в Кишиневе. Получил первое место на олимпиаде. Послали на международную. Там я занял третье место. Поэтому меня, еврея, взяли на мехмат. Без экзаменов. А ты, Димыч не еврей?

— Я — на половину.

— То-то я чувствую... Еврей еврея через скалу чует.

В Тане вдруг проснулось чувство гражданской ответственности. Волнуясь и сверкая глазами, она воскликнула:

— Что же по-твоему, евреев на мехмат не берут? Специально на экзаменах режут? И это в нашей советской стране?

Мишенька печально ответил:

— Да, Танечка, именно так, в нашей советской стране.

— Неправда! Это вражеские голоса слухи распускают! Тебя же приняли. Я еще троих знаю. А ты говоришь — не берут!

Тут проснулся Комсорг. Не поняв спросонья, кого не берут, куда не берут, бухнул:

— Не берут и правильно делают!

Сказал и опять уснул.

— Ведь они гориллы, злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать! — пропел Валерка.

— Валерка, не мучай своими кракадилами! — сказал вдруг Горгия. — Грузинов тоже не берут! Поэтому я в ректорате марынуюсь!

— И грузинов берут и всех! — закричала Таня. — Ты на экзаменах провалился!

Горгия парировал:

— Я на журналистику хател. Не взяли. Не прашел по конкурсу. А ани все прашли!

Тут Горгия сделал жест рукой, означающий — все они, плохие, прошли, а он не прошел.

— Не ходите дети в Африку гулять! — призвал Валерка.

...

На следующий день вечером решили все вместе идти ночью купаться. В десять все были на пляже. Все, кроме Валерки. Он еще утром куда-то делся. Никто его не видел.

Море было спокойно. Ночь — чудо. Мы с Таней оторвались от остальных.

— Димыч, ты все знаешь. Как ты думаешь, мы будем встречаться в Москве? В Москве все не так, как тут, — спросила Таня.

— Не знаю. Думаю — будем. Только вот от меня до тебя ехать далеко... Если я тебя после кино буду провожать, то на метро не успею.

— Ты сегодня какой-то не романтичный. Посмотри на звезды. Расскажи что-нибудь. Почитай стихи.

— Как зеркало своей заповедной тоски, свободный человек, любить ты будешь море... Нет не могу, лучше спую тебе гогину песню про гиппопотама или валеркину про крокодила... Кстати, куда он подевался, ты его не видела?

— Утром еще был. А потом пропал. Может с Гогой на дереве сидит?

— Все может быть.

...

На утро будит меня Комсорг.

— Димыч, вставай, Валерка утонул!

— Как утонул, кто утонул?

— Валерка. Валерка утонул! Просыпайся скорее, мы в Пицунду должны ехать, труп смотреть. Милиционер сказал, что он плавал и берег из виду потерял. Искал, искал и не нашел. Так и плавал кругами, кричал наверное, пока из сил не выбился. Сердце сдало. Он захлебнулся и утонул. Тело ночью нашли, на мысу у корпусов. А утонул он еще утром. Так что, когда мы ночью купались и ты Таньку щупал, его труп где-то рядом плавал.

Тут только до меня дошло. Сердце болезненно сжалось. Как будто в небе открылась страшная черная дырка. И вся наша жизнь в эту дырку полетела.



Мы ехали на газике по пыльной дороге, потом по асфальту. В голове у меня стучало:

— Не ходите, дети... Не ходите, дети... В Африку... В Африку... В Африку.

То, что мы увидели на цинковом столе не было похоже на Валерку. Так раздуло утонувшего.

Комсорг сообщил, что Фантомас просил его и меня встретить мать Валерки, прилетающую вечерним рейсом в Адлер. Поездку в Адлер и душераздирающую сцену во время второго опознания трупа я описывать не хочу.

Жить в Пицунде нам оставалось еще неделю. Мы по-прежнему пили из канистры по утрам. Ходили к Володе за вином. Я сидел с Таней на скалах. И так до самого отъезда. Один раз пригласили выпить с нами Гогу Жуткого. Гога хлебнул и запел:

— Ну а меня укусил гиппопотам...

## В ИНСТИТУТЕ

Шел я по коридору в институте. На углу появилась вдруг фигура Никарева. Он увидел меня и яростно замахал руками — иди, мол, скорее сюда! Я не побежал, а спокойно дальше пошел. Никарев ко мне подлетел, запыхавшись, и прошептал страшным прерывающимся голосом:

— Девин всех к себе требует! Пошли скорей!

И затрусил боком вперед дальше по коридору в сторону кабинета нашего шефа. Никарев горбун. Движения его напоминали походку краба. Он явно трусил. В институте работала аттестационная комиссия, поэтому любые новости и совещания вызывали у сотрудников панические страхи. Через минуту я открыл огромные, черным дерматином обитые двери и вошел в кабинет шефа. На диване и на стульях сидели научные сотрудники. Толя Онегин по кличке Толян, маленький, ловкий, парторг подразделения робототехники. Секретарша Раечка, злобная баба и, как я подозревал — любовница Девина. Шнитман, еврей с ленинским черепом, заискивающий перед Девиним, перед Раечкой, перед всеми, кроме меня. Алик Рошальский и Эдик Курский, два наших теоретика, похожая на свинью Лидия Ивановна, Никарев и Елизавета Юрьевна, наш инженер. Девин стоял у доски.

Я прибыл, как всегда, позже всех. Это в лаборатории расценивалось как дерзость. Почти все на меня осуждающе посмотрели. Но по-разному.

Шнитман глянул пренебрежительно, как на досадную помеху. Он как бы хотел сказать Девину своей гримасой: «Опять этот раздолбай Димочка приходит последний. Ему все равно, видите ли! Он позорит наш спаянный коллектив! Извините, Ким Палыч, продолжайте, Ким Палыч!»

Раечка посмотрела откровенно злобно и презрительно. Не знаю, чем я заслужил такое отношение — у меня с ней никаких контактов не было. Вошедший за полминуты до ме-

ня Никарев посмотрел на меня с нескрываемым злорадством — попался дурак, а ведь я предупреждал. Никарев ревновал, завидовал. Не понимал, что я для него не конкурент, что меня вся эта высокая наука волнует только с одной стороны — как можно ее послать куда подальше и своими делами заняться. Лидия Ивановна глянула на меня строго, раздувая ноздри своего короткого, похожего на свинной пяточок, носа. Алик и Эдик на меня даже не посмотрели, а только стрельнули глазами — и тут же отвели взгляд. Это были хорошие, умные люди, их портил однако страх перед властолюбием Девина. Не то чтобы они заискивали. Их позиция была — наше дело сторона, мы теоретики, не трогайте нас и мы вас не тронем и все, что надо, сделаем. Но если Девин кого-то сек, они отводили глаза. Ни слова, ни полслова поперек начальству. Девин их видел насквозь и, ценя их научную компетентность, презирал как людей. И часто унижал. Мне было за них стыдно.

Толян посмотрел на меня спокойно, но с язвительной улыбкой. Он был человек-загадка. Был предан Девину «до мозга костей», был вульгарен. Ногти грыз. Похабные анекдоты рассказывал. Страдал мигренью. Как парторг, организовывал и проводил партсобрания. В нем не было, однако, того, что объединяло многих других членов партии — желания травить других людей. За это я ему все внутренне прощал — и похабные анекдоты и изгрызенные ногти, и собачью преданность Девину.

Елизавета Юрьевна посмотрела на меня с доброй улыбкой и показала глазами: «Садитесь скорее, а то Ким Вас укусит!»

И тихонько засмеялась, прикрывая рот ладонью. Девин просекал все удивительно быстро, он заметил и мгновенно проанализировал все взгляды, брошенные на меня его сотрудниками и остался всеми кроме Елизаветы Юрьевны доволен. Посмотрел на нее грозно, как Зевс (сам он был маленький, спортивный, прямоугольный, моя мама называла таких начальников — злыми карапузами), гаркнул мне:

— Садись! — и продолжил речь.

— Повторяю для новоприбывших! Сверху поступила директива — сократить штаты на пятнадцать процентов. Это значит, кто-то будет уволен. Я ничего не решаю — решает ат-

тестационная комиссия. Наше дело — хорошо подготовиться к аттестации. На высоком уровне представить результаты работы лаборатории на ученом совете института. Толян должен доложить о наших результатах на партактиве. Рошальский и Курский должны подготовить обзорный доклад о лаборатории для межрегионального совещания. Шнитман должен... Лидия Ивановна должна...

И так далее и тому подобное. Все должны, должны, должны. Только он сам ничего не должен. Говорил Девин минут двадцать. Чувствовалось, что он наслаждается своей ролью вестника беды.

Я про себя пародировал его речь: «Кого-то из вас уволю, мерзавцы! Что, запрыгали, головастики! Мне-то ничего не грозит. Я — заместитель директора. А любого из вас выкинуть — как плюнуть раз. И я один буду решать, кого. Может быть кого-нибудь из технического персонала уволю, может быть, отболтаюсь наверху, и никого не уволят. Все зависит от того, какое у меня будет настроение. Но вы все попляшите, черви! И жопу мою полижите власть. Ну что ты Димочка на меня так насувлено смотришь? Думаешь тебя волосатая лапа спасет? Жопу лизать не хочешь. Гордый, твою мать! Ничего, мы и не таких гордецов в бараний рог скручивали! Или научись — или с волчьим билетом вон!»

Потом все высказывались. Обещали (Рошальский и Курский). Ручались (Никарев и Раечка). Били себя в грудь (Шнитман и Лидия Ивановна). Один Толян говорил трезво и спокойно. Может быть, потому, что знал — его только полгода как выбрали парторгом, значит не уволят. Лизавета Ефимовна и я промолчали. Мы люди маленькие, нас даже если обоих уволить — пятнадцати процентов не наберешь. Потом все разошлись.

— Теперь Ким всех нас истерзает, — шепнула мне Елизавета Юрьевна.

— Надо Шнитману второй язык пришить, пусть двумя полижет, ублажит шефа! — отозвался я тоже тихо и пошел на свое рабочее место.

На следующий день Елизавета Юрьевна пришла на работу с заплаканными глазами. Я дождался, когда мы остались в комнате одни, и спросил, что случилось. Спросил, хо-

тя знал, о чем она будет говорить. Говорила она всегда о своей взрослой дочери. Как она ее внучку мучает. Какие сцены устраивает.

— Вы только подумайте, Соня сажает маленькую Аничку в темную ванную. Мать! И ребенок сидит там полдня и плачет. Аничка в ванне боится. Говорит, там стоит медведь. Большой. Черный. В углу. Хочет ее съесть. Стоит и смотрит стеклянными глазами. На самом деле это вешалка так отсвечивает. Я видела сама. Сколько я Соне ни говорила, как я за порог, Аничка — в ванной. И свет гасит. Соня истеричка. Не приходи ко мне, кричит, не хочу жить, ненавижу жизнь, ненавижу всех вас... И не работает нигде, за все мне одной приходится платить. И пьет каждый день. И дурь всякую курит. Откуда у нее деньги на все это? С парнями молодыми связалась. А если ей что скажешь, визжит. Кричит — уходи из моего дома, что ты приперлась, старая дура. Потом плачет. Мне и ее и Аничку жалко. Муж умер — некому с ней поговорить. Она только отца слушала. А меня еще в детстве не любила. Ну, я сама во всем виновата. Полуторогодовалую в ясли отдала. Там воспитательницы детям пить не давали. Чтобы они в постель не делали. Она там целыми днями плакала. А дома все воду пила. Дура я была, думала эта работа проклятая чего-то стоит, кому-то нужна. Спутники эти, ракеты. Луна. Дрянь это все, Димочка.

— Совершенно с Вами согласен, Елизавета Юрьевна. И спутники, и ракеты, и роботы, и главное — Луна. Все дрянь. А что, если вам попробовать, Аничку к себе взять. Может Соня образумится, на работу пойдет. Хотя приличную работу найти безумно трудно, а на фабрике ей долго не продержаться — там терпение надо...

— Я ей сто раз предлагала. Не соглашается. Визжит. Если у нее Аничку отнять — то она оправдания внутреннего для своей жизни лишится. Получится — ей надо все иначе устраивать, ответственность брать на себя, а она этого не хочет и не может.

— Это всем не легко. Я бы тоже визжал, если бы кому-нибудь было до этого дело.

— Вы — совсем другое дело. Помучаетесь у нас, потом что-нибудь другое найдете, получше. Вот, посмотрите фотографии Анички. Племянник сделал.

Я взял фотографии. С них на меня смотрела шестилетняя еврейская девочка с испуганным лицом.

Тут в комнату вошла Лидия Ивановна. Глянула косо на фотографии. Села, взяла в руки паяльник и начала паять.

Я подумал: «Попадет немного, а потом побежит Киму доносить».

Так и случилось. Лидия Ивановна поработала, встала, вышла. А еще через десять минут пришла и провозгласила:

— Елизавета Юрьевна, Вас Ким Палыч требует. И посмотрела на меня мстительно.

Почему они меня ненавидят? Неужели за то, что толстый? Но она и сама жирная как свинья. А за что ненавидят Елизавету? За то, что она не такая, как они. В ней есть что-то благородное. Она не шавка. Не лает, не лизоблюдничает. Не пьет с ними. Не участвует в их идиотских разговорах, в их интригах, в их бесконечном друг-друга-пожирании.

Елизавета Юрьевна пришла от шефа бледная, с каменным лицом.

Я спросил:

— Неужели уволил?

— Нет, только мучил, говорил, я на вас плохо влияю. Теперь вас требует, только вы уж будьте спокойны. Он покричит и успокоится.

Я пошел к Киму. По дороге заметил, что Никарев и Шнитман в мою сторону кивают и смеются. Спелись, сволочи. А ведь оба не такие уж плохие ребята. Шнитман регулярно изображал деда Мороза на институтских елках. Никарев мужественно боролся с увечьем. Лакеи! Но научные сотрудники хорошие, исполнительные, и с инициативой. Звезд, правда, с неба не хватают. А у нас только сильные люди могут пробиться. А они — средние. Ну и лжгут. Ладно, это не мое дело! Надоело мне все! Уже два года терплю. Как бы мне не сорваться и у Кима не психануть! Нервы у меня не железные. И работу эту я действительно ненавижу. Так что, все, что он будет говорить — правда.

Вошел в кабинет. Ким посмотрел на меня пристально и кивнул — садись, мол, на диван. А сам стал в стойку у доски, как капитан на мостике. Даже в плечах сделался шире. Ким любил читать нотации и мозги промывать. Хлебом не корми.

Я про себя гадал — сразу проработывать будет или начнет про себя рассказывать, про сапоги?

Надо попытаться его не слушать, но как? Он в глаза смотрит, каждую реакцию фиксирует. Единственная его слабость — очень себя любит и переоценивает свое влияние на других. Значит надо верноподданническую рожу скорчить, а самому попытаться о чем-нибудь постороннем думать. О том, что для меня действительно важно. О Брейгеле, о Босхе. Ох, покажет мне сейчас Девин «Триумф смерти»!

Девин начал атаку вопросом: «Ты Дима где родился?» И сам тут же ответил. «В городе, в семье ученых. (Это в те годы почти вменялось в вину.) А я родился — в деревне. Перед войной. В бедности, в грязи. Сапоги у меня с братом одни на двоих были. Отец на войну ушел и не вернулся. Кто на его месте остался? Я и брат. Мы и землю пахали и зерно убирали. И в школе учились. Окончил я школу с медалью. И поступил в сорок девятом на мехмат. После мехмата — в ящик. У меня блата не было. Все пришлось самому пробивать. Головой и задницей. Потому что без железной задницы науки не сделаешь! Я в ящике работал и параллельно диссертацию писал. Ночи не спал. Не доедал. А почему? Потому что науку любил. И Родину. А Родине нужны были ракеты. И стабильные гироскопы. А гироскопы без дисциплины и плана не сделаешь. У нас каждый инженер, если уходил в нужник, на специальную кнопку нажимал на кульмане, а когда приходил, опять нажимал — так шеф всех контролировал и если кто где засидится — голову мыл и рублем наказывал! Титан! Потом академика ему дали. И два ордена Ленина. За ракеты. Всех в руке держал. И все его любили. Слонтайства и лени не терпел — гнал взащей. Знаю, почему ты морщишься — ракеты тебе видите ли не нравятся! Ракеты нам нужны, чтобы нас наши же бывшие соотечественники в порошок не стерли! Думаешь их туда так просто пустили? Нет, дружок. Так просто в рай не пускают. Все они против нас работают. Против тебя и против меня! Уничтожить! Раздавить ходят! Думаешь я просто так евреев в лаборатории терплю? Нет, я их заставляю на нас работать. Нашего робота делать. Чтобы после атомного удара, он по руинам прошел. Чтобы врагов из нор выковыривал!»

Хорошо, что в этот момент в дверь постучали. Я чувствовал, что Девин добывает мое желание играть по правилам.

В кабинет всунулась курчавая голова Раечки. Голова спросила томным голосом:

— Ким Палыч, можно войти? Вам бумаги подписать надо.

— Входи, входи, Раечка.

Сколько в его грубом голосе вдруг нежности появилось!

Пока Ким бумаги подписывал и с Раечкой шептался, я сидел как прилипший на громадном кожаном диване и смотрел в окно. Во мне закипала ненависть, которую я пытался в себе подавить. В окно было видно стеклянную крышу соседнего вивария. Я прислушался — оттуда доносился тихий волчий вой. Подумалось: «Может завьёт по-волчьи? Зубами заскрежетать на наших врагов? Ким тогда меня отпустит. А может и сам завоюет — он из той же породы».

Раечка деловито удалилась с кипой подписанных бумаг. Перед этим, однако, бросила на Девина ласковый взгляд, а на меня посмотрела презрительно.

Ким продолжал:

— Наша работа премирована ректоратом. Военными одобрена. Лучшие силы мобилизованы. И я не потерплю, что кто-то как-то работу тормозит или саботирует! Мой бывший начальник гнал слонтяев. А мы никого не гоним. Каждого пытаемся использовать с его сильной стороны (это он врал и знал, что врет). Вот, тебе скучно паять было — мы тебя программировать посадили, скучно программировать — еще что-нибудь тебе дадим. Почему ты заботы нашей не чувствуешь? Отношения ни с кем хорошие поддерживать не хочешь. Семьями не дружишь. На компромиссы не идешь. С работы в пять уходишь. Восемь часов это для науки мало. Посмотри на Толяна. Он иногда ночует в лаборатории. С Шнитманом на той неделе дерзко разговаривал. Он тебя помочь попросил, а ты, что ему ответил? Что тебя не затем пять лет на мехмате учили, чтобы ты на станке работал. А кто, по-твоему работать должен?»

Я ответил:

— Рабочие, они это умеют, а я только заготовку испорчу и руки пораню.

Девин разозлился:



— Рабочие? А ты чем лучше их? Думаешь, родился в интеллигентной семье, так теперь всю жизнь белоручкой проживешь? Нет, мы этого не допустим. Мне таких белоручек не надо. Тут вам не пансион для благородных девиц! Лидию Ивановну кто вчера послал? Думаешь, она не слышала? Все слышала. Ты сказал вполголоса — пошла ты, дура! А она ко мне прибежала — докладывать. Мне тебя опять защищать пришлось! С Никаревым ты работать отказался — он, видите ли, грубый. Да, грубый, но наш. Понимаешь ты, он наш. Не барчук! А ты, сам не знаю, кто. Серединка на половинку! Время сейчас мягкое. При Царе Горохе ты был бы знаешь где? Вот то-то. С Елизаветой Юрьевной балясы точишь, фотографии разглядываешь, вместо того, чтобы работать. И ее от работы отвлекаешь! Тебе за что деньги платят? За разговоры?

И пошел и поехал.

Минут через пятнадцать мое терпение кончилось. Перед глазами побежали цветные полосы. К горлу подкатила дурнота. Я понял, что пропадаю, что не могу больше сидеть и все это слушать. Что он меня убивает своим голосом, своей качающейся как маятник черной прямоугольной фигурой.

Неожиданно для самого себя я встал. Подошел к Девину. Посмотрел на него. Мне стало страшно, когда я услышал свой голос.

— Ким Палыч, хватит. Не хочу больше это слушать. Вам нужно кого-нибудь уволить — увольте меня. Мне тут тошно! Тошно в твоём гадюшнике! Понимаешь!

Последнее слово я произнес очень громко и грозно. Почувствовал, что за дверью кто-то это услышал и замер. И тут же я струсил. Но нашел в себе силы твердо посмотреть в глаза оторопевшему завлабу. В его глазах пылал сатанинский огонь. Триумф смерти.

Мосты были сожжены. Теперь надо было стоять на своем. Я вышел из кабинета и пошел по коридору. С трудом нашел путь в нашу лабораторию. Сел за свой стол.

Елизавета Юрьевна спросила меня шепотом:

— Крепко досталось? Вы воды выпейте, а то так и инфаркт в молодые годы получить можно. Бывший парторг Порзов так умер.

Встала, налила воды в стакан из лабораторского чайника и подала мне. Я воду пить не стал. Меня мутило.

Неожиданно в комнату вбежал Никарев и заорал:

— Ты чего наделал? Ты что ему сказал? Ты что с ума сошел? Идиот, он же тебя с волчьим билетом выгонит! Тебя же никто на работу не возьмет! Иди, извиняйся, объясняй, иди, пока он в отдел кадров не пошел!

— Не пойду, пусть увольняет. Отстань.

Никарев убежал. Елизавета Юрьевна сказала:

— Дима, что вы наделали! Он же вас сожрет!

— Подавится!

— Дай-то Бог!

В комнату вошел Шнитман. На меня он не смотрел, напевал что-то про себя. Шагнул к лабораторному столу, потрогал паяльник, поискал карандаш, нашел, переложил его с одного места на другое, потом подошел ко мне и заговорил доверительно:

— Дима, ты что? Успокойся, умойся и иди домой. Ким сказал, ты можешь идти. Ты погорячился, со всеми бывает. Прими дома ванну. Книжку почитай. Завтра придешь, извинишься и будем дальше работать. Где ты такую прекрасную работу найдешь? Тут все-таки Академия Наук, не хухры-мухры. Ты же Кима знаешь, он крутой, но только для твоего же блага. Он из тебя человека сделать хочет, а ты хочешь верблюдом остаться.

— Буду лучше верблюдом, чем как ты, жополизом.

Тут Шнитман позеленел и заорал:

— Я его жопу лижу не для удовольствия! А для жены и для детей! Меня, как брат в Израиль уехал, никто на работу полгода не брал. Даже рабочим. Мы уже голодали. А Ким взял. А ты, молокосос, жизни настоящей не знаешь! А как петух жареный в жопу клонет, так ты тоже, по-другому запоешь!

И вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что она чуть из петель не вылетела.

Тут вошла Лидия Ивановна и сразу налетела на меня:

— Как тебе не стыдно! Тебя страна кормила поила! Ты лентяй и бездельник! Как ты смеешь Киму Палычу хамить!

— Да заткнись ты, дура!

— Всем рты не заткнешь, хам! — проорала Лидия Ивановна, вытерла покрасневшее потное лицо и вышла.

Я чувствовал себя окопавшимся в норе зверем, на которого коварные охотники напускают собак различной породы. Спросил у дрожащей Елизаветы Юрьевны:

— Как вы думаете, кто следующий? Цепные псы уже были, теперь пойдут декоративные.

Она не ответила. Почти полчаса стояла зловещая тишина. Потом в комнату вошел Алик Рошальский. Заговорил взвешенно:

— Ты, Дима, отлично знаешь, что Ким тебя уволить не может. Он не хочет скандала. Молодого специалиста уволили! Вначале расхвалили, премию на конкурсе молодых ученых дали, а потом уволили! Лаборатория будет опозорена.

— Плевать я хочу на лабораторию!

— Вот это и плохо. Это эгоизм. Учился ты плохо. Но тебя взяли сюда. Эта честь, которую заслужить надо. А ты такую работу в подарок получил! Лучший коллектив. Передовые технологии. Перед тобой все двери открыты. Через пару лет сделаешь диссертацию. За это надо быть благодарным, а не хамить.

— Ну вот ты и благодари. Благодарю и кланяйся. Мы тут работа смотреть и ходить учим, а сами как слепые скоты на карачках ползаем. Пойми, Алик, я дальше просто не могу! Мне не надо ничего. Не могу я больше на все это смотреть, не могу больше разглагольствования Кима слушать, не нужна мне ваша диссертация...

Алик вздохнул и вышел. Больше никто не приходил.

В пять пятнадцать я попрощался с Елизаветой Юрьевой и покинул здание института.

К сожалению, не навсегда. Я проработал в институте еще восемь лет, но уже в другой лаборатории. Там были люди получше. И главное, шеф не был такой скотиной как Ким. Мой влиятельный дед помог организовать это перемещение. Девин сопротивлялся как мог. Но отступил перед силой. Перед этим еще раз пять пытался меня переубедить. Лыстил, угрожал волчьим билетом, впадал в ярость. Я был спокоен, знал, что он проиграл. Наконец он отстал от меня. Распустил слух, что уволил меня за недееспособность. Я слух не опро-

вергал, тем более, что в нем была доля правды. Единственным человеком из лаборатории Ким Палыча, который со мной здоровался, была Елизавета Юрьевна. Мы изредка болтали с ней в коридоре. Она жаловалась на дочку и коллег. Я рассказывал о новой работе.

...

Примерно через год после моего ухода от Девина, ко мне неожиданно заглянул Толян. Подошел и сказал:

— Мы тут деньги собираем для семьи. Ты дашь?

Я спросил, надеясь, что не она:

— Кто умер?

— Елизавета Юрьевна.

— Как она умерла?

— Выбросилась из окна девятого этажа.

— Дочка довела?

— И дочка и мы постарались. Что тут говорить, ты сам все понимаешь.

Я дал ему пять рублей.

## НОВЫЙ ГОД

На Новый год приехали ко мне Леша и Серж. Одному праздновать тоскливо. Ну я и позвал друзей — на мальчишник.

Из выпивки у меня был только спирт с работы. Я развел его холодной водой и залил смесь в бутылку из-под Столичной. Бутылка сразу стала теплая. Я выдавил в нее немного лимонного сока, закупорил и выставил на балкон — пусть охлаждается. Жратвы тоже было не много. Гречку я сварил. И картошку с лучком поджарил. Колбасу достал жирную. Кубиками ее порезал и зажарил с яйцом. Для меня был еще кислый творог. А для гостей — хлеб, масло и сыр...

Леша приволок бутылку белого вина, немного кофе и турку, чтобы его варить. Серж принес две шоколадки. Где он их купил? Не было ведь давно шоколада в продаже. Сокровища!

За стол сели часов в одиннадцать.

Для начала решили выпить холодного беленького. Проводить уходящий год. Я разложил еду по тарелкам, разлил вино в рюмки и сказал:

— Выпьем, друзья за уходящий от нас 1983 год. Чтобы он в говне утонул поскорее!

— Кто он? — спросил Серж.

— Во-первых год. Во-вторых Андропов, — разъяснил Леша.

— Нет, Леша, нет, ты сужаешь! Еще не пьян, а уже сужаешь тему! Хотя в принципе ты прав. Первый в говне должен утонуть год 1983, второй — и, действительно, поскорее, лично генеральный секретарь Юрий Владимирович Андропов, а потом им должны последовать все члены политбюро, ЦК КПСС и вся Старая площадь вместе с памятником героям Плевны!

— Плевну оставим, а площадь Дзержинского с памятником и главное Лубянку утопить в дерьме! — восторженно добавил Серж.

— И площадь Дзержинского и Железного Феликса и Академию генерального штаба и Академию народного хозяйства!

— И Академию искусств!

— И Академию наук тоже!

— И Московский Университет!

Леша спросил:

— Ты как хочешь, чтобы шпиль был не виден или чтобы был виден?

— Чтобы ни шпиля, ни герба не было видно. И главное — чтобы мой институт пропал!

— Говори точнее, пропал или в говне утонул?

— Чтобы вначале пропал, а потом в говне утонул. Или наоборот. Главное, чтобы мне второго не надо было бы в него идти и там торчать целый день.

Болтая, мы не заметили, как стрелки на часах подползли к двенадцати. Тут я включил радио Маяк (телевизора у нас не было). Новогоднее поздравление уже зачитали и передавали призывы к советскому народу. А может быть и наоборот, призывы зачитали и передавали поздравление. Не разберешь ни черта в этой фразеологии. Серж заметил только, что — сам говорить уже не может.

Диктор, казалось, захлебывался от восторга и энтузиазма. Произнес наконец сакраментальную фразу: «С Новым годом, товарищи!»

Наступила тишина перед боем курантов на Спасской башне Кремля. Жуткая тишина. Как будто все исчезло и вселенная вернулась в стадию до сотворения мира. Но мир тут же возник вновь, не дав насладиться блаженством несуществования.

Ударили куранты. Мы стояли с рюмками в руках, чокнулись под удары, выпили холодного спирта и сели. Я включил радио. Ну его в баню. Чайковским замучает или какой-нибудь другой высокопарной галиматьей. Поставили кассету Элтона Джона. Серж где-то достал.

Стали закусывать. Потом пили вино и Лешино кофе. Из Йемена привез знакомый.

Леша рассказывал о том, как у них в институте праздновали Новый год. Как сотрудники перепились и какую при этом несли чушь. Серж мрачно пророчествовал о будущем советской страны. В своих пророчествах он всегда пересаливал, но именно это и было приятно.

Я вставлял иногда несколько слов, но больше молчал. На душе было погано, хотелось вылезти из самого себя, превратиться в бесплотное существо и навсегда покинуть землю. Но покинуть тогда мы ничего не могли. Эмиграция за границу прекратилась, зато Афганская война бушевала с невиданной силой. Призыв на нее висел как Дамоклов меч над каждым из нас. После окончания университета мы были офицерами запаса.

Андроповское государство особо жестоко преследовало диссидентов. Некоторых активных отказников избивали до полусмерти «хулиганы» среди бела дня, на московских улицах. На входах в метро устраивались проверки документов — отлавливали прогульщиков, пугали людей. Некоторым все это, впрочем, нравилось. Сталинисты торжествовали. Думали, что пришло их время.

Работа в институте злила своей бессмысленностью. В семье все шаталось. Жена была все время раздражена. Мы часто скандалили. Дочка часто болела. Картинами своими я был недоволен. Чувствовал, что пишу их зря. Надо было менять жизнь, но я не знал, как.

— И представьте себе, пьяный Масленников заблудился в нашем институте! Это же не джунгли. Упал, а встать не смог. Пополз по коридору по длиннющему. По ковровой дорожке — как самолет по полосе. Долго полз, никого не встретил. Все в своих лабораториях заперлись. Поют, танцуют. Поэтому его никто не нашел и не поднял. И полз он до самого директорского кабинета. Потом мне сам рассказывал. Вот ползу я, говорит, и вижу чьи-то ноги. Ноги идут ко мне. И ботинки на них импортные, удивительно знакомые. Где, думаю, я видел, такие чудесные ботинки? И тут меня как током ударило — это же директора нашего, Ашотура Ашотуровича ботинки и привез он их из Франции. Я попытался голову

поднять — не вышло. Хочу сказать — Ашотур Ашотурович, извините, я немного перебрал. Но ничего не выходит. Язык не ворочается, голос в горле застревает. После двухсот грамм чистого у кого хочешь застрянет. Мычу что-то как дурак. Ашотур взъярился. Шефа вызвал...

Серж спросил:

— Ну и что, уволили Масленникова?

— Куда? Как его уволишь? А кто в мастерских работать будет? Не уволили, а распекли и отпустили. Начальник мастерских Козодоев сам был пьяный. Я, говорит, за него ручаюсь головой. Все как один на поруки возьмем. А сам от спиртяги надулся как шар красный, шатается. Ашотур поорал и из института ушел. От греха подальше.

Я попросил:

— Серж, расскажи, что в этом году будет. Сдохнет Андропов или нет?

— Андропов сдохнет. Может быть уже сдох. Его с каких пор по телевизору не показывали? Но это ничего не изменит. Поставят другого маразматика. Завгара брежневского, например. Или еще хуже — Романова. Все понимают — так дальше нельзя, а делать ничего не хотят, потому что своя шкура ближе к телу. Пока все Политбюро не перемрет, ничего не изменится. А если изменится, то, неизвестно еще, будет ли лучше. Без третьей мировой войны власть коммунисты не отдадут. А после атомной войны выживут одни китайцы. Они это знают и войны не боятся. Сяо-Мяо!

Тут Серж показал «китайца», скорчил сладкую рожу и растянул руками глаза.

Зазвонил телефон. Я подошел. Звонила Идка, подруга жены.

— Ребята, берите машину и приезжайте к нам. У нас гостей полно и женщина-сказка тоже тут. Димыч, прихвати спиртяшки, у нас водки мало!

Мы посоветовались. Леша сказал:

— Я поеду, но домой. Пока метро ходит. Мне ни до женщин, ни до сказок дела нет, а Виталик разговорами замучает. Будет меня жидомасоном называть. Он патриот! А я нехристь.

А Серж загорелся.



— Какая это, — говорит. — Женщина-сказка? Я давно хотел посмотреть на женщину-сказку.

Мы с Сержом решили ехать. Вышли из дома, посадили Лешу в автобус, а сами пошли на перекресток, такси ловить. Или частника. В Москве всегда кто-то на колесах — через пять минут мы уже мчались в подмосковный город физиков. На коленях у меня булькала трехлитровая банка с спиртом.

Приехали. Вылезли. Дом высокий. Идкина квартира на пятнадцатом этаже. Слава Богу — лифт работал. Музыка услышали еще у лифта. Абба.

Вошли в квартиру. Там было так накурено, что я подумал, что пожар. Банку у меня сейчас же отобрали. Идка повела нас с Сержом смотреть женщину-сказку.

Женщина-сказка танцевала в большой комнате. Ничего сказочного в ней не было. Ну да, блондинка. Высокая. Миленькая. И двигается хорошо. Но рядом с ней нелепо дергается, самодовольно улыбаясь, ее жених, физик. Значит Сержу надеяться не на что. А про меня и говорить нечего — женатик. Серж посмотрел на танцующих, вздохнул и вышел.

А ко мне подошел Виталик (Идкин муж) и сказал:

— Димыч, пойдем в кухню, выпьем водочки.

— А у вас что, есть что ли? Я спирт пить больше не могу, у меня от него пупок развязывается!

— Припасено в заглазнике.

В кухне никого не было. Виталик налил мне рюмку. Мы чокнулись, выпили. Виталик подошел к окну и показал вниз.

— Смотри, — говорит. — Вон там, на углу черная Волга и тошгуны.

— Вас пасут?

— Не нас, а Бартюхова. Он к Сахарову пытался пробиться. Не пустили. Из Горького выпроводили. И тошгунов поставили.

— А разве Бартюхов тут?

— И Бартюхов и Бартюшиха. Людка уже косая. А Бартюхов в маленькой комнате политику травит. Наш человек. Пойдем послушаем.

Пришли в маленькую комнату. Там прямо на полу сидело человек десять. Бартюхов вещал:

— Да, наша страна далека от совершенства, да, в ней правят престарелые кретины, но вы посмотрите на Америку! Демократия, а вся в коррупции погрязла, во всех больших городах — гетто для бедных и цветных, экологическую среду портит больше всех в мире. А диссиденты наши одного хотят — слинять туда поскорее. Когда они уедут, нам еще хуже будет.

Мне его слушать не хотелось. Все, что он мог сказать, я знал и сам. Это знание, однако, не возбуждало и не окрыляло меня, а давило и мучило. Потому что я был трус. И ненавидел «проклятую Россию» за то, что она постоянно демонстрировала мне мою трусость. Заставляла играть по ее правилам. Никогда не оставляла в покое. Была вездесущей. В том числе господствовала и в моем сознании. Это и было самым страшным. Противоестественная связь человека с государством. Не мы жили в государстве. Оно жило в нас. Как доминирующий паразит.

Я сочувствовал диссидентам, но на самопожертвование способен не был. Единственное, что я мог противопоставить всесильной системе, это мое искусство и злой язык. Искусство мое однако никого кроме меня не интересовало. Кухонные разговоры тоже начинали надоедать. Иногда я плакал по ночам от бессилия.

Я ушел к танцующим. Вошел в круг. Начал ритмично извиваться, прыгать и вертеться. Танцевал я долго. Час или два. Иногда с дамой. Иногда один. Ходил на кухню добавлять из Виталикова загашника.

Танцевал и с Людкой — Бартюшихой. Людка, танцуя, прижималась ко мне животом. Лезла целоваться. Язык у нее — длиннющий. И работала он им как пропеллером. Пару раз я поцеловал ее. Один раз нас увидел Виталик, сделал удивленное лицо (ты что, спятил, это же Бартюшиха!), погрозил пальцем. А мне уже все было по фигу. Если бы Людка предложила мне с ней спариться, я бы согласился. Не из-за любви или похоти, а просто потому, что не ценил свою жизнь. Мне было давно ясно — если в этой жизни делать все — как надо, то она еще хуже станет. Значит надо делать как — не надо. Попытаться так увеличить энтропию, чтобы она, паскуда, лопнула.

Ко мне подошла Идка и сказала:

— Все гулять идут, проветриться, а то от дыма задохнуться можно. Пойдешь?

Я тут же надел пальто, натянул шапку и вышел из квартиры. Долго искал лифт в темном коридоре и не нашел. Через несколько минут меня взяла под руку Идка и ввела в лифт. Вывела из дома. Потом вышли остальные. Кто-то предложил:

— Пошли на Тихоню! Там церковь красивая.

Ничего глупее предложить было нельзя. Именно поэтому все согласилось. Побрели в сторону Тихони. А до Тихони идти километра три. Через зимний лес. Через овраги и поля. Ночью. Слава Богу, снег был неглубокий. Сантиметров пять всего. А то кто-нибудь и замерз бы спяну. Я шел под руку с Идкой, задрал голову, и смотрел вверх. По зимнему ночному небу неслись грязно-желтые облака. Иногда в их прорехах выглядывали звезды. Туда, в эти черные бездонные пространства хотелось улететь. И не возвращаться.

Минут через тридцать мы с Идкой осознали, что потеряли остальных. И поняли, что Тихоню нам не найти. Заблудились. Хотя Идке местность была хорошо знакома. Она знала — тут лес, тут поле, тут небольшой овраг, а за ним должно быть хорошо видно Тихоню. Все было на месте, только Тихони видно не было.

Идка вдруг предложила:

— Пойдем купаться.

— Ты что совсем сдурела, где тут зимой купаться можно?

— Не сдурела. Вон там, посмотри, стоит шестиэтажное здание. Там лазер газовый. Чтобы его охлаждать, бассейн построен. В нем всегда вода теплая. И летом и зимой. И вода хорошая, чистая.

— Ну ты даешь! А туда как пройти?

— Через забор надо, я знаю место.

— Осилим?

— Попробуем.

Вышли мы к забору. Высотой забор — метра три, наверху колючая проволока.

Идка сказала:

— Тут где-то прореха была.

Минут двадцать искали прореху. Не нашли. Зато нашли решетчатые ворота. Без колючей проволоки. Я решил ворота перелезть. Полез. Порвал штанину. Поцарапался. При приземлении на другой стороне больно ударился. Но перелез. И был горд. А Идка не полезла. Решила под воротами проползти. Но застряла и в панику ударилась. Завопила. Тут я услышал собачий лай.

Ну, думаю, кранты. Сейчас овчарки нас закусуют. Схватил Идку за руку и дернул изо всех сил. Сдвинулась слегка. С огромным трудом, как репку в сказке, вытянул ее из-под ворот. Идка слегка поцарапала щеку, но все остальное было цело. Мы пошли дальше и вскоре действительно подошли к огромному бетонному бассейну, из которого валил пар. Чудо!

Раздевались порознь. Идка крикнула:

— Ты не смотри!

Очень надо!

Вошли в воду. Вода была теплая, градусов тридцать.

Начали плавать и плескаться. Идка уплыла, а я лег на спину и на облака смотрел.

Потом Идка подплыла ко мне.

Я взял ее на руки, как ребенка. В воде она была очень легкой.

Положила голову мне на плечо. И вдруг заплакала.

Стала мне жаловаться на жизнь, на Виталика.

— Ты не представляешь, как мне трудно с ним. Он же больной. Мрачный. Ему дела до меня нет. Он все о России думает. Монархистом заделался. Уже три месяца «Народную монархию» читает. А меня и Наташку заставляет слушать. Совсем сдурел. От меня все время отходит.

Я пытался ее утешать. У меня это всегда очень красиво выходило. Но неубедительно. Слова ведь скорее раздражают, чем успокаивают. Все равно какие.

И все же Идка плакать перестала. Проникновенно и пьяно посмотрела мне в глаза. Положила мне руку на затылок и притянула мою голову к своей. Последнее, что я видел перед шальным поцелуем, были облака, бегущие по ее черным зрачкам.

Мы вышли из воды. Растерлись как могли собственной одеждой. Потом напялили ее на себя и пошли поти-

хоньку домой. Нашли прореху в стене. Поплелись вдоль заснеженного леса. Мне захотелось по-маленькому. Я сказал Идке, чтобы она шла и не оглядывалась. Догоню, мол, потом.

Помочился в снег. На снегу остался странный узор. Как будто кислотой проело белый пушистый ковер. Застегнулся, дальше пошел, но догонять Идку не стал. Даже из виду ее потерял.

Вышел на пустынную улицу. На ее обочине стояла колоссальная деревянная бобина с кабелем. Рядом с ней были сложены строительные материалы. Подошел и потрогал бобину. А потом попытался ее качнуть. Не вышло. Тяжеленная. При второй попытке удалось ее слегка сдвинуть. А потом и очень медленно выкатить с газона на асфальтированную улицу.

Не знаю почему, но вся моя неудавшаяся жизнь воплотилась в этот момент в этой дурацкой катушке. Мне представилось, что вереница дней, как пестрая змея, на нее намотана.

— Ах ты дура, катись, катись к ебеной матери! — приговаривал я, изо всех сил толкая бобину.

— Давай, давай, милая... Катись, катись, катись к дьяволу! И пропади все пропадом! И Москва и Россия и моя хреновая жизнь!

Бобина катилась вдоль улицы, где-то недалеко от Идкиного дома. Я бежал рядом с ней, толкал, ругался и ронял пьяные слезы на снег.

Вдруг до меня дошло, что на пути бобины что-то стоит. Эта была та самая черная Волга с топтунами.

— Ага! — завопил я. — Попались, гэбисты! Ненавижу вас! Ненавижу советскую власть! Андропов, ты слышишь меня?

Бобина наехала на мирно стоящую Волгу. Наехала и, закружившись, с грохотом упала рядом. Волга почти не пострадала.

Топтунов в машине не было, они ушли в подъезд греться. Мой гнев угас. На улице было светло. Новогодняя ночь прошла.

Я пошел к Идке.

В квартире было уныло, как всегда утром после праздника. Женщина-сказка давно исчезла. Бартюшиха тоже ушла домой. В комнатах спали, только в кухне кто-то еще сидел. Я нашел Сержа, он лежал недалеко от Бартюхова. Спросил его, поедет ли он сейчас или позже. Серж поднял голову, промямлил что-то и затих. Я не стал его мучить, попрощался с Виталиком и Идкой и ушел.

Прошел мимо топтунов. Они стояли рядом с Волгой и трогали царапины на бампере. Один из них недоверчиво и зло посмотрел на меня. Я сделал невинное лицо, пожал плечами и показал глазами на лежащую бобину. Потом пересек по асфальтированной дорожке маленький лесок и вышел на дорогу, ведущую к Москве.

Автобус приехал только через сорок минут.

## ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Опять убийство. В понедельник после праздников. Первой гуляет по планете! В селе Столетово особенно разгулялся.

Потерпевшая — Липкина, Федотья Анреевна, 19... года рождения, русская, беспартийная, образование — восемь классов. Четверть века, значит, прожила. Вот тебе и Столетово. Двое детей. Мальчик двух лет. И девочка одиннадцати месяцев. Еще кормила. Подозреваемый — муж Федотьи, Липкин Афанасий Прокопиевич, русский. Беспартийный. Электрик. Арестован в доме матери, Липкиной Пелагеи... В нетрезвом состоянии. Плакал. Говорил, что ничего не помнит. Умные стали.

Сегодня на душе так темно, что наложил бы на себя руки. Но что-то останавливает. Не то, чтобы я надеялся на что. Просто хочется дальше жить.

Ездил в Столетово. Приятно после нашего смрада свежего воздуха хлебнуть. Село как село. Даже церквуха имеется. Поля. Березки.

Соседка... Сидоровна... якобы всю ночь крики слышала. Женщина кричала. Или ребенок. А может и кошка мяукала. Рано утром в дом пришла Пелагея, свекровь Федотьи. Все было вроде хорошо. Но ни сына ни снохи. Сын-то может и у крестного заночевал. А где кормящая сноха? Дети пищат. Полезла в погреб за вареньем. А там Федотья лежит. Страшная, с высунутым языком. Мертвая. Из опухших грудей молоко капает. Вокруг горла втрое скрученный телефонный провод. Заголосила. Люди сбежались. Милиция. Скорая.

Осматривал место происшествия. Крови нет. Погреб как погреб. Ящик для картошки. Банки-склянки. На полу что-то блестело. Какая-то железка под грязной доской валяется. Поднял. Крюк с резьбой. А на стене у самого потолка — раз-

вороченная дырка. Там, значит, торчал. Может она на этом крюке и повесилась? Нет, слишком низко тут. А так... все вроде нормально в погребке. Старлей-милиционер сказал:

— Удавили ее, а может и сама удавилась.

Точно определил.

Почему остальные соседи о той ночи молчат? Как воды в рот набрали. Что-то скрывают. Поди что разбери во всей этой дряни. Припугнуть их надо, повестки разослать. Этого деревенские боятся.

Протрезвевший муж, Липкин этот, верзила, заладил как попугай:

— Не виноват ни в чем! Пьяный был. Ничего не помню. Федотью — пальцем не трогал. Чтоб мне пропасть...

Пропадешь, пропадешь, и не сомневайся. Кто убил не знаю, а сидеть скорее всего тебе придется...

— Откуда провод? — спрашиваю.

Молчит, дергается. А потом опять свое заладил:

— Не виноват...

А насчет — пальцем не трогал — врет парень. Жену его и раньше с фонарями под глазами видели. Это мне ее бывший учитель сказал, Елкин. Помнил ее еще девочкой. Усердная, говорил, была, «Дед Мозай и зайцы» наизусть читала...

Заглянул перед отъездом в их сарай. Так там проводов на стенах — на электростанцию хватит. И мотки и катушки на огромных гвоздях висят. Наворовал небось. Вот так все деревенские. Колхоз, колхоз! Трудодни! А воруют все что можно у колхоза. Осмотрел сарай внимательно. Сверлильный станок ржавый, огнетушители старые, стекла оконного тонны две. Кирпича — кубометр. Хорошо живет. Паутина. На одном несущем столбе — дырка. В ней или здоровенный гвоздь был или крюк. Больше ничего интересного не обнаружил.

Страшный сон сегодня ночью приснился. Будто я в погребке. И жду, как в театре ждут, представления. Прямо в кирпичной стене вдруг открывается сцена. На сцене — огромный заяц сидит. С корову. Передними лапами старого мужика держит. И сзади его пялит. Мужик рот открыл, глаза выпучил.

Дальше — хуже. На сцене зайцы запрыгали. Как цветные шарики. Скачут, играют. И на меня совсем не как зайцы смотрят. Тут до меня дошло — зайчихи это. И от меня они



хотят того самого. Я к ним прыгнул. И давай с ними скакать. Ох, злое счастье! Нежный мех. И зайчихи сладкие. Долго скакал. Потом повалился на пол. А зайчихи все — на меня. Попками толстыми по мне заерзали. А одна села на мой кол. Я взял ее за длинные уши...

Проснулся — мокрый от возбуждения. Доделал рукой то, что сонный дух не осилил. А потом расстроился. Что я за человек? Заяц. Ладно, проехали. Надо на работу идти.

Сидел на партсобрании в прокуратуре. Скучал. Говорят, говорят, не наговорятся. Вот наказание! Ага, новое групповое изнасилование. Малолетка. Наверняка рабочие с Губиноазота отличились. Так точно. На первое мая после праздничной смены гульнули. С смертельным исходом. Нанюхались метанола — и вперед. К победе коммунизма. Двенадцать человек. И бутылку пивную куда надо вбили. «По неосторожности». Советская молодежь! Сторож их видел. Все арестованы. Пока упираются. Ну, Приходько долго терпеть не будет. Как первому почки отобьет, все остальные тут же разговорятся. Тогда будут выбирать зачинщиков. Чтоб беспартийные были... Им вышку. Остальным — от восьми до пятнадцати. Еще и невиновных могут посадить. Если кто подвернется. Бесплатная рабочая сила. У парней небось от страха голова кружится. Друг на друга будут валить.

Спросили, как мое убийство продвигается. Я объяснил. Оставили в покое. Но скоро начнут жать. Подавай им признание. А мой убийца ничего не слушает, только свое заклинание повторяет:

— Не виноват ни в чем.

Нет, дружок, так не бывает. Если родился — уже виноват. Живешь, не подох — виноват еще больше. И все за жизнь одно получают — высшую меру.

Крестный его Митька-механизатор, уверял меня:

— Удавилась она, сама, сдуру. Никто ее пальцем...

В погреб пошла, значит. Детей покормила и одних наверху оставила. На крюк проволоку намотала, влезла на стул, встала спиной к стене, петлю на шею надела, коленки поджала и... А в этом погребе нормальный мужчина и стоять не может, низко. Так низко, что маленькая Федотья и на стул встать не смогла бы — головой потолок бы пробила.

Побоев на теле вроде и не видно. Вскрытие подтвердило — смерть от удушья. Наступила от восьми вечера до двух часов утра. А Сидоровна говорила, всю ночь крики были. Полоса синяя через все горло. А сзади на шее — нет полосы. Значит, сзади и душили. Но петлю не перекручивали. А может, воротник от платья помешал. Или что еще. Надо на допрос Приходько пригласить, да из комнаты выйти. Будет признание через пять минут. Идея! Так и сделаю. Придется парторгу бутылку ставить. Или каких-нибудь мусоров позвать — пусть они поработают. Но эти звери кости поломают. Отвечай потом... Крюк проклятый мне покоя не дает. Не могла Федотья на нем удавиться. Что же он, сам из стены вылез?

Под утро снилось мне, будто опять я в погребе. Темно там. Сыро. И тут, как в кино, понемногу стало светлеть. Как будто мой кабинет появился, только в окнах не свет, а стены подвальные. Вижу письменный стол. На столе не бумаги и телефон, а Липкин, мой подследственный, связанный лежит. Рядом — Приходько с маленьким прутиком в руках. Этим прутиком Приходько Липкина по голому заду лупит. Слышно, как прутик в воздухе шипит. Липкин стонет. Приходько меня увидел и сказал:

— А, это ты Шурик, ну продолжай сам.

И мне прутик подает. А сам исчезает. Беру я в руки прутик, а он начинает расти и изменяться. И вот уже у меня в руках солдатский ремень с пряжкой.

Липкин говорит мне:

— Товарищ старшина, вы уж постарайтесь, уважьте меня! Врежьте погорячее. Только пряжкой не бейте.

Я заверяю его:

— Зачем пряжкой, мы тебя ремешочком оттянем. Поармейски.

И начинаю Липкина пороть. Порю долго, до крови, и все мое нутро от вожделения поет и светится.

Спрашиваю:

— Ты зачем Федотью задушил, чудо морское?

А он мне:

— Так ведь она с Петькой, Сидоровны сыном, спуталась.

— Как, — говорю. — С Петькой? Нет у Сидоровны сына.

Врешь ты все, подлец. От себя вину отводишь. Крюк в погребе зачем из стены выдернул?

— Не виноват я, товарищ старшина, оговорили!

— Кто тебя, сукиного сына, оговорил? Кому ты на хер нужен?

— Не виноватааа я...

Тут он медленно поворачивается ко мне лицом, и лицо его делается мертвым. И передо мной на столе лежит уже не Липкин, а Федотья. Страшная, в трупных пятнах. Из помятых грудей синюшное молоко сочится. Язык до подбородка достает. Тут меня во сне оторопь взяла. А она в себя свой распухший язык втянула, посмотрела на меня остекленевшими глазами, и говорит:

— Иди ко мне, любимый!

И ноги развела.

Я лег на нее...

Проснулся опять в поту. Что же это со мной? В прокуратуре часто умом трогаются. Может к врачу сходить? Так и так, скажу, мне мертвые снятся, и я с ними в половую связь вступаю. Врач тут же донесет куда надо. Запрут в дурдом. Галоперидол. А там, прощай жизнь. Помирать страшно. Вдруг там пустой погреб с пауками? В школе проходили.

Еще раз в деревню ездил. Всех подряд расспрашивал.

— Видели кого у Федотьиного дома? Заходил кто в дом?

— На праздники все друг к другу ходили, а третьего — нет, никого не видели.

В электромонтажке спрашиваю:

— Когда Афанасий в понедельник вечером домой пошел?

— Может в пять, а может и в семь. Он один остался, все остальные по деревням мотались. С самого утра тут один сидел, трансформатор чинил.

— Починил?

— Нет, он так и не работает. Обмотка сгорела, перематывать надо. А у нас такой проволоки нет.

Знаем мы, где проволока лежит.

— Так что же он делал?

— А черт его знает, с похмелья был, может спал.

Черт конечно знает все, а мне дело закрывать надо, а ни признания, ни улики нету. Даже понять не могу, где мой подозреваемый вечер понедельника провел. Мать не помнит,

отец не помнит. Соседи молчат. И обиженные рожи строят. Что ты, мол, нас муржишь. Твоя работа, вот и дознавай! Чувствую, врут. Значит, кого-то выгородить хотят? Но кого? Афанасия? Но они его своим запирательством только топят.

Пошел еще раз к Елкину, к учителю. Тот обрадовался, засуетился. Пригласил к самовару. Чай заварил. Пряники на стол выставил.

— Откуда у вас такие пряники вкусные?

— А в Туле к празднику выкинули.

— Опрашивал всех тут, в деревне. И такое у меня впечатление, что все кого-то покрывают. Или боятся правду сказать. Не хочу невиновного сажать, тут и так каждый второй сидел.

— Да нет, показалось вам. Никого они не покрывают. Просто знают по опыту — лучше помалкивать. А то беды не миновать. Они ведь что думают? Понаедут из города и засудят! Как при Салтыкове-Щедрине, так и сейчас. Город Глухов-с!

— Вы думаете, Афанасий убил? Мать своих детей? Молодую пригожую бабу?

— Та кто же его знает. Мать, не мать... Тут в деревне, каждый мужик бухой может человека убить. Сто первый километр...

— А может приревновал? Вы ничего не замечали? Может, кто ходил к ней?

— Кто же тут ходить будет? Тут же все на виду.

— Молодая баба. Одна. То да се. Может все-таки что слышали?

— Ходил слушок, но скорее всего брехня. И говорить не хочу.

— Уж лучше скажите, все равно узнаю.

— Говорили люди, Прокопий к Федотье заглядывает, свекор.

— К снохе?

— Раньше это часто было. Снохачество называется. Когда свекор со снохой...

Вышел от учителя, пошел к Прокопию. Тот на работе. Пелагея в дом не пустила. Глаза испуганные.

— Ничего я не знаю, мужа дома нет.

Изробленная баба. Простая. Неужели врет?

Снохач? Это уже что-то. А убийство тут причем? Свекор сноху задушил? А зачем? Себе на шею внуков вешать? Или муж узнал и рассвирепел? Сидеть Афанасию в тюрьме. Так и так. Надо Приходько подключать. Иначе толку не будет.

В прокуратуре говорю Приходько:

— Никитыч, поговори с моим подследственным. Повоздействуй. Не хочет признаваться. А припечь мне его нечем. Все равно посадят, конечно. А меня осрамят.

— А что, крепкий орешек?

— Он не орешек, он попугай. Талдычит одно и то же. Два часа в прошлый раз повторял. Кто-то шибко умный ему посоветовал. Психологически, понимаешь, сильно действует. И не молчит. И дурак вроде. Не убивал, не убивал... Если он так и на суде будет бубнить, нехорошее впечатление у судьи будет.

— Ладно, Шурик, только для тебя завтра провернем. Бутылку можешь уже сегодня купить.

— За мной не постоит.

Домой пришел злой. Начал картошку чистить — порезался. Кровищи на пол накапало...

Вот черт, пристало — опять страшный сон видел. В погреб спустился. А там беременная Пелагея на крюке висит. Старая, в морщинах вся, кожа дряблая, волосы разметались. За руки повешена. А лысый дед — Прокопий, в одних трусах, ее по огромному животу длинным прутом стегает. Во рту у бабы тряпка. Сиськи отвислые трясутся. Пруг свистит.

Прокопий бьет и ругается:

— Ты, пиздота старая, где брюхо нагуляла? Синюха. С солдатней спуталась...

Тут во мне огонек и запылал. Подошел к нему сзади и спустил трусы. А он услужливо заюлил и зад отключил. Пелагею сек, а мне по-рабски улыбался. Затолкал я кол в его тощий зад... Он заверещал. Пробормотал:

— Так точно, Ваше Благородие. Ваше право. Мы на эти дела всегда согласные...

Кончил я в тот момент, когда Пелагея выкинула. Как будто осьминоги из нее выпали. И по земляному полу расползлись.

Даже записывать страшно. А вдруг прочтает кто?  
Прочтает? Кому ты нужен? Раз в жизни самому себе правду сказал и испугался.

Осьминоги. Откуда они ко мне в сон приплыли? Видел этих тварей в аквариуме в Москве. До сих пор противно.

Интересно, есть в погребке дно? Там я уже, или только на полете?

Поговорил я с Прокопием. Был он на самом деле не тощий. В теле мужик, рыхлый. И не лысый еще. Себе на уме. Но глуповатый. И совершенно спившийся. Снохач? Нет, этот и свою жену последний раз двадцать лет назад раздетую видел.

И Приходько ничего не добился.

— Молчит твой Липкин. Здоровый черт. Заладил... Как заведенный. Интересно было бы узнать, кто его завел.

— Слушай, Никитыч, — говорю. — Ты мне разрешишь дело без признания в суд передать?

— Нежелательно. Ты не мудри! Я уже давно в уголовке, всякого навидался. Бывает и не поймешь ни черта, а вот он — труп. Кого-то наказывать надо. Потому что, если не накажешь, все село решит — ослабли они. А мы не ослабли! Советское правосудие крепко как никогда... Нам по-хорошему все равно, кто сидеть будет. Сын ли, отец или дух святой. Взять с них нечего. А порядок и уважение к власти мы защитим...

— Ладно, Никитыч, не кипятись, как-нибудь справлюсь.

— Ты с этим делом не тяни, на тебе еще пять дел висят... Поживей! А бутылка — все равно за тобой. Парень крепкий, рука болит. Такому бабу задушить, как мне два пальца.

Был в Столетово. Говорил с братом Афанасия, Мишкой.

— Михаил Прокопиевич, Вы мне скажите, что, Федотья и Афанасий хорошо жили, не ссорились?

— Чаво? Ничего жили. Как все.

— Может к Федотье ходил кто?

— Чаво? К Федотье? Так кто же к ней пойдет. У нее же муж есть... Ноги бы переломал.

— Что же Вы думаете, она сама повесилась? Или кто помог?

— Чаво? Думаю? Я ничего не думаю, пусть лошадь...

— А что в деревне говорят про Федотью?  
— Говорят, была ведьма, ее черти и повесили.  
Только этого мне не хватало. Ведьмы и панночки.  
— А за что? Дайте зацепочку.  
— Чаво? За что? Не знаю... Спросите у бабки — Калдырихи.

— Это что за бабка?

— Так на хуторе, живет... Колдует... Вон там, за лесом. К ней даже с московскими номерами приезжали.

— Далеко идти?

— Так у вас же газик есть — по лесной дороге два километра. Хоть и развезло, а проедете.

Поехал я к Калдырихе.

Лес вокруг дороги нетронутый, дремучий. Вот-вот покажется избушка на курьих ножках. Но ничего такого не показывалось. Заметил только повешенного черного кота. Метрах в десяти от дороги. Молодежь наверно шалила. Даже останавливаться не стал.

Дорога была вся в рытвинах и лужах. Три раза мой козлик буксовал. Пришлось выходить и еловые ветки подкладывать. Весь грязью замарался. Один раз испугался, что в луже вместе с машиной утону. Такая глубина. Ох уж эти весны! На душе неразбериха, а в природе грязь. Выехал из леса. Вышел из машины. Осмотрелся. На лугу первая травка выбилась. Озерцо как синее блюдце. Солнце печет. На опушке березового леса стоит изба. Подошел к калитке. Заглянул на участок. Яблони растут, огородик, цветничок правда еще голый. Курицы ходят. Изба старая, но ладная. Хорошо строили раньше.

— Есть тут кто?

Из избы вышла женщина. Седая. Лет семидесяти. На плечах оренбургский платок. В волосах лента. Спокойная.

— Заходи, Сашенька, я давно тебя поджидаю...

— Это вы — Калдыриха?

— Калдырина Ангелина Дмитриевна. Ты можешь меня Ангелиной звать. Хотя я тебя и на двадцать лет старше.

— А откуда вы мое имя знаете?

— Уж три дня на селе говорят про следователя. И ко мне на хутор доносится.

— Что же говорят?

— Говорят, седина в висках, а ума нет!

Разозлился. Так всегда. Поступаешь с ними по-человечески. Разобраться хочешь — тебя за дурака почитают. Начнешь лютовать — уважают.

— Как так? За что меня глупым считают?

— Ты, милоч с нечистой силой подружился, а от людей совсем отошел.

— С какой нечистой силой, что ты, бабка, чушь порешь?

— Осердился, а я тебе помочь хотела... Чтобы ты чертей не наплодил. Их и так по свету несметные тысячи бродят. Они к людям прямо в душу лезут. В белую горницу, для Святозара приготовленную. И там гадят. И Святозар не приходит. А человек сам себя изъязвляет, болезный, не понимает где сон, а где явь...

Ах, ведьма!

— О Святозаре потом, Вы мне лучше о Федотье расскажите. Слышал я, что Вы с ней знакомы были. На шабаш, что ли вместе летали?

— Ну вот, хорошо, что шутишь. А то, вон ведь какой — весь перекрученный. Нет, летать я не могу, пусть птички летают. А я по земле ходить буду. Как мышка. Да, Федотья была у меня. Детей у нее три года не было, я с ней поговорила, пошептала, травки присоветовала... Вот две ромашечки и расцвели... Была она девушка наивная. И Афанасия любила, хоть он и петух. Обижал ее. Но душа у него не злая. Пьет он. Присноироду служит.

— Кто же ее убил? Присноирод? За что? Ума не приложу. Помогите, наведите на след...

— Грех большой, мать от детишек отрывать... Не знаю. Может, кто совсем чужой? Не из наших? Приехал, насильничал и фьютъ... До шоссе от деревни — пять минут, асфальт. И дом ихний недалеко. Мужа не было. Может, с друзьями пил... Шут его знает. Тут недавно к деревенскому попу какие-то городские приезжали. Может они?

— Друзья говорят про вечер третьего — не помним, от бодуна еще не оправились.

— Это они от страха. Каждый вечер киряют. У них всегда праздник. Бодун-колотун. У меня третьего дня кота украли.



— Ну спасибо, Ангелина Дмитриевна, помогли. Пойду я.  
— Ты Сашенька потом, как с этим делом покончишь, приходи ко мне. А то пропадешь...

Уехал поскорее от нее. Глаза у нее добрые, но кошачьи. Видит она меня насквозь. Лярва старая! Завтра навещу папа. Да еще в сельпо с продавщицей надо поговорить, узнать, покупал ли Липкин третьего спиртное.

На обратной дороге остановился, вынул kota из петли. Проволока телефонная. Совпадение? Бросил kota в лесную яму и дальше поехал.

Снился мне опять погреб. Будто я Сына-Святозара оплакиваю. И так мне на сердце горько. Сын-Святозар лежал в гробу. В шестнадцать лет бедный умер. Радостей еще не знал, света не видел. Вот, сижу я рядом с гробом, плачу. Потом желание взяло свое. Руки от страсти задрожали. Раздел мертвого. Тело у него было мальчишеское, а формы женственные. Волосы кудрявые русые. Лег к нему в гроб. Стал его ласкать. Лизал ему ушки и спинку светлую кусал... Вот наваждение!

А потом во сне на шабаш попал. Бабка Калдыриха там всем заправляла. Огромная, толстая, не такая, как в жизни. Вначале младенцев в огромном котле варили, жир вываривали. Жрали потом голые ведьмы младенцев так, как будто это сардельки. И в себя засовывали. Затем под потолком летали, хоровод устроили и пели. Что пели, толком не разобрал.

— Сели, сели, дули, дули, между ножек перегнули, распалили, раскалили, в ночь на белую звезду, растопырили пизду, затопили, заварили, в печке солнце уморили, кто лежит под рысаком, тот родится петухом, у нее большая дырка, а у мужа носопырка, носом, носом, пырь засосом, перекосом все пошло и на деда перешло...

Тут они все на меня уставились и как лошади заржали. А Калдыриха подскочила ко мне, схватила за уши двумя руками и голову мою себе в лоно сунула. Там было красно, влажно. Как в ташкентской дыне. Я высунул язык и лизал колеблющиеся прелести. А Калдыриха взяла мой кол и стала его вертеть...

Проснулся я от поллюции. Из горла еще рвался стон. Кто-то настойчиво звонил в дверь квартиры. Набросил на плечи халат. Открыл. Соседка.

— Ты чего кричал, Шурик? Может скорую вызвать?  
— Все хорошо, баба Настя, мне просто... Присноиород приснился.

— Господи, спаси... Я думала, ты сдурел или помер, испугалась.

— Спасибо за заботу.

С продавщицей сельпо разговор был короткий.

— Покупал Липкин третьего спиртное?

— Нет.

— Хорошо помните?

— Да ничего не было. Пустой прилавок. Все перед праздниками расхватали. И зачем ему водка, когда самогонки полно?

— Кто гонит?

— Не знаю я ничего...

Пелагея небось и гонит. Надо будет еще раз с ней поговорить. Подошел к их дому. Мужики какие-то на улице стоят. Угрюмые. Покупатели? Как бы мне от них не схлопотать. Хотел к калитке подойти, не дали. Один прохрипел:

— Уходи лучше по-хорошему.

Не стал я лезть на рожон. В следующий раз с ментами приеду. Попляшут у меня. Пошел к попу. Рядом с церковкой домишко.

— Батюшка в церкви, отпевает.

Вот это да! Преследует меня мертвая Федотья. Вошел в храм. Там гроб стоит. Вонючка сладкая. Ладан. Народу немного. Отошел от людей. Встал у большой иконы. Богородица. Утоли мои печали. По адресу. Грустные глаза у нее. И красивые. Смотрит она — на младенца. Почему же ее взгляд прямо в душу мне проникает? Не люблю, когда мне в душу смотрят. Нечисто там. Вышел из церкви. Погулял на маленьком кладбище. Вынесли гроб, понесли к стоявшей не-далеке пятитонке. Никого не узнал. Ошибся, не Федотья это. Посторонний какой-то покойник.

Попу уже передали, что я с ним поговорить хочу. Сам ко мне подошел. И сигарету закурил. Но так, чтобы никто не видел. Потихоньку.

— Говорят, у вас гостили люди какие-то чужие?

— Это был мой племянник из Мценска, с женой и братом.

— Телефоны, адреса дадите?  
— Конечно дам. Только вы не думайте, что они какое-то отношение к несчастью имеют. Они уехали утром после праздников.

Опять след потерян!

— А вы покойную знали?

— Она в церковь не ходила. А Пелагея бывает.

— Самогонку гонит и в церковь ходит!

— Кто из нас без греха?

— А что вы об Афанасии думаете? Мог он жену убить?

— Не знаю я. Вы — власть. Вы их воспитываете. Вы сами на свой вопрос и ответьте. И еще подумайте, кто виноват, что для Афанасия одна радость в жизни — водка.

Умный поп. Получается, мы виноваты. Советская власть. Еще лучше — я один виноват во всем. Я и есть убийца. Вот он, ответ. Что я таскаюсь сюда? Я виноват. И точка.

В ту минуту осенило меня. Понял, как Липкина допрашивать надо. Спасибо попу.

Поехал назад в город. Вызвали Афанасия из камеры. Он, как меня увидел, принялся за свое. Попугай хренов.

Говорю ему:

— Помолчи минуту. Я знаю, что ты не убивал. Ты невинен. Это я твою жену задушил.

Оторопел, смотрит на меня как баран. Потом говорит:

— Вы убили?

— Я убил.

— Задушили и на гвоздь в сарае повесили?

— Ну вот, ты и проговорился, дубина. Отвечай путем, пил в тот вечер с друзьями?

— Пил все праздники. Пил и третьего. Начал еще в мастерской. Добавляли у крестного.

— Потом у матери?

— Да.

— Когда домой пришел?

— Ночь была.

— Опять проговорился. Пелагея говорила, что тебя рано утром дома не было. Очную ставку делать будем. Что дома увидел?

— Ничего. Все было нормально. Федотья кормила, стала меня стыдить.

— Ты что сделал?

— Не виноват я! Я ее пальцем не трогал...

И дальше по программе. Но мне уже все равно было. Потому что я сам для себя уяснил, как дело было. Пришел Афанасий пьяный домой. Федотья начала его увещевать. Он впал в ярость. Задушил жену как кошку. Первой под руку попавшейся проволокой. У него ее много. В аффекте. И на гвоздь в сарае жену повесил. Что натворил — не понял. Спать завалился. И, конечно, о том не подумал, что гвоздь этот слишком высоко торчит, не достала бы его маленькая Федотья. Оставил бы он ее там висеть, да положил бы рядом лестницу какую или ящик опрокинутый — все бы решили, что самоубийство. Не со сверлильного же станка вешаться. Который к тому же в другом конце сарая стоит. Неподъемный груз.

Целую ночь ребенок орал, никто не пришел, не спросил. Все по домам сидят. Пузыри пускают. А утром мать притащилась. Хватилась снохи. Вбежала в сарай — вот она, висит, как груша. Разбудила сына. Торопилась. Вдвоем они тело с гвоздя сняли. Гвоздь выдернули. Тело в погреб снесли. Там пытались повесить. Не вышло. Да и крюк из стены выдрался и под доску закатился. Хорошо подумать времени не было. Труп на руках, дети визжат. Положили тело на пол. Вокруг шеи телефонный провод обмотали. Чтобы воду замутить. А про крюк забыли. Афанасия Пелагея к себе домой послала. Велела еще самогону вышить. И только потом заголосила. Народ созвала. Всех в избу завела, в погреб, во двор и в сарай пустила. Чтобы натоптали везде, грязными руками затрогали. Только после этого сына опять в дом ввела. Деревенские сразу все поняли, не впервой. А меня дурачили как умели.

Ночью мне опять злое приснилось.

Вначале все Афанасий представлялся. Душил меня. Я кричал, отбивался, но он меня переборол. И в сарае повесил. И вот, я мертвый, в сарае вишу. На том самом столбе. И отходит моя душа от тела и летит в прозрачном шаре в небеса. Как куколка детская в мыльном пузыре. Подлетает к огромному престолу. На престоле сам Бог восседает. И шар мой прямо ему на ладонь садится. И вот, стою я — куколка, на ладони боговой.

И говорит мне Бог:

— Ну что, Шурик, с тобой делать прикажешь?

А я взял и брякнул сдуру:

— Пошли меня в погреб.

Нет чтобы в рай попроситься.

И тут... как будто сдуло меня с ладони и, пока я в пропасть страшную летел, все слышал смех сатанинский.

И вот, я в погребу. Ладаном пахнет. И обстановка как бы церковная. Стою перед иконой Божьей Матери голый. Смотрю на ее лик. Молю ее о милости. А она с иконы — на меня глядит. Сердце благодатью озаряет. И вдруг с иконы сходит. По воздуху как по лестнице идет.

Подходит ко мне. Кладет младенца в люльку золотую. Обнимает меня. Голубит.

И вот, я уже на Богородице лежу. И мы смеемся и в глаза друг другу заглядываем. Как муж и жена. И я — глубоко в ней. И вокруг нас не церковь, не погреб, а сфера звездная. И эоловые арфы играют нам музыку.

Вот, значит, до чего я дошел. Бог меня в руке как зверь Кинг Конг держал. И с Богородицей сплю.

Все допросы снял. Очную ставку с матерью провел. Афанасий принялся было опять за свое, но когда я ему пригрозил, что Пелагею посадим, не выдержал, сознался. Пелагея рыдала, сына выгораживала. Был у Приходько. Бутылку, как обещал, поставил. Рассказал все. Показал протоколы. Попросил разрешения Пелагею не преследовать. Тот разорался, но позволил. Бутылку мы выпили. Я занялся другим делом. А Афанасия через три недели осудили. Восемь лет строгого режима дали. Зачли смягчающие. Могло быть и хуже. Мать Федотьи забрала сирот к себе.

К Калдырихе я так и не съездил.

Живу неплохо.

Только кот черный по ночам донимает. То у двери скребется, то с потолка на грудь прыгает.

## СВИДАНИЕ

Она позвонила мне на работу. Вечно ухмыляющийся пожилой толстяк Пронов подал мне трубку, сделал большие глаза и проговорил многозначительно:

— Тебя просит дама. Но не жена!

Усмехнулся и тяжело посмотрел на Двинскую. Та в ответ хмыкнула, улыбнулась косо, плечами дернула и произнесла язвительно:

— Димочку опять вызывают к зубному врачу!

А у меня, еще когда телефон зазвонил, екнуло сердце. Она!

Почему мы знаем, кто нам звонит? Тайна! Подумаешь о человеке. И тут же звонок. Или наоборот. Позвонишь, а тебе говорят: «Я только что о тебе думала».

Все врут физики. Есть в пространстве неуловимый для приборов эфир, передающий мысли и эмоции живых существ без всякого электромагнетизма. И эфир этот заполняет всю вселенную. Может быть эта та самая невидимая темная материя?

Я взял трубку и, прикрыв микрофон рукой, спросил тихо:

— Ты?

— Я.

И — молчание. Сжал зубы.

Надо было гончих псов со следа сбить. Заговорил наигранным деловым тоном:

— Нет, Марья Викторовна, ваша дочь к экзаменам не готова. Я думаю, что надо еще, как минимум, три месяца заниматься. Геометрию подтянуть... да и алгебру тоже.

— Ты, что, что говоришь! О Господи, догадалась. Дура. Ну давай, придумай еще что-нибудь!

— Неравенства? Это тема трудная. Тут за два занятия ничего не сделаешь. Надо месяцок или полтора утюжить...

— Милый, быстрее. Сейчас кто-нибудь войдет. Жду. Со-  
скупилась. На Ленинском. Где всегда. У Спартака. Через час.  
Ты забыл меня!

— Нет, конечно. Как Вы могли такое подумать? Что вы  
говорите, Марья Александровна? Завтра контрольная?

— Знаем мы, как ты алгебру подтягиваешь! И как утю-  
жишь — тоже знаем! Даже имя два раза одинаково произне-  
сти не удосужился! — прошипела Двинская и посмотрела на  
меня ревниво.

— Вы правы, конечно надо внеочередное занятие про-  
вести. Что? Через час? Не знаю, надо у Леонида Леонидови-  
ча спросить. Если он не против, то пожалуйста. Да, в четыр-  
надцать двадцать. На Ленинском. У Спартака.

Теперь шефа надо уломать. Это не трудно. Хотя быва-  
ет — разорется по пустяку — не остановишь.

Наш шеф любил шутить. Высказывался иногда очень  
здорово: «После обеда нормальному человеку надо часок по-  
спать, потом сладкий чай... мда... с грибной запеканкой. А  
тут сидишь, сидишь, как пингвин на яйцах, и ничего не вы-  
сидишь».

И сам громко смеялся. Нередко уходил с работы еще до  
обеда. Когда дверь за ним закрывалась, напряжение само со-  
бой спадало. Как после команды — вольно. Приятно, когда  
за тобой не следят! Можно даже наукой заняться. Наши да-  
мы устраивали чаепитие. И болтали иногда до самого конца  
рабочего дня. Социализм — малина для хороших людей. И  
концлагерь, если энергичные мерзавцы за дело примутся.

— Леонид Леонидович, мне мать моей ученицы позво-  
нила. Просит внеочередной урок провести. Отпустите пожа-  
луйста на три часа. У меня еще два полных отгула осталось.

— Отгулы... За прогулы. Успокоил. Ха-ха-ха. Ну лети,  
скворец. Давай ей урок — у Спартака... Да мне и самому пора,  
надо еще молочка и сырку сынку купить.

Шеф — золото! Хотя и не блестит. Бывший летчик —  
сталинский сокол. Потом ученый. Лауреат какой-то премии.  
Завлаб и маразматик. Но с сочувствием к подчиненным. Да-  
леко не худший вариант.

Два года назад он всех удивил — женился в четвертый  
раз. А уже через месяц у шестидесятисемилетнего завлаба

появилось прибавление в семействе. Родился ребенок, сын Саша. Странно, но на эту пикантную тему сотрудники нашей лаборатории даже не злословили. Жалели старика. Хотя его четвертую жену, бывшую вдвое моложе детей шефа от первого брака, не любили. Звали ее за глаза лимитчицей. Шептались, что она — «молодуха, старика изловила и в подоле ему принесла» ради московской прописки.

Перед тем как уйти, подошел к Двинской, прошептал:

— У тебя совесть есть? Все уже обговорили тысячу раз. А ты опять за свое! Зачем ты меня при всех позоришь?

— Мне противно, когда ты врешь.

— Я не вру, ты же знаешь, что без уроков я на мои деньги ноги протяну.

— Знаю я твои уроки. Ты их мне достаточно... надавал.

— Могу еще дать. Погоди, квартира освободится. Тогда серьезно поговорим. Или, может быть, у тебя встретимся? С мужем любимым меня познакомишь. С мамой.

Заткнулась. Язвит, шипит как змея, а когда прижмешь ей хвост, теряется, слабеет. За это она мне тогда, четыре года назад и понравилась. И с тех пор тянется эта канитель. Давно уже прекратить пора. Тряпка.

Вышел из института. Решил пешком до Ленинских гор пройти. Вдоль ограды. До самой Смотровой Площадки. А от туда на семерке до Спартака десять минут. Как раз успею.

Плохо, что снег на пешеходной дорожке не чистят. По щиколотку. Залезает в бутсы. Ноги промочу. Завтра будут сопли. Черт с ним. Так приятно по холодку пройтись. Уже одно отсутствие коллег веселит сердце как шампанское. Каждый день одни и те же надоевшие лица. Не институт, а казарма.

И не темно еще — хочется на свет посмотреть. А то — уходишь на работу, света еще нет, приезжаешь домой — уже темно. А в лаборатории и свет в окнах не радует, такая у нас царит казенщина. Огонь присно палящий и тьма несветимья.

Да и с самим собой поболтать приятно. Хорошо думается на прогулке. Идешь и как будто из окошка поезда на мир смотришь.



Так о чем поговорим? Конечно о ней! С самим собой? С кем же еще об этом говорить? С женой? Даже с матерью нельзя. Начнет сразу шилом колоть.

— Я тебя предупреждала! Женатые все смурные. Если женился, не порти жене жизнь. У тебя ребенок.

А сама этого ребенка видеть не желает!

— Не лезь к чужим бабам в постель!

Да не лезу, рад бы, да не лезу. Где это в Москве можно найти постель? Это вам не Чикаго (там на всех углах постели с чужими женами). Тут Москва. Холод и лед. Даже на лавочку не сядешь — зад примерзнет.

И бабушке тоже нельзя ничего сказать. Сразу начнет подмигивать, намекать. Скажет: «Ты внук своего деда. Что вам не сидится? Гвозди в попе мешают».

А потом добавит проникновенно:

— Я так жалею, что была всю жизнь твоему деду верна. Как меня любили! А я все боялась, все о детях думала. Дура! Но ты, говнюк, жену люби. Она у тебя золотце. Все делает. Умненькая и миленькая. Говорила я тебе, не торопись, те-перь — вот он, локоток, близко, а не укусишь...

А дед, так тот вообще разговаривать не станет. Отрубит только:

— Молод еще жене изменять. Будет тебе лет пятьдесят, тогда посмотрим.

Посмотрим, посмотрим. Пятьдесят лет. Это же уже не человек, а придурочная обезьяна! По моим коллегам видно. Бывший комсомольский вожак Сечев жаловался мне:

— Знаешь, все эти дела уже в сорок лет прекращаются. Вот так, дружок. Приветик.

Может врал, а может и нет. У него — заведомо все прекратилось. Он целиком в партийную карьеру погрузился. И в покупки товаров. Даже специально поближе к ясеневскому универмагу переселился, чтобы каждый день в него ходить и не пропустить, если что выбросят. После его ухода из лаборатории, мы его письменный стол открыли. И что же? Все ящики были почетными грамотами забиты. Килограмма три одних грамот. И все ему врученные — Сечеву. За то, за се... Его награждали, награждали, а он все эту макулатуру даже с собой не взял. Мы с Двинской тогда

весь хлам собрали и ему на дом почтой отослали. Для хохмы. А на обратном адресе написали — «Партком МГУ». То-то он злился!

Отправили Сечева в свое время на Кубу. Науку для Кастро делать и за другими советскими наблюдать. Стучал он там, я думаю, не только руками, но и копытами. Рассказывал мне: «Представляешь, там на побережье рыба не пуганая. К ней подплывешь, а она на тебя внимания не обращает. Бил рыбу гарпуном, бил. Каждый день, часа по три. Домой волок пудами. Такая красота! Только девать ее потом некуда. Даже кошки хозяйские ее есть перестали. На помойку выбрасывал. Мы не ели, вдруг ядовитая...»

— И не жалко тебе было рыбу?

— Да что же ее жалеть, она же не наша.

— Не советская что ли?

— Что?

Лучшему другу — Леше, начнешь рассказывать, а он дразнится. — Хомячок, хомячок!

Это он так Лану прозвал. За толстые щечки. И второй подбородок. Бывает такое у женщин. На теле жира — ни капли. А лицо — полное. Припухшее. Кожа очень тонкая, чувствительная, жилки видно. Родимые пятна везде. Такие плачут по любому поводу. И смеются часто. Истерички. Зато возбудимые. Но зависимые. Ответить огнем на огонь они могут. А сами — как вода.

А Лешка — циник только на словах. На самом деле он мне сочувствует, просто он мою жену очень любит.

— Ты, Димыч, — говорит. — Жлоб. А Неля — ангел.

Умный! Женился бы сам на ней. Тридцать лет, а живет один.

Знаю, что моя жена ангел. Но иногда хочется от ангела — к хомячку. Шерстку нежную поласкать. У ангела ведь только белые перья. С ним только о божественном говорить можно. К тому же Нелька любит меня обличать. На слове ловить. Воспитывать. А меня от этого тошнит, хотя она всегда права. И лучше я от ее слов не делаюсь. Скорее наоборот. Нелька не ангел — она мой прокурор. А Лана — защитник. Потому что сама грешница.

По-хорошему — ей на меня наплевать. Все равно, с кем любовь крутить. Сегодня я ей на дороге встретился. Завтра кто-то другой появится. Но это мне не важно. Потому что я — такой же. А может... От этого еще сильнее сердце ноет. Преходящее чувство. Стрекозиный короткий век.

Познакомились мы с ней на могиле Пастернака, в Переделкино. Романтично! Мне ребята тогда нелегально «Доктора Живаго» скопировали. Увеличили. У посековского издания шрифт маленький. Глаза болят. Прочитал роман заново. Поразило. Только не любовь, не рассуждения, даже не поэзия. А общая линия. Композиция. Свертывание жизни. Уход в небытие. Оркестрованный как последние симфонии Малера. Темы развиваются и медленно, в игре вариаций, замолкают, умирают. Решил на могилу поэта съездить. Зимой, чтобы не было никого. Приехал, а там — женщина. Стоит у белого камня. Одна. Стройная. Молодая.

— Вас случайно не Лара зовут?

— Почти угадали. Лана.

Пошли с ней вместе к станции. Доехали до Киевского вокзала. Ей надо было в свой институт, на Ленинский. Проводил ее. Начали встречаться. Не часто. Бродили по Замоскворечью. Заходили и в парк Горького, в Донской. Разговаривали. В теплые дни сидели на лавочке. В холодные — шли в кино. Чаще всего в Иллюзион на Котельническую набережную. Там иногда целовались. У нее была семья, муж, ребенок. Разводиться мы не хотели. Оба были эгоистами. Банальная история. Без продолжения. Без апофеоза. Только со слезами. Так уж получается, все понимаешь, всему ясно даешь отчет. Глупостей не делаешь. И все равно — больно.

Бывало, отживешь день. С женой перед сном поиграешь. А потом, когда все уже спят, только метель на улице воет, лежишь и мечтаешь. И в мечтах отрываешься от тела. Оставляешь его спать в теплой постели, а сам, свободный, как демон, проходишь сквозь стены, покидаешь свою кооперативную конуру и взлетаешь. И летишь, летишь сквозь ночь. Медленно.

Сначала над кольцевой дорогой. А потом и над железной. Под тобой дома, леса, поля заснеженные. Позади Москва — как светящийся ковер. Наверху — созвездие Ориона.

Если захочешь, можно и туда слетать, но что тебе звезды, галактики и прочая пыль по сравнению с нежными глазами твоей любимой? Нет, не туда, а в Переделкино, к старому деревянному дому. В дом, однако, нельзя. Там — чужой мир, там спит Ланин муж и своим храпом отгоняет злых духов.

Превращаюсь в огромную ворону. С зелеными глазами. Подхожу к окну. Заглядываю в спальню. Каркаю. Стучу клювом в стекло. Лана встает с постели. И проходит сквозь стену... ко мне. Навстречу зеленому свету. Две огромные птицы взлетают над переделкиновскими соснами. Летят в свое небесное гнездо.

...

Ну вот и смотровая площадка. Справа трамплин. Слева церковь. Подхожу к гранитному парапету. Москва укутана туманом. Новодевичий монастырь виден хорошо, а Кремль почти не видно. Третий Рим. Первых двух не видал, в третьем — живу. Ну и что? А ничего.

Внизу деревья. Ветки черные, лоснящиеся. Московская графика. Надо идти.

Подшел троллейбус. Люблю семерку за то, что в ней всегда полно свободных мест. Проездной! Сидение холодное, но ехать недалеко. Дворец Пионеров. Гостиница. Ленинский.

Вон она, стоит на другой стороне проспекта. Шубка приличная. Что это у нее в руках? Сверток какой-то.

Выскочил из троллейбуса. Побежал. Спустился в подземный переход. Уу... низкий. Теперь замедлим ход. И примем вальяжный вид. Как сердце стучит!

— Лана, милая!

— Димыч, я тебя заждалась. Пришла на двадцать минут раньше, думала, ты догадаешься и тоже... раньше... придешь. Да не целуй ты, тут наши увидеть могут... Подожди дурачок, пойдем в парк. Да ты что, плачешь, что ли?

— Нет, я не плачу, это снег на глазах... растаял.

— У меня руки замерзли, согрей!

Взял ее руки в свои. Розовые. Холодные. Пальцы длинные. Но некрасивые, к концу как бы расширяются. Ногти белые, широкие. Вот эта некрасивость и делает ее руки такими родными. Желанными. У Нельки пальцы породистые, арийские, но они не мои.

Прижал Ланины руки к губам. Дышал, грел их и целовал.

Ушли от шумного проспекта. Вошли в парк.

Красиво. Еще зима, но уже веет весной. Деревья смотрят по-другому. Просыпаются. Веточки набухли. Снег отяжелел. Местами провалился. В воздухе повисла еще холодная влага. В небе показалась синева.

— Ты чувствуешь. Новая ясность. Чистота в воздухе. Что-то в природе изменилось. Где-то там, под снегом, в корнях и стволах бродит новая жизнь. Март. В Москве всегда сумасшедший март...

— Ты, Димыч, всю зиму в Москве провел. У нас в деревне уже в конце февраля первая капель была. Я набрала воды с веточек и умылась. Бабушка говорила, кто первой водой умоется, тот счастливым будет.

— А ты, что же, несчастная?

— Нет, я счастливая.

— Что ты еще от жизни ждешь?

— Ждешь всегда того, что еще не было.

— Ничего еще не было, все, все новое... Что это у тебя за сверток?

— Ах, чепуха. Диаграммы какие-то... Не могла же я просто так уйти! Сказала, что пошла в президиум, потом в филиал, там пообедаю и прочее. Наш Эдуард совсем сдурел. То его неделями нет. Мы гуляем. То прибежит, всех разругает, обидит, заставит все заново делать. Ну а потом изысканно прощения просит. Талькиной вчера сказал:

— Вы, Людмила Николаевна, приходите вечером ко мне домой и комплект постельного белья с собой прихватите!

— Ну, дает. Он бы еще мыло ее попросил с собой взять и презерватив.

— Это он не от хамства. Он просто настолько не от мира сего, что не понимает, что можно говорить влюбленной в него сотруднице, а что нельзя. Талькина два часа плакала и меня терзала. А что я ей могу сказать? Потом она решилась. Взяла белье и к Эдуарду поехала. А сегодня пришла тихая и загадочная. Все наши отдельские бабы у нее пытались выведать, что было. А она молчит. Только краснеет.

— И тебе не сказала?

— Мне сказала.  
— Ну и что он, петухом кричал или икру метал?  
— А ты никому не скажешь?  
— Помилуй, ну кому же я скажу. Я ведь ни твоего Эдуарда, ни Талькину в глаза не видел. Знать не знаю и знать не хочу... Честное пионерское.

— Без крестов, без ноликов?  
— Какие уж тут кресты!  
— Не скажешь?  
— Не скажу.

Тут Лана понизила голос и что-то мне тихонько прямо в ухо прошептала, а потом отпрянула и рукой сама себе зажала рот. Я расслышал только: «И тогда он ее заставил...»

— Да что ты говоришь?  
— Ты представляешь? А ведь ему за шестьдесят. Членкор. Профессор. У него уже сын доцент.  
— Ни черта я не понял.  
— Не понял и не надо. Много будешь знать...

Так я и не узнал.

— Мне все это время фильм покоя не дает. Тот, что мы неделю назад смотрели.

— А... Феррери. «Диллинджер мертв».

— Ну да. У него же есть все. Свобода. Богатство. Почему же он психует? Жenu убил.

— Ее надо было убить. Она тормоз. Или... символ. Лежит, ноет, в вечном гриппе. В прострации. А тут служанка. У нее воля есть. Интерес. Хотя бы к деньгам.

— Тебе все ля-ля. А меня задело.

— Ничего не ля-ля. Прописная истина — жизнь только тогда приносит радость, когда ты к чему-нибудь стремишься. Только в пути. Работаешь. Борешься. Не важно, за идею или за женщину. А когда ты всего достиг, то все как-то само разрушаться начинает. Тут есть что-то, что нам, людям, лучше не знать... о нас самих. Отрицательный опыт.

— Что-то вроде запрограммированного тупика?

— Да, так можно это назвать... тупик достижения. На нервных людей фатально действует. Например, ты вкладываешь все силы в карьеру, в положение. И добиваешься всего. Но, вот фокус, потом ты сам начинаешь самого себя и

все достигнутое разрушать. И приземляешься у разбитого корыта... Потому я карьеру и не делаю... Точно все заранее знать.

— А почему он горошинки на револьвере нарисовал?

— Это дань дизайну. Безумию тамошнему. Нас коммунизмом от этой пошлости спасает. Хотя и у нас ситцы в горошек. Но у нас это убого, а там — богато и со вкусом. Но зловеще.

— А ты бы хотел слинять?

— Не знаю. Не люблю строить планы. Я тоже в прострации... Живу... как в обмороке. Как мы все... Тебя увидел — счастлив. Когда совсем молодой был — хотел пожить в Париже, в Нью-Йорке. А теперь на путешествия больше не тянет.

— А куда тянет?

— Тянет на гречневую кашу с молоком. Шучу, на созвездие Ориона.

— Рассмешил!

— Хотя... на море тоже иногда тянет. На океан. У меня на учебнике астрономии кто-то из бывших владельцев написал: «Хочу на Луну! А рядом, другим почерком: Циолковский — мудаки!»

— Здорово! А ты слышал байки, что Гагарина инопланетяне похитили?

— На кой же он им понадобился? Пить с ним что ли за компанию? Хотя, все бывает, может и инопланетяне. Жалко, что они и Черненко с собой не прихватили!

— Говорят, он уже умер. Только об этом не сообщают.

— Говорят... Может и умер, только, кого же тогда по ящику каждый день показывают? Двойников? Ты знаешь, в телесном бессилии наших старцев есть что-то зловещее. Агония затянулась. На самом деле, эта агония наша. Это мы — бессильны. Это наш, совковый образ. Наш лик. Неужели это будет вечно продолжаться? Тогда нам всем конец. Они нас всех одними бесконечными похоронами до депрессии доведут.

— Не пугай меня, я о политике даже думать не хочу, Димыч. Боюсь.

— Плохо то, что она о нас все время думает... Россия сейчас, как и во времена Грозного — огромный языческий алтарь. Тут приносятся человеческие жертвоприношения. Тут терпят. Все мы подошли к какому-то порогу. Еще шаг — и безумие уже не остановить.

— Перестань, не бреди себя. Лучше поцелуй меня.

Лана целовала нежно, отдавая себя. Мы прижались друг к другу. Так крепко, как могли. Стояли, обнявшись, как живой столб. Одни на липовой аллее. На холоде. На ветру.

Два часа пролетели быстро. Лане нужно было еще появиться в институте.

А меня разрывало. С одной стороны — хотелось поскорее уйти, остаться одному, ехать домой, почувствовать себя в знакомой роли, как ноге — в старом теплом чулке. С другой стороны — не хотелось никуда уезжать. Только стоять, прижавшись к Лане, стать деревом, срастись с ней, переплестись корнями и остаться тут навсегда.

Тебе скоро тридцать. Пора уже и повзрослеть. А тебя носит как шестнадцатилетнего. Втюрился как пацан. Что теперь — убежать? Упасть на холодную землю? Разрыдаться? Или петь, прыгать, танцевать? Может, купить вина, поехать к Леше и напиться у него? Или, еще проще — взять бутылку портвейна и выпить ее на улице. В одиночку. Фу, как глупо. На большее ты не способен? Купить... Выпить... Рыдать... Русская загадочная душа... Ни на что не годен.

— Я пойду. Мне надо еще по магазинам пройтись, к празднику что-нибудь вкусенького купить. В Переделкино нет ничего в магазине.

— К какому празднику?

— Ты где живешь, милый! На созвездии Ориона? Через два дня восьмое марта!

— Черт бы его взял... Тяжело прощаться.

— Что ты? Не смотри так. Я на следующей неделе обязательно позвоню. Скорее всего в среду.

— Целую неделю ждать. А почему не в понедельник?

— Ты как ребенок. Хочу игрушку и все! В понедельник у нас аврал. Эдуард что-то вроде инвентаризации задумал.

— А во вторник?



— Во вторник я обещала Талькиной с ремонтом помочь. Она совсем извелась.

— В среду, так в среду.

— До свиданья, милый.

Повернулась и ушла. Только хвостиком вильнула.

А мне... куда теперь идти? Тоска заест!

На работу, в стойло? Чтобы там сидеть и демонстрировать. Смотрите, мол, вот он я. Такое же жлобье как вы. Ненавижу все! Домой? Там жена с дочуркой. Меня там совесть замучает. Буду весь вечер грызть самого себя. И с Нелькой поругаюсь.

Тут подошел сто сорок четвертый. Я обрадовался. Вскочил в него, как разбойник в почтовый тарангас. В автобусе было душно. Народу полно. И у всех лица как у распятого. Москва — Голгофа. Будь ты проклята!

Отмахал в давке по Ленинскому до улицы «26 Бакинских Комиссаров». Кто-то мне говорил, что самые хитрые из комиссаров в живых остались. Так всегда, хитрожопые остаются в живых, а честных — к стенке.

Может быть, поэтому наша жизнь идет на перекосяк?

Мы пытаемся выжать из нее капельки счастья, которое не заслужили. Ведь мы все — потомки выживших...

...

Через четыре дня сообщили, что Черненко умер. Началось новое время. С Ланой мы встречались еще два месяца. Потом у нее появился новый ухажер, старший научный сотрудник из ее отдела.

Пронов умер.

Канитель с Двинской тянется до сих пор.

## НА ПАСХУ

Мы встретились у касс Ярославского вокзала. Женя Бесноватый, Лапа, Стасик Стекланный и я. Женя обнял меня своими огромными ручищами. Прижал к груди. Его не очень чистое старомодное пальто пахло сигаретами Прима, он был умыт, выбрит, и смотрел приветливо. Все его клички: Бес, Бесноватый, Бешеный, Мосгаз были ему даны за подвижки, которые он совершал в длящихся неделями беспробудных запоях. В эти окаянные дни Женя не узнавал знакомых, хамил и дрался. Кончалось это для него обычно в милиции, из которой он попадал в клинику. Там его хорошо знали; знали, что после отходняка Женя будет смиренный, что починит бесплатно часы и пишущую машинку и вообще все, что можно починить, а если надо и полы отциклюет и стены покрасит. Был он — в трезвом состоянии — отзывчивым и добрым. Все время кому-то что-то ремонтировал, кого-то перевозил. Через три-четыре недели после поступления в дурдом, его отпускали. Выйдя на волю, Женя клялся себе и друзьям, что больше водяру в рот не возьмет и действительно не пил иногда месяца по четыре.

Жил он очень бедно — получал грошовую пенсию по нетрудоспособности. Отец-прокурор помог оформить. Но сейчас был при деньгах, отремонтировал знакомому стенные часы и получил гонорар. Приобрел новые носки, олово, одеколон и оленье рога. Оставшиеся рубли решил потратить на поездку в Загорск, на Пасху. Купил билет себе и Лапе, у которого, как всегда, денег не было.

Лапа был мужчина лет сорока. Плюгавый. Носил старые рыжие ботинки, нелепые коричневые брюки с отворотами, грязное пальто «со смехом» и полосатую шапку. Тело у Лапы было маленькое, неказистое, а лицо — широкое, русское, доброе. Имел он крупный нос, вечно моргающие глаза и неожиданно длинные ресницы. Жил много лет с женой и

тремя дочками в огромной коммуналке на Чистых прудах. Однажды его жена решила устроить дома выставку художников-нонконформистов. Кто-то из знакомых притащил меня туда, познакомил с Лапой. Мы стали přátельствовать. Он как и я любил старые русские книги, подарил мне, помнится, «Житие святого Николая Мирликийского» Симеона Метафраста, а я ему за это что-то переплел. Баловался тогда переплетами.

Работал Лапа где попало и с паузами, на одном месте долго не задерживался. На всех работах его третировали. Все у него вечно не ладилось. Даже собственные дочки дразнили. Хотя и не без науськивания матери. Лапа все принимал с терпением. Только моргал. И потирал руки.

И с женой было плохо. Она его не любила, уже много лет с ним не спала, жила богемной московской жизнью. К ней приходили подпольные писатели, непризнанные композиторы, диссиденты и откровенные сумасшедшие. Они пили, ели, курили ночи напролет, играли на старом расстроенном пианино, сорили. Иногда гостили месяцами. Стоит добавить, что в квартире жили кроме соседей, Лапы, жены и трех дочерей — спасенная в последний момент от супа курица, две собаки, черепаха, зайчик, три морские свинки и удод Веньямин. Удод был подарен выгнанным с работы за похищение зверей и звериного корма сотрудником зоопарка, поэтом-авангардистом Пучковым. Удод, впрочем, не прижился и прожил в Лапиной квартире всего полгода. Поэт Пучков пожалел его, забрал и держал дома, но потом, в безденежье, продал удода на Птичьем рынке.

Стасик был другом Жени и Лапы. Работал в ящике. Изготавливал там хитрые приборы «для этих мудозвонов», как он называл своих военных заказчиков. Стекланным его прозвали за то, что он выдувал в свободное время из казенного сырья затейливые фигурки, которые иногда продавал, а чаще дарил друзьям и их женам. Розовый бычок, фантастический цветок, чудовище, изысканная кисть пианистки, инопланетянин. Все это переливающееся красками хрупкое великолепие создавал мрачный русский человек, нигде не учившийся, никогда в жизни не бывавший в музеях. На неправильном лице Стасика выделялись широкие скулы. У не-

го был узкий лоб, кривой нос, очень маленькие, глубоко посаженные глаза, ежовые брови. Однажды я принес ему книгу — «Чешское художественное стекло». Он открыл ее, полистал и вернул мне, добавив:

— Да... мне не надо, я сам, как могу... буду дуть.

Стасик был молчалив и застенчив. Подошел к кассе, купил себе билет, крикнул и отошел. И до самого отъезда курил папиросы и смотрел на асфальт. Молчал и в электричке, и на пасхальной службе.

У меня билет уже был, потому что я уже час как торчал на вокзале, хотел посмотреть на народ, на поезда.

Народ приливал и отливал как темный океан, волновался как неуправляемая стихия. Был скорее процессом, чем совокупностью индивидуумов. Поезда истерично вскрикивали гудками. Их железные, покрытые рыцарскими доспехами лбы таранили пространство.

Почему все это наводит на меня тоску? Ну да, сама позиция наблюдателя уже предполагает отчужденность и высокомерие. Вот тут стою я. А там — океан, механический муравейник, там толпа, там поезда-тритоны. Моя страна, мой народ. А я заблудился. Не в небе, на Ярославском вокзале.

Зашел в зал где кассы. Встал в углу, закрыл глаза. Попытался сосредоточиться на Пасхе. Задал себе мысленно вопрос, верю ли я в воскресение Христа.

Вопрос этот всегда был для меня особенно мучителен. Ведь если Он не воскрес, то в мире царствует смерть, природа. А природа не знает ни красоты, ни милосердия, ни искусства... В ней нет ни спасения, ни возмездия. Никто за нами не наблюдает. Никто не накажет убийц. Никто не наградит праведников. Мы мушки. Летаем в банке. Рождаемся и умираем. И никому до этого нет дела, кроме нас самих. Получалось, что в Бога я не верю, а в добро и милосердие верю. Вранье. На самом деле я ни во что не верил. Ни в Бога, ни в носорога. И мне было от этого страшно.

Не веришь, тогда зачем едешь в Загорск? К бабкам, дурачкам и надутым попам. Да еще в компании придурков. Им-то все это христианство вообще до лампочки. Заслониться ими хочешь? Струсил собственного нигилизма?

Когда из толпы показался, наконец, Лапа, сияя улыбкой на блинообразным лице, на сердце у меня немного отлегло. Схватился за него как за соломинку. И начал себя успокаивать. Самому себе лапшу на уши вешать. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ты не один в этом мире. У тебя есть друг-приятель. Друг? Да ты что, спятил? Лапа — твоя жертва. На него можно свалить тяжесть жизни. Ведь он тебе противен. Тебе все противны. И в первую очередь — ты сам.

А потом подвалили и Стасик с Женей. Огромная фигура Жени возвышалась над низкорослым московским человеком сантиметров на тридцать — чуть-чуть до двух метров не домахал. И в плечах он был широк как старый дубовый стол. Русский человек. Корневой. Хотя лицом и смахивает на смесь татарина с запорожцем. И Стасик, хоть и поменьше ростом, но тоже кражистый, от сохи. Дуб. Вот, посмотри, они — настоящие. А ты — осина трепещущая...

Куда электричка? До Александрова? Значит наша. Вошли в просторный, почти пустой вагон. Сели на отполированные многочисленными задами деревянные сиденья. Середина апреля, на улице еще белые мухи летают. А в вагоне — благодать. Тепло. Шпалами пахнет.

Поехали. По дороге говорили мало. Вечер. В окнах мелькала подмосковная дичь. Когда вышли в Загорске, уже сильно потемнело. Небольшой кусок неба еще сверкал апрельской синевой. Там, где еще недавно было Солнце, расплывалось розовое пятно. Мы двинули в сторону Лавры.

Достигли Святых ворот. Вошли в монастырь. Подошли к Успенскому собору. Поглядели на его мощные плечи, на слишком тяжелые купола. Спелые груди, тянущиеся крестобразными сосками в небеса. Вошли в собор. И сразу застряли в плотной толпе. Женя жал как бульдозер. На него шипели. Но протолкнуться к алтарю мы так и не смогли, всю службу простояли припертые к громадной, четырехугольной колонне. Под хрустальной люстрой. Я боялся, что люстра не выдержит собственной тяжести и упадет. Представлял себе, что тогда будет.

Под утро чуть не задохнулись от испарений толпы. Колыхались вместе со всеми как море. Видели только темную, стонущую, напирющую на нас человеческую массу да часть высоченного золотого иконостаса. Зато прекрасно слышали хоры и священников.

Кончилась служба. Расцеловались. Вышли из собора. Отдышались. Съели пару припасенных Лапой бутербродов с любительской колбасой. Выпили чай из термоса. Походили по монастырю. Постояли у знаменитой лаврской колокольни. Дикая архитектура. Барокко посреди русского средневековья. Русская вариация ступенчатой пирамиды. Православный Зиккурат.

Я зашел в Троицкую церковь. Поклониться Сергию. Посмотреть на рублевские иконы. Спутники мои на дворе остались, закурили.

Странный мир. Завораживает. Сразу ясно — если войдешь, то уже не выйдешь. Опиум. Царство небесное. Серебряная кровать-усыпальница Сергия со стеклянным окошечком. Что она мне напоминает? Секрет. Секреты строили дети во дворе. Поймаешь кузнечика. Найдешь стекляшку. Вырешь ямку. И кузнечика туда. Под стекло. И стеклышко по краям присыплешь землей. Но так, чтобы кузнечика видно было. А потом смотришь, как он там скребется. Без садизма. Какой уж тут садизм у пятилетнего? Это сама жизнь. Вот и Сергей — старый кузнец — попал под стекло. И смотрит своими мертвыми глазами на мир из своего — секрета. Нравится ли ему то, что он видит?

Вышел на воздух. Поприветствовал приятелей. Лапа отдал мне честь. Мы немного попрыгали, чтобы взбодриться, потом пошли к выходу из Лавры. Зашли по дороге в туалет. Ужас! Вот оно, истинное лицо монастыря. Глубокие лужи мочи и плавающие в них испражнения верующих.

Притащились на станцию. Поезд уже стоял. Зашли в вагон. Сели. Лапа достал бутылку водки, стаканы, соленые помидоры, лук и половину Орловского хлеба. Разлил водку. Разломил хлеб.

Я сказал Бесноватому:

— Жень, тебе лучше не пить. Опять начнется.

— Ничего, я только пару глотков. Один разок. Как же за Пасху не выпить. Не бойсь, я себя в руках держу. Давно уже запоя не было.

— В этом и проблема.

— Нет проблем, Димыч-друг, все ништяг!

Лапа поднял стакан и сказал:

— Ну, за нас, то есть — Христос Воскресе!

Женя пробасил в ответ:

— Воистину воскресе!

Стас только головой мотнул. Я тоже ничего не сказал.

Не испытал я катарсиса в церкви. Тянулось сердце. Туда, в православную сладость. В высоту. Особенно когда пели «яко восста Господь, умертвивый смерть».

Но в небо грехи не пускали. Остался на земле.

Мы выпили. От пахнувшей химией водки меня пере-дернуло. Занюхал поскорее хлебной коркой. Положил на ломоть толстое колечко лука. Закусил. Съел помидор. Засол замечательный. Во рту взрывается. Язык обжигает. Для себя Лапа солил. Вот ведь талант пропадает. Почему все, что в магазине, такое невкусное? Коммунизм проклятый. В космос летаем, а едим гадость.

Лапа выпил осторожно, кошачьей лапкой. Тихо крякнул, занюхал рукавом. Потер руки. Есть не стал. Деликатный человек. Подумал наверное: «Я — маленький. Мне много не надо. А друганы — один другого здоровее. Пожрать мастаки. Пусть себе рубают».

Женя выпил как знаток, не морщась, на выдохе. Закусывать не стал. Я подумал: «Хочет, чтобы водка подействовала сильнее. Истосковался. Дурак я. Не надо было ему давать. Отговорить надо было. А теперь — жди сюрпризов».

Стас Стекланный выпил свои пятьдесят грамм без аффектации. Покривил рот. Закусил. Рыгнул. Сказал:

— Ну, отравла!

И замолчал. Посидели. После первой всегда воцаряется затишье. Непонятно, куда все пойдет. Поэтому нетерпеливые скорее вторую хотят. А мудрецы смакуют. Ждут, когда печаль бытия сама рассосется и обиженная зельем душа твердо скажет: «Давай по второй. Что ее теперь, мариновать что ли?»

Женя Бесноватый вдруг пробурчал:

— А меня вчера менты взяли.

Помолчал минуту. Затем продолжил:

— Продержали в милиции до пяти... Допрашивали. Кровь брали. Потом отпустили.

Лапа вякнул:

— Тык, за что это? Донора они из тебя что ли сделать собирались?

— Какой донора. Донор я уже давно. Подозревали меня. Думали, я маньяк. Который пацанов в Подмоскowie потрошит.

— Да ну!

— Позвонили в десять. Я открыл. Менгов было трое. Полковник, майор и наш участковый. Участковый сказал:

— Доигрался ты, Бес. Допрыгался!

А майор с полковником топоры увидели и перебздели, майор даже в кобуру полез. За пистолетом.

— Какие топоры?

Лапа объяснил:

— Ты у Беса дома не был. Как войдешь, в коридоре два топора висят. В петлях. А в комнатах портреты. Гитлера, Сталина и Муссолини. А теперь и этого, Ванафранко повесил.

— Ты чего не знаешь, не говори, — перебил Женя. — Не Ванафранко, а Каудильо Франко. Каудильо — предводитель по-ихнему, по-испански. Как менты портреты увидели, так сразу на меня наручники надели. И повели. Соседи высунули рожи из квартир, лыбятся, довольны. А то, что я им всем помогал — никому и в голову не приходит. Скотобаза!

— Так вроде поймали маньяка.

— Если бы поймали, не стали бы меня в отделение таскать, кровь сосать. У меня еще иголка в руке торчала, как майор кивнул подполковнику — нет, мол, не этот. Группа крови не та. Видать, где-то крованул мужик, так они теперь кто повыше, да на учете состоит, тягают. Формальности мол, говорят. Мы всех проверяем. Извините за наручники. А топоры вы все-таки снимите. А то кого-нибудь убьете ненароком. А я никого убивать не собираюсь. Топоры висят для самозащиты. Если грабить придут. У нас в доме уже троих ограбили. Цыгане. Или местные, одинцовские отметились. Ну, давай Лапа, по второй, что ли!

— Ты же хотел один разок?

— Эх раз, еще раз, еще много, много раз...

Лапа засуетился, достал бутылку из кулька, начал разливать оставшуюся водку.



— Да ты не мельтеши, разливай всю!

Женин голос явно стал громче. В нем появились грозные нотки.

Я подумал: «Вот незадача. У Беса запой начинается. А бежать некуда. Мы в поезде. Хорошо, кроме нас и в вагоне нет никого. А то бы началась потеха».

Попросил Лапу:

— Мне поменьше наливай. Не пошла. Злая водка. Не московского разлива, что ли?

— Ярославская. Нам ее Тыня принес. У него там корешки на спиртзаводе. Я, говорит, у вас месяцок проживу и заплачу водочкой. Ну я тогда одну поллитру и припрятал.

Стасик выпил и сказал:

— Ах, отравя!

Мне пить не хотелось. Но я переборол себя и выпил немного из стакана. Поперхнулся. Закашлялся. Лапа стал бить меня ладонью по загривку. Полегчало. Чтобы не казаться слабаком, допил стакан, но опять поперхнулся.

Лапа выпил тихо. Зевнул. Закусывать не стал. Потер руки. Заморгал.

Женя выпил свою водку, грозно глянул на нас и спросил: «Больше нет?»

Никто ему не ответил. У меня и у Стасика не было, но у Лапы в кулке было еще грамм четыреста разведенного спирта. Я это знал, а Стасик и Женя не знали. Лапа видно решил поначалу спирт зажать, чтобы Женя не пошел в разнос. Но потом не выдержал давления, глубоко вздохнул, пробормотал что-то, потер руки и достал бутылку из-под молока, заткнутую самодельной пробкой.

Бесноватый тут же налил себе полный стакан и выпил, даже не дождавшись, когда Лапа остальным нальет. Я заметил, что лицо у Жени побурело. Глаза налились кровью. Из них исчез разум. Зато появились бычье упрямство и злоба.

И тут, как назло, в наш вагон вошли люди. Целая компания. На станции «Заветы Ильича». Черт бы побрал и Ильича и его Заветы. Несколько мужчин и женщин. Все они были навеселе. Разговаривали громко, не стесняясь. Женщины смеялись, мужчины рассказывали неприличные анекдоты. Особенно громко выступал здоровый блондини-

стый парень лет двадцати пяти в светлой дубленке с вышивкой. Он и говорил и изображал кого-то, даже в пляс пару раз пустился между сиденьями. В нашу сторону не глядел.

— Да, эти разговелись, — кивнув на пришельцев, пробормотал Лапа.

Я попытался отвлечь Женю от неизбежной конфронтации.

Спросил его: «Ты что думаешь о нашем новом?»

Горбачева только недавно избрали генсеком. Никто тогда толком не знал, что он за человек. Не знали, что будет в стране. Боялись. Пересказывали слухи. Шептали, что пятна на его лысине — это сатанинские знаки.

— О Меченом что ли? — голос Жени уже не был просто громок. Это был гром.

— Ну да, говорят, он перешерстит все по новой.

— Горбач всем отвесит пиздюлей! Всем отвесит! Всему сраному совдепу. И ментам и прокурорам. И тебе, и тебе, и тебе!

Он явно имел в виду нас.

Потом голос Жени возвысился еще на тон, и он проорал парню в дубленке: «И тебе, козел, Горбач тоже отвесит пиздюлей! Желтеньких».

Тот позеленел от злости. А до этого он был краснощекий — кровь с молоком. Подвалил к Жене. Разбираться. Это было ошибкой. Надо было не расслышать. Может и пронесло бы. Женя ударил его огромным кулаком в нос. Как будто молотом. Беззвучно. Только черное пальто метнулось как раненая птица. От разбитого носа сразу полетели в разные стороны капельки крови. Как красные бусинки. Парень обмяк, повалился на грязный пол, его оттащили товарищи, а мы с Стасиком попытались усмирить Женю. Он отбросил нас одним броском, но драку не продолжил, а сел на место. Какие-то мысли его отвлекли. Мы тоже сели. Соседи наши благоразумно перешли в другой вагон.

Лапа моргал и причитал:

— Бес, ты пожалуйста успокойся. Хорошо, если они к дежурному по поезду не пойдут. Тот сразу милицию вызовет. Арестуют нас всех. На Пасху!

Стасик выпил еще немного спирта и проговорил в сердцах: «Во отвала!»

Женя и Лапа пить не стали. Мне и подумать о спирте было невыносимо. Рвотная муть ходила где-то под горлом.

Просидели минут десять в тишине. Только качались как маятники. Потом Бесноватый вдруг заорал:

— Не могу. Душа болит!

Выватил у Лапы из рук бутылку и прямо из горлышка быстро допил ее. Кинул пустую бутылку на пол. Стало ясно, что он сейчас разбушует, как шторм.

Я попытался его урезонить: «Жень, ты бы сел. Скоро уже к Москве подъедем. Если будешь бушевать, менты на вокзале пристанут. Ты сам знаешь, в праздники они как мухи злые. А нам еще на метро ехать».

В ответ на это Бесноватый прорычал: «Иди ты... Советчик, бля! Жидюга! Я тебя знать не знаю, тварь. Чего приебался? Менты? Насрать на ментов. Москва? Ебал я твою Москву! Понял? Праздники? Да насрал я на твои праздники. Уу, гад, раздавлю!»

Он схватил меня за горло и начал душить. У меня в глазах почернело. Я попытался отодрать его руки, но это было все равно, что отдирать рельсы от шпал. Мелькнула мысль: «Конец истории».

Тут, как мне потом рассказал Лапа, Женю ударил Стасик. В грудь. И как косою скосил. Бесноватый расцепил свои клешни, опрокинулся, упал. Падая, ударился затылком о железную ручку на сиденье. Захрипел.

Мы с трудом подняли его и положили на лавку. Лапа достал закатившуюся под сиденье бутылку и вылил остатки спирта на рану на затылке. Выглядел Женя жалким и страшным. Черные с проседью волосы сбились в перья. Кровь залила шею и капала на пол. Лицо посинело. Глаза закатились. Пальцы скрючились, ногти почернели.

До нас не сразу дошло, что наш приятель умер.

## ЛЮБОВЬ

Моя фамилия — Сироткин... Как вы полагаете, Дима, можно с такой фамилией прожить долгую хорошую жизнь? Нет. Это и чижикю ясно. Сколько раз мать просил — смени нам фамилию! Нет! Вот, в нашем дворе один мой дружок был Бусовым, а стал Ожерельевым. И доволен. А нашу сиротскую фамилию мать менять не стала.

— Как я могу! Мой дед-толстовец был Сироткин!

А на самом деле она моему отцу досадить хотела. Его фамилия была — Кац. Он нас бросил. Умотал в Израиль — по первому призыву, в шестьдесят девятом. А мать наотрез отказалась ехать.

— Не поеду. Мне моя могила в этом Израиле мерещится. Леса нет, жарко, вокруг евреи. Там моя смерть. И сына не выпущу.

Отец просил, умолял, на коленях стоял. Все бестолку. С работы его уволили. Полтора года муржили. Потом дали разрешение. Он свалил. А мы остались в Москве. С тех пор я отца не видел. Только во сне он ко мне несколько раз приходил. Я с ним во сне заговорить пытался. Но он молчал. Я плакал, просил его не уезжать. Все напрасно. Отец был тих. Сидел на каком-то камне, голову на руки положил. А за ним была гора, в небо уходящая. На ней — старые могилы. Когда мне шестнадцать исполнилось, мать рассказала, что отец только три года в Израиле прожил. От инфаркта умер. В Иерусалиме. Полный был. И чувствительный.

А теперь мне дорога к нему закрыта. Жалко, духи снов не видят. И к месту привязаны. Тут, в музее — гуляй где хочешь. А за порог нельзя. Печати специальные положены. Так что путешествовать я только по залам да по картинам могу. Сам пожелал. Может, отец, как и я дух неприкаянный, бродит там у Золотых ворот. Интересно было бы с ним поговорить... Ну да ладно, что душу зря травить...

Так вот, фамилия моя Сироткин. Сирота как бы. С годами привык, не обращал внимания. Одноклассники над мной смеялись, дразнили сирым, сивроткиным и уж совсем не понятно почему — сиропчиком. Особенно меня этот сиропчик доставал. Гусиная кожа от этого слова по телу шла. И горло внутри чесалось.

Жили мы с матерью в маленькой квартирке недалеко от Комсомольского проспекта. В новом панельном доме, где обувной. Кухня, коридор, две комнаты. Моя — 8 метров, мамина — 16. Кооператив. Мать в военной академии переводчицей работала, зарабатывала 250, нам хватало. Отец тоже где-то там работал. Закройщиком в закрытом ателье. Мундиры, наверное, шил. Работником он был не лучшим и использовать свое положение не умел — жил с женой в коммуналке и, только когда я на свет появился, кооператив купил. Помогли знакомые. На первый взнос у бабушки Ривы деньги взял. Бабушка долго не хотела давать.

Ворчала: «Женился на русской, а теперь полторы тысячи рублей просит!»

Потом дала.

— Зяма, не могу наблюдать твои мученья!

По словам матери, баба Рива отца грызла и канючила, чтобы в Израиль он без нас уехал. Даже невесту ему присмотрела — толстозадую Сару с волосатыми ногами. Не хотелось ей показывать многочисленной еврейской родне русскую сноху и внука-гоя.

— Ууу... гнездо жидовское! В нем нашего Каца птенцом считали. Не позволила ему баба Рива повзрослеть, чтоб ей поскорее околеть, гадине, — бранилась мать.

— Зачем же ты за него замуж вышла? Он же старше тебя был, и его мать тебя обижала! — спрашивал я мать, силясь что-нибудь понять в логике взрослых.

— Зачем, зачем... Вырастешь, поймешь... Любила...

В школу я ходил без большой охоты. Учился так себе. Мать приходила с работы усталая, но мои домашние работы проверяла. Помню, никак мне английские слова выучить не удавалось. Ненавидел я этот язык всем сердцем. Учил, учил, повторял, повторял. Как тетрадь закрою — все из головы вон. За невученные слова я от матери получал нагоняй. Крича-

ла. Грозила, что стану дворником. Я этого очень боялся. Мне представлялся огромный глупый мужик в грязном фартуке. А я тогда хотел стать министром иностранных дел.

Один раз мать дала мне пощечину. Заслужил, двойки по английскому в дневнике чернилами залил. На свободных местах пятерок понаставил. Думал, мать не заметит. Заметила. Да ее еще и к завучу из-за этого вызывали. Я сидел дома, дрожал. Мать пришла злоющая. Хрясть меня по щеке ладошкой! И рыдать.

Потом говорит:

— Ты трус! Напортачил — отвечай. Ответил. Исправил. Нашел из-за чего дневник марать... Министр... А эта твоя Светлана Родионовна — гадука настоящая. Я с ней поговорила. Антисемитка проклятая. Чует в тебе папу Каца. Думала, ты в деда Колю пойдешь, а вон что вышло — цадик местечковый, как мы тут жить будем? А для еврейчиков — ты русский. Вот же привел Господь...

О чем она говорила я понял позже, когда меня при поступлении на физфак МГУ на экзамене срезали. На апелляции шепнул мне второй проверяющий, аспирант, когда первый за бумагами вышел:

— Вы Сироткин, да не совсем! Подумайте хорошенько, куда таким «наполовину сиротам» поступать разрешено, а куда и пробовать не надо.

...

Учительницы у нас были — драконы.

Светлана Родионовна, невысокая полная дама с выпученными глазами даже двигалась как змея, только пластилиновая. Какой-то недуг терзал ее изнутри и за это она жалила учеников. На каждого из нас у нее было приготовлен особый яд.

Например, с тощим, высоким как жердь Ваней Сабитовым она говорила по-простому: «Ты Иван опять не можешь двух слов связать. Что же будет, когда мы сложные тексты проходить начнем? Иван ты Иван, голова два уха. Надо будет поставить вопрос об отчислении на педсовете. Есть такие школы, для отстающих. Тебе там самое место. А родителей твоих прощу ко мне завтра, к трем часам».

Знала ведь, гадина, что Ваня растет без отца, а мать его — бедная неграмотная татарка-уборщица, боится всех, не понимает по-русски, работает в трех местах и четверых детей на себе тащит. Та придет, а Светлана давай ее мучить: «Ваш сын недоразвитый, текст про Одиссея пересказать не мог, на уроках мычит, рук из карманов брюк не вынимает...»

А меня она так обрабатывала: «Я понимаю, это неожиданность для тебя, Сироткин, что ты, несмотря на мать переводчицу, не способен к языкам. Ты должен больше остальных учеников заниматься. Это тебе не арифметика. Тут нужно способности иметь... Хорошо, если у тебя тройка в четверти выйдет. Все вы в английские школы поналезли... Думаете не понятно, для чего?»

Кто эти — все «вы», которые «поналезли» я не понимал. Зато хорошо чувствовал нескрываемую ненависть, исходящую от Светланы Родионовны.

Наша классная руководительница Альбина Федоровна, учительница русского языка и литературы, дебелая бабища, говорила с нами почему-то нараспев. Ученики ее боялись, потому что над верхней губой у нее были черные гадкие усики, а во рту сверкал золотой зуб.

— Нааш диреектор решил — кааждый клаасс примет участвие в социалистическом соревноваании по успевааемости. Мыы все в шестоом Бее возьмеем на себя обязаательство, повыысить успевааемость на дваа и четыыре десятыых процентта... — долдонаила классная.

А когда она говорила о генерале Карбышеве, ее завывание перерастало в устремленный в потолок крик души.

— Товарищи пионеры! Каарбышев жив! Фашисты замороозили его теело, но дуух его всегда буудет жить в нашей пионерской дружинне!

— Сосулька, — говорил мне тихо мой сосед по парте Сухарев, показывая грязным пальцем на страшную картинку. Голого человека обливали водой на лютom морозе фашисты. Ноги его уже были покрыты льдом. Пар шел от тела. Мне запомнилась голая спина Карбышева — художник так рельефно прорисовал мускулы, что было непонятно, как такой силач позволяет поливать себя на морозе из шланга водой довольно убогонькому солдату с крысиной физиономией.

Учителя, напротив, не вызывали во мне чувство отвращения. Некоторых, я, конечно, побаивался. К другим был равнодушен. Одного даже любил. Это был учитель истории Петр Самуилович. Это был единственный в школе вменяемый педагог. Говорил он кратко и доходчиво. Особенно мне нравились его комментарии. Петр Самуилович рассказывал:

— Цезарь завоевал популярность плембса устройством пышных зрелищ и раздачами хлеба... Зрелищ и сейчас достаточно, а вот с хлебом сложнее. А с популярностью совсем плохо. Цезаря раздражала его лысина, потому что над ней смеялись. Для ее сокрытия, он постоянно носил лавровый венок. Попробовали бы посмеяться над Иосифом Виссарионовичем за его сухую руку и короткую ногу! Я бы на них посмотрел.

Кто такой этот Виссарионович мы не знали, но представляли себе мстительного злого карлика со страшной сухой рукой и маленькой короткой ножкой.

В сентябре 19..., последнего в школе, года в наш класс пришел новый ученик — Армен Сальский. Худой, высокий, черноволосый. Вел он себя достойно. Говорил с легким кавказским акцентом. По многим предметам быстро стал первым в классе. Очевидно скучал на уроках. В этого Армена я влюбился. По уши и с карманами.

Мне нравились мальчики. Переживал я это мучительно. В душевой, голый, я стеснялся своего тела. Показывать свои чувства боялся. Боялся не одноклассников, а самого себя. Думал, я урод или сумасшедший. А на девочек и смотреть не хотел. Все они мне казались жеманными и фальшивыми. До фиолетового траурного оттенка на висках.

Какие мне надо было делать выводы, как жить — я понятия не имел. Удовлетворял себя сам. Как все это делают. И терзался как все. Не знаю как у других, но у меня сексуальные фантазии чем-то вроде навязчивых представлений были. Приходить — приходили. А уходить не собирались.

Прочитал я тогда «Три толстяка». Наследник Тутти, Тибул, Суок... Странное впечатление книга оставила — все вроде хорошо, а противно. Мылся после чтения в ванной. Потянуло на это. И вдруг, откуда ни возьмись — трое голых, толстых мужчин на меня накнулись. И с тех пор, как только



мои гормоны шалить начинали — три толстяка уже меня ждали или в ванной, или в кровати. А иногда — прямо на уроке ко мне приходили и безобразничали. Еще хуже — в троллейбусе переполненном. Никто их, кроме меня, конечно, не видел. А я не только видел, но и чувствовал. Всем телом. До высшей точки они меня доводили за пять минут. Чертовщина? Еще и не то бывает. Мне в первые сорок дней после смерти такое показали. Глубины сатанинские.

Влюбленность в то время была для меня чем-то перистым, небесным. Доступная мне эротика проходила как бы в нижнем этаже жизни. И я понятия не имел, как перистые облака юношеской влюбленности совместить с тремя толстяками.

Любимый мой на меня и не смотрел. Даже поговорить с ним не удавалось. В сальных разговорах наших одноклассников он не участвовал. От контакта обычно уходил. Или элегантно или подчеркнуто грубо, но грубость его меня не оскорбляла. Потому что мне все в нем нравилось.

Один раз, на перемене, я спросил его, что он думает о смысле жизни.

— Знаете, Миша, — ответил он кисло улыбаясь. — Такие вопросы только такие люди как вы задают. Которые не живут. Не умеют. Идите вы в задницу. И пойте при этом патриотические песни!

— «По долинам и по взгорьям»?

— Можно, но лучше «Главное, ребята, сердцем не стареть»...

Повернулся и ушел от меня. Я закусил губу.

Однажды, шли мы все в автошколу. У Сальского, по видимому, было хорошее настроение, поэтому он позволил мне идти с ним рядом.

Я робко спросил:

— Армен, ты куда после окончания школы поступать собираешься?

— Вы, товарищ Сироткин не мой папа, не мой мама... Поэтому, останемся на вы. На мехмат собираюсь.

— Математиком хотите стать?

— Не знаю. Мехмат я выбрал не из-за того, что там есть, а из-за того, чего там нет.

— Как это?

— Объясняю для малограмотных. Идеологии там не много. 24-го съезда и прочего дерьма...

— Напрасно надеетесь. У меня там двоюродный брат учится, так его научным коммунизмом так заели, что он в Кащенко отлеживался, и от армии его только белый билет спас.

Это я наврал для значительности. Не было у меня двоюродного брата-мехматянина.

— С чем его и поздравляю...

— А что вас кроме математики интересует?

— Марсель Пруст и Герман Мелвилл, Генри Дэвид Торо и Джойс, Сартр, Кафка и Хлебников, Гойя и Рембрандт, Делакруа и Поль Гоген, Майоль и Эдвард Мунк, хватит с вас?

— Мне эти имена не известны. У нас книг не много дома. Чехов стоит и Гоголь.

— И это не дурственно, батенька.

— Еще есть, как его, Драйзер.

— Вот скучища-то. А «Саги о Форсайтах» у вас нет?

— Есть. И Анна Зегерс.

— Не продолжайте, а то у меня истерика начнется... Вы хоть в Пушкинском-то музее хоть раз были?

— Это где?

— На Луне. Да что я спрашиваю, не по Сеньке шапка.

Тут у меня от обиды слезы навернулись.

— Для малограмотных, не по Сеньке шапка — он меня за полного дурака принимает. Правда я и есть дурак. Дурак и невежа. Но если ты умный, ты меня научи, а не унижай. Мне тебя обнять хочется, в губы поцеловать, а ты меня презираешь. А музей я посету, дай только срок... И книги прочитаю, я в юношеском зале в Центральной библиотеке записан.

Насупился и замолчал.

Сальский вдруг заговорил.

— Я понимаю вас. Лучше, чем вы думаете, понимаю. Ваша жизнь мне ясна, как этот кленовый лист. Со всеми прожилочками. Ясны ваши желания и мечты. Знаю я, что ты хочешь, Миша Сироткин. Ты выше задницы не видишь ничего. Ты залупу мою сосать хочешь!

Он остановился, пристально посмотрел на меня и схватил руками за плечи. У меня от волнения чуть сердце не остановилось.

Сальский дрожал. Лицо его покраснело. Чувственные восточные губы сжались. Из черных глаз, казалось, вылетал огонь. Я с трудом выдавил из себя несколько слов.

— Да хочу, если ты... этого хочешь... и... я... люблю тебя.

Дальше произошло вот что.

Сальский нежно поцеловал меня, потом отошел, неожиданно подпрыгнул и повис в воздухе. И долго висел...

А затем — растворился, исчез. Я стоял, выпучив глаза. Сердце билось так часто, что я боялся, что оно разорвется. Ничего, прошло. Жизнь все время нас от нас самих уносит. Спасает.

...

В автошколе остальные, обогнавшие нас ученики, уже сидели на местах, и старый неопрятный учитель Александр Павлович Носиков объяснял, как работает двигатель внутреннего сгорания.

— Жиклеры нельзя прочищать проволокой, иглами и другими металлическими предметами, — предупреждал учитель. — Заостренной спичкой можно, а еще лучше — продувать...

Внезапно до меня дошло — Сальский тут, сидит за два человека от меня, даже в тетрадку что-то пишет. Как же он сюда попал? Неужели прилетел? Посмотрел на него. Он ответил вежливым спокойным взглядом.

— Сердце карбюратора трубка Вентури, — интимничал Носиков. — В центре трубки заслонка. А ты, Сиротин, почему не пишешь? Шибко ученый, да?

— Я — Сироткин, а не Сиротин.

— Не умничай! Сироткин... Заслонка регулирует подачу бензиново-воздушной смеси в камеру... В какую камеру, Сиротин?

— Сгорания, только я — Сироткин.

— Сирота ты казанская, Сиротин. Не лови ворон, а записывай. Мечтатели тут, понимаешь...

В следующий раз мне удалось поговорить с Арменом только через несколько лет. Оба мы были уже студентами. Я

провалился на физфак, зато поступил в МАИ. Сальский учился, как и хотел, на мехмате МГУ. К тому времени я уже побывал в Пушкинском. И не раз. Полюбил и изучил старую голландскую и немецкую живопись. Прочитал и Сартра и Торо даже Марселя Пруста в переводе Любимова. Выходили тогда тома. Вначале было тяжело. Потом стало непонятно, как можно было жить без этих книг...

Встретились мы случайно. В метро. На Октябрьской радиальной. Внизу. Чуть лбами не столкнулись. Я по его глазам сразу понял, что он меня узнал. Что он не уйдет.

Попытался быть развязным.

— Ха, привет, Сальский.

— Привет.

— Ты что тут забыл?

— По делам, по делишкам. А ты?

— Я тоже... краски тут наверху покупал... в магазине для художников.

— Малюешь?

— Немножко. Пробую. Ты меня тогда с музеем пристыдил. Теперь часто там бываю. Ну и сам начал... потихоньку... рисовать. Даже поучился немного. У старых мастеров... На Масловке...

— Это в доме, где одни ателье? Знаем, знаем... Выставлять пытался?

— Где уж, я ведь не член Союза.

— В «павильоне пчеловодства» был?

— Это зачем?

— Выставка там была, неконформисты свои работы показывали. Рабин, Целков...

— Даже не знал, что такое у нас возможно.

— У нас ой как многое возможно... Эх ты, сирота убогая!

— Ты опять за свое... слушай, а ты почему тогда убежал... или улетел... помнишь... по дороге... про трубку Вентури Носиков еще долдонил.

— Все я помню, у меня как у гэбистов, никто не забыт, ничто не забыто.

— Ну тогда... ответь... мои чувства прежними остались.

Как я это смог произнести — не знаю. Язык сам говорил. Три толстяка пробежали где-то на периферии зрительного

поля... красная трубка Вентури, похожая на граммофонную трубу, продудела мне прямо в ухо как живая труба в мультфильме какой-то отвратительный сигнал. Передо мной вспыхнули вдруг два глаза дьявола... я попытался закрыть глаза руками, пытался сказать что-то, но не мог, затем упал, провалился во тьму.

Когда пришел в себя, мы сидели на деревянной скамейке. Там же, в метро. Сальский поддерживал меня и несильно бил пальцами по щекам.

— Очнись, очнись скорее, Миша Сироткин. Твой час еще не пришел.

— А... что случилось?

— Ничего особенного, все хорошо, — сказал Сальский. — Все замечательно, только ты чуть под поезд не попал... Я тебя от края платформы оттащил.

— Спасибо.

— Потом ты все про каких-то трех толстяков бормотал. Это что за чепуха?

— Меня с отрочества фантазия мучает — три толстяка ко мне приходят.

— Да ты брат, с воображением. Я думал такое только автору может привидеться. Служебные демоны писателей любят. За твоим Олешей, думаю, целая свита носится. Но, чтобы на читателя перешли? Да еще на сироту... А как ты вообще живешь?

— Живу до сих пор вдвоем с матерью. Привести домой никого не могу. Вру матери про встречи с девушками. К Большому ехать боюсь...

— Понятно, понятно. Правильно делаешь, что к Большому не едешь. Там одни хмыри. Знаешь, мне одна идея к голову пришла. Тут... завтра у одних знакомых вечер будет. Особенный. Там будут только такие как ты и я. Понимаешь? Хочешь со мной пойти?

— Да.

— Тогда вот что. Я тебе сейчас запишу на бумажке мой номер телефона. Позвони завтра вечером, в шесть. Договоримся.

Борис вручил мне записочку и ушел. Я посидел немного и тоже пошел. На пересадку.

Весь день делать ничего не мог, только думал, думал и гадал. Волновался. Неужели эта, в уголовном кодексе не забытая сторона моей жизни, имеет право на существование? И как просто он это сказал — такие как ты и я. Это же посвящение в рыцари.

Ночью почти не спал. Три толстяка все время рядом были. Смеялись и рожи мне строили.

На следующий день в шесть звоню Армену.

— Выходи из дома в полночь. Иди к Спортивной. Оттуда на Кировскую. Я тебя у памятника буду ждать.

Матери я сказал, что с девушкой на свидание иду. Показала головой.

— В полночь?

И замолчала. Мать меня не понимает, но жалеет. Нет у меня сил все ей рассказывать, объяснять. Выяснять отношения... Сунула мне в карман трешку. Добрая.

До Спортивной шел не торопясь, наслаждался. Московская бурая ночь, прохожих не видно. Пространство гудит. Разговаривал со знакомыми с детства домами. Просил их меня поддержать. Говорил и с Метромостом. Его огромная асфальтовая спина всегда влекла меня своей укатанной протяженностью, скоростным захватом. Это не мост, а Моби Дик.

На освещенный шпиль университета посмотрел косо. Не взяли и опозорили. Ладно, вперед...

На Кировской у бюста никого не было. Постоял, подумал. Вдруг кто-то черными перчатками закрыл мне глаза. Шутка эта мне всегда не нравилась. Не потому что угадывать надо, а потому что в Москве можно и ножик в почки получить — просто так, без повода.

— Армен?

— Нет, бармен, — плоско сострил Сальский. — И коктейль уже нас ждет и виноград.

Мы вышли из метро. Один переулок, другой, церковь мне неизвестная, тупичок. Теперь сквозь арочку. Во двор, еще один проход. А вот и подъезд. Второй этаж. Позвонили. Открыл нам голый молодой человек в маске. У меня сразу дыхание сперло. Так хорошо он был сложен. Да и нагого тела я давно не видел. Он сказал что-то Армену то

ли по-грузински, то ли по-армянски. Тот ответил. Говоря, жестикулировал. Показывал на меня, судя по тону — оправдывался.

Мы вошли в большую прихожую. Там пахло странно. Томительно как-то. Сняли пальто, шапки и ботинки. В квартире было тепло. Откуда-то доносилась мелодичная, незнакомая мне струнная музыка.

Сальский сказал: «Пойдем на кухню».

Взял меня за локоть и повел. Я потерялся. Воля моя ослабела. Не от страха. От новизны ситуации. Инстинкт говорил мне: «Будешь дергаться — пропадешь. Плыви по течению. Оно тебя сильнее. Может и вынесет».

В кухне Сальский достал из внутреннего кармана пиджака пакетик с одноразовым шприцом. В шприце была бардовая жидкость. Жестом попросил меня обнажить бедро. Сделал мне укол. Потом достал второй пакетик, уколол и себя. Я молчал, хотя уколов не выношу. После этого он повел меня в ванную. Сказал: «Раздевайся».

Я разделся.

— Все снимай!

Я повиновался. Он тоже разделся. Оказалось, Армен весь, от плечей до пяток зарос черными курчавыми волосами. Я посмотрел на его член. Ах черт, в два раза длиннее моего. Ладно, что есть, то есть. Мы оба влезли в ванную. Начали мыться. Я ткнулся губами ему в плечо, положил руку на его бедро. Он мою руку с бедра убрал и сказал:

— Сейчас не до этого. Другим тоже помыться надо.

После мытья обтерлись чистыми махровыми полотенцами. Вышли из ванной. Армен подал мне полумаску на резинке. И сам надел. Кроме масок на нас ничего не было. Одежду, часы и обувь он аккуратно вложил в наши свернутые пальто. Мы вошли в комнату, из которой музыка доносилась.

В комнате этой квадратной никакой мебели не было кроме длинного узкого и низкого стола с бутылками, фужерами и виноградом. Окна закрывали плотные темно-бежевые шторы. На полу лежал тяжелый красный ковер с геометрическим рисунком. На ковре сидели и лежали голые мужчины в масках. Всех возрастов. Детей не было. В

углу сидел по-турецки одетый в пеструю шелковую рубашку — индус и играл на огромной черной балалайке. Другой бил ладонями в маленький барабан. Армен прошептал мне на ухо:

— Это ситар. На нем исполняют рагу. Медитацию на заход Солнца.

Вот откуда музыка! Тихая, но экстатическая. Мягкие, ласкающие слух струнные переливы сменялись властными ритмическими ударами...

В воздухе витал синеватый дым от кальяна, который передавали из рук в руки. Освещалась комната крохотными лампочками на стенах — это были три или четыре новогодние гирлянды. Такое освещение напоминало о елке, цветных стеклянных игрушках, о раскрашенном снеге.

Мы сели на ковер.

Армен сказал тихо: Сядь удобно. Расслабься. Дым из кальяна вдыхай только один раз. Постарайся не кашлять. Сейчас укол начнет действовать. Не бойся. Ничего плохого тебе тут никто не сделает. Если дурно станет, скажи мне. Или уходи. На улице отойдешь. Одежда в прихожей.

Передали мне кальян. Я вдохнул. А выдохнуть не смог. Чуть не задохнулся. Но сдержал себя, не закашлялся.

Перед глазами у меня все постепенно стало густо лиловым. Как будто я в аквариуме с лиловой водой. Плаваю в глубине среди вьющихся водорослей. Сильный как атлант. Незнакомое мне блаженство переполнило душу и зажгло во мне любовное пламя.

Я загорелся как бенгальский огонь. Мои руки стали искать тело моего друга...

Вокруг меня была ухоженная, манящая мужская плоть. Мои губы искали то, что можно было втянуть в рот, облизать, чем можно было насладиться.

Через мое тело потек поток радости. Он втекал в меня сзади и вытекал через рот. И я сам тоже был потоком. Я втекал в чужую плоть и искал там наслаждение. Золотые пульсирующие кольца счастья разворачивались в раскручивающуюся спираль... Спираль бешено крутилась и разрывалась на тысячи светлых капелек.



Не знаю, сколько времени продолжалось блаженство. Помню, заснул рядом с Сальским. Проснулся я от острой боли. Кто-то наступил сапогом на мой живот. Потом слышал крики:

— Что, пидарасы, разнежились? Черножопые козлы!

Кричали милиционеры и дружинники. Били наотмашь лежащих голых людей черными резиновыми дубинками. Топтали ногами.

Я попытался встать. Ко мне тут же подлетела темная фигура.

— Лежать, черножопая гадина. Лежать, кому сказали!

Я увидел над собой потное, тупое, искореженное от бешенства лицо милиционера. Он ударил меня дубинкой по голове. Мой череп раскололся на куски. Я умер.

Теперь вот по музею летаю.

Могу рыбкой стать... Могу птичкой...

...

Так закончил Миша Сироткин свою историю. Не только врачи и сестры, но и все остальные пациенты в палате пытались убедить его в том, что он жив. Что он не в музее, а в больнице. Но он никого не слушал. Даже свою мать. Она к нему каждый день приходила. Гладила его по забинтованной голове. Кормила ложечкой. А Сироткин все пытался встать. Картины хотел ей показывать. На ее вопросы не отвечал. Почему он со мной разговорился — не знаю.

## МОЯ РУССКАЯ БАБУШКА

Бабушка Тоня родилась в подмосковной деревне Таганово под Вереей в 1911 году. Ее первое сознательное воспоминание — революция. Точнее — отсутствие оной. Ничего в их деревне не изменилось, только помещица или по-старому барыня, хозяйка роскошной усадьбы, уехала за границу. Поручила кому-то присматривать за хозяйством. Но в 1918 году деревенские мужики усадьбу все-таки разграбили и сожгли. У соседа, дяди Семена долго еще в конюшне стоял белый рояль без клавиш — из него кормили овсом лошадей. Дядя Семен был позже, во время недолгой немецкой оккупации деревни, старостой — за что его расстреляли свои, как только немцев прогнали.

Потом в деревню приехали латышские стрелки. Оказалось — деревня должна была поставлять в город хлеб, но не поставила. Латышские стрелки несколько человек застрелили, выпоролы каждого десятого мужика, а старенького попа вытащили прямо во время службы из деревенской церкви и, вдоволь над ним поиздевавшись, на глазах у всех, зарубили пашкой. Мужики смеялись, бабы плакали. После отъезда стрелков деревенские сами, без приказов или науськиваний со стороны властей, сожгли церковь, в которой были крещены, в которой крестили своих детей. Иконы разворовали или сожгли. Русский мужик всегда на стороне сильного.

В 1928 году Антонину выдали замуж. За рыжего Кольку, моего деда. Он был по матери турок, по отцу русский. Мать его была дочерью пленного турка и турчанки, приехавшей к нему с родины. В 1931 году арестовали отца бабушки, Николай Михайловича, бывшего стольпинского хуторянина. Весной, летом и осенью Николай Михайлович работал на хуторе, а зимой ездил не заработки в город — рисовал куклам глазки, носики и губки. Арестовали его за то, что кулак. За то, что был работающий и непьющий, имел двух лошадей, че-

тыре коровы, мог прожить без колхоза. Позже он рассказывал, что их, подмосковных кулаков, держали в тюрьме по сто человек в маленькой камере, не давали пить, спать, не разрешали ходить по нужде, били. Ему дали сравнительно короткий срок — пять лет. После выхода из заключения он был повторно арестован и домой уже не вернулся. Был расстрелян в 1937 году во время Великого террора. Через год после этого умерла от горя его жена, мать бабушки, Ольга.

Арестовали и отца деда Коли — Алешу, он был простоват, из бедноты. Бабушка говорила — пил и гулял. Его против воли выбрали в председатели колхоза, а потом посадили в подвал за недостачу. Там он и умер. Он клялся и божился, что денег колхозных не пропивал — ему не поверили. 75-летнего Николая Никоновича, отца Алеши (моего прапрадеда), расстреляли — за сына в том же 1937 году. Расправа была тогда коротка.

Все мои предки по русской линии были простыми крестьянами. Почти все они были убиты лицемерной и жестокой властью, поставившей себе якобы целью, освободить труженика от цепей капитала.

Бабушка Тоня и дед Коля переехали в Москву. Бабушка пошла на фабрику работать — швеей. Дед устроился где-то на радио. Дали им маленькую комнатку в огромной коммунальной квартире в районе Новых Домов на шоссе Энтузиастов. В 1932 году родилась моя мама, пятью годами позже мой дядя Слава. Через год после рождения второго ребенка дед ушел из семьи. Бабушка осталась одна с двумя детьми. Мама обвиняла позже бабушку в этом конфликте, говорила, что у нее очень твердый и жестокий характер. Я это не могу подтвердить — со мной бабушка Тоня всегда была ласкова.

Деда Колю посадили в том же 1937-м по 58-й статье. Из лагеря он вышел только через семнадцать лет. Умер он в семидесятых годах, в больнице. По маминим словам — от страха перед предстоящей операцией. Я деда никогда не видел, только замечал в себе некоторые черты характера, которые унаследовал от него (панический страх перед больницей, перед неумолимыми врачами, злодеями и невеждами, перед запахами, лампами и инструментами операционной).

Началась война. У бабушки открылся туберкулез.

В страшный для москвичей ноябрь 1941 года, в панику, бабушка попыталась уехать из Москвы на беженском эшелоне. Несмотря на огромные кресты на вагонах, немцы эшелон разбомбили. В суете и ужасе бомбежки бабушка потеряла маленького Славика. Искала его позже по детдомам. Нашла только в самом конце войны. Он был худой как скелет и не говорил. Из разбомбленного поезда бабушка вернулась с дочерью в Москву.

Работала она в это время в цеху, производящем варежки с отделением для указательного пальца — чтобы можно было стрелять. Туберкулез развивался быстро. Бабушка вынуждена была лечь в больницу. Когда из нее вышла, то узнала, что они с дочерью стали бездомными. Как неработоспособную, ее уволили с фабрики, в их комнату вселили других людей. Моя мать жила у сердобольных соседей. Бабушка не отчаялась, а добилась приема у главного прокурора СССР. Он пожалел плачущую больную женщину. Комнату бабушке вернули. На работе восстановили.

Чтобы купить стрептомицин для лечения туберкулеза, продали все, что было мало мальски ценного в семье. Туберкулез отступил. Тогда же в войну бабушка начала курить. Папиросы Север.

После войны, как впрочем и всю последующую жизнь, главной заботой бабушки был сын Славик. Он плохо учился, дрался, выпивал.

У бабушки был сожитель, шофер — Иван Кузьмич. Это был маленький, по словам мамы, в трезвом виде добрейший человек и настоящий зверь когда был пьян. Садист. Бабушку Тоню и Славика он избивал. Когда мама была мной беременна он разозлился на что-то и бросил в нее чайник с кипящей водой. Маме обварило руку. Кузьмич хотел попасть в лицо. Еще раньше, во время войны повел двенадцатилетнюю Тамару на передвижную выставку фашистских зверств. Мама долго не могла после этого спать. И когда я говорю ей, чтобы ее утешить — не беспокойся, современные немцы это уже не те люди, что были во время войны, она отвечает:

— Не верю. Я видела, что они с нами делали. Это вообще не люди.

Почему бабушка терпела Ивана Кузьмича? Мама говорила — загадка русской души. Хотя сама отлично знала правильный ответ — русская женщина жалеет мужчину. И терпит, терпит, терпит. В этой жалости есть и изрядная доля любви, прямой, телесной.

Жили мы на восточной окраине Ялты, недалеко от Масандровского парка. Ходили в центр города на базар. Там были рыбные ряды. Бабушка покупала рыбу всегда у одного и того же продавца — маленького, пропахшего рыбой горбуна. Она его жалела. Увидев бабушку, горбун светлел и хорошо, даже становился выше. Говорил с бабушкой очень вежливо и спокойно. Я бы даже сказал — галантно, если так можно характеризовать говор на суржике, смеси неграмотного русского с испорченным украинским. Если рыбника не было на базаре, мы рыбу вообще не покупали. Рыбу он продавал всегда какую-то плохую, вонючую, маленькую и невкусную. Чем-то напоминающую его самого.

Каково же было мое удивление, когда однажды во время обязательного для меня послеобеденного сна, я проснулся не вовремя и застучал полуголую бабушку на ее кровати с рыбником. Мне было семь или восемь лет и я, конечно, ничего не понял. Понял только, что жизнь даже самых обыкновенных людей — загадка, тайна.

После того, как мама ушла в новую семью, в комнате коммунальной квартиры остались взрослеющий Славик и бабушка Тоня. Из этой семиметровой комнаты его призвали в армию. Он пошел на флот. Тогда служба во флоте продолжалась пять лет. Служил Славик на атомной подводной лодке. Вернулся из армии лысый. На гражданке начал пить и повторять подвиги Кузьмича, которого в ту пору уже не было в комнате — не знаю, или бабушка нашла силы с ним расстаться или он сам ушел — к другой бабе.

Баша женился и привел все в ту же комнату жену Галину, худенькую провинциальную девушку с гнилыми зубами. Новой семье (вместе с бабушкой) было позволено, освободив семиметровую, занять освободившуюся за смертью соседки — большую комнату в восемнадцать квадратных метров в той же коммуналке. В этой же комнате жили потом и два сына Славы и Галины — Сашка и Сережка.

Брак был некрепкий и быстро развалился. Славик бешено ревновал Галину. Звал ее в лицо — «смерть» (смерть, пойдя сюда). Пил вместе с ней и бил ее. Бил детей и бабушку. Бабушка его жалела, все ему прощала, на Галину злилась, а внуков жалела вдвойне, все им жертвовала, что только могла, заботилась о них. Галина, не выдержав семейного ада, убежала из дома. Славик искал ее долго. Но не нашел. Была она крайне легкомысленна. Все время покупала и грызла шоколад. Если были деньги, конечно. Следы Галины теряются на Кавказе, где она хотела подработать как проститутка. Там ее, по-видимому, и убили.

Дядя Слава женился еще шесть или семь раз. Пил с женами и бил их. Они его жалели. Иногда, только до поры до времени. А потом все-таки вызывали милицию. Последнюю жену он звал «лошадиной мордой» и бил не только ее, но и ее слабоумную дочь от первого брака, страдающую синдромом Дауна. Помнится, после свадьбы 58-летний жених, крепившийся и не выпивший до сих пор ни капли спиртного, выпил с 65-летней невестой две бутылки водки, приревновал ее к какому-то гостю, изорвал в клочки их паспорта и свидетельство о браке, выбросил их на улицу из окна десятого этажа и набросился на жену, крича так громко, что соседи милицию вызвали:

— Сейчас я убью тебя и твою идиотку!

Лошадиная морда была еще очень крепкая женщина. Кулачное побоище после свадьбы не окончилось для Славика благополучно. Милицию в дом не пустили.

— У нас все в порядке! — сказала лошадиная морда через дверь милиционеру.

Жизнь бабушки в первой семье сына была трудной и унижительной. Единственное ее желание было — получить отдельную квартиру. На пятьдесят пятом году жизни она впервые въехала в свой дом — в однокомнатную кооперативную квартиру в новом блочном доме на улице Волгина. Достать квартиру помог мой дед. Огромная лоджия квартиры смотрела на лес перед университетом Патриса Лумумбы.

В этой квартире бабушка Тоня прожила тридцать два относительно счастливых года. В ней же она была убита. Обстоятельства ее смерти до конца не выяснены. Роковую роль

сыграли деньги, которые ей присылал мой отчим Ш.. Бабушка не тратила деньги на фрукты и здоровье, как было задумано, а копила, чтобы потом отдать внукам или сыну. Она по-прежнему жалела уже давно ставших взрослыми дядями Сашку и Сережку и все прощала пьющему, непутевому и агрессивному 61-летнему сыну.

Не знаю, как и почему, но Славик решил, что бабушка отдала кому-то накопленные деньги. Поехал к ней разбираться. Привез с собой или получил от бабушки бутылку водки. Выпил и впал в ярость. Что было дальше — неизвестно.

Соседка бабушки услышала вечером того дня, что кто-то ходит по лестничной клетке и повторяет:

— Я убил свою мать... Я убил свою мать...

Вышла, увидела Славу. Спустилась на третий этаж. Дверь в бабушкину квартиру была открыта. Соседка вошла — и увидела мертвую бабушку, лежащую в луже крови. Лицо мертвой выглядело так, как будто кто-то долго топтал его ногами. Соседка тут же поднялась к себе и вызвала милицию. А Славик все ходил по коридорам и повторял:

— Я убил свою мать!

Милиция приехала и тут же его арестовала. Все было ясно.

Лошадиная морда подкупила следствие, дала следователю тысячу долларов. Славика не осудили, а посадили в дурдом, из которого он благополучно вышел через три года.

Так закончилась жизнь моей бабули. Ее убил собственный сын из-за денег, которые она для него же и копила. Затоптал ногами лежащую в собственной крови 87-летнюю мать.

Бабушка говорила часто:

— Да простит нам всем Царица небесная!

## КУПАЛА

Накануне мне приснился сон. Будто я среди домов... плаваю. В потустороннем городе. Улиц и тротуаров там нет, везде вода. Нет ни людей, ни деревьев. Только огромные прямоугольные дома стоят в воде. Вода белая, тяжелая. А у домов — темные стены. Будто из самой тьмы спрессованные.

Или это сатанинские ульи? И из них вылетают гигантские пчелы, собирающие в преисподней трупный яд?

— Куда ты плывешь? Зачем? — спрашиваю себя во сне.

И сам себе отвечаю: «Я плыву к башне. Мне надо плыть. Плыть...»

Выбрасываю руки вперед. Гребу. Гребу.

Белая вода расходится передо мной двумя волнами. Странная вода. Не пенится. Молоко небытия.

За домами показалась коническая башня. Вот громадина! До неба. Сквозь маленькие узкие окна видны отблески света. Подплываю к величественным воротам. Вплываю внутрь. Изнутри башня похожа на гигантский шатер на воде. Посередине — песчаный островок. На нем костер. Пламя желтое, высокое. Рядом с костром лежит мертвец.

Выхожу из воды. Подхожу к телу. Это мертвый мужчина. Утопленник. Тело распухшее. Борода всклокоченная. Водянисто-синие глаза открыты. Кладу руку на его холодный лоб, чтобы закрыть глаза, но тут что-то вздымается, подхватывает меня под мышки и бросает через костер. Я падаю, встаю и снова, подчиняясь неведомой мне силе, прыгаю через костер. Прыгаю легко. Высоко. Ах, здорово! И еще раз. И еще. И все быстрее, быстрее. Всю ночь я прыгал, а утопленник смотрел на меня своими мертвыми водянисто-синими глазами.

Проснулся. Комната залита светом. Полдесятого утра. Июль. Суббота. Знойный день.



В квартире пусто. Жена и дочка в Крым уехали. На работу идти только в понедельник. Свобода.

Одно мучает — кто же был этот мертвый человек в башне? Глаза проклятые все время в голову лезут. Где-то я его видел. Лицо знакомое. Может, у Редона? Тоже мне, проблеме нашел.

Завтракать! Чайку заварить. Хлеба белого два куска. И творожная паста с изюмом. Дочка есть не стала. Папе оставила. Роскошный стол. Поел. Выпил чаю.

Подошел к окну, широко открыл рот, чтобы Солнце проглотить. И замычал, как в детстве у врача: «Ааааа!»

Настроение было странное. Хотелось такое сотворить, чтобы чертям тошно стало. Хотя в коленях и бедрах чувствовалась усталость, как будто я действительно ночью через костер прыгал. Откуда это?

Ну я и сотворил. Никуда не поехал, ничего делать не стал. Развалился на нашей широкой софе. Стал рассматривать собственные картины.

Обнаружил, что и ангелы, и христы на моих досках напоминают утопленников. Нет на них и следа благодати. Не зря мне мертвец приснился!

Взял в руки телефонную книгу. Полистал.

Позвонить что ли кому?

Кому звонить? Родным? Начнут нудить. Другим? Надоели. Сама собой пришла в голову шальная мысль — позвоню Милке. Она не друг, не враг, не любовница. Так, всего понемножку. Набрал номер.

Милка, ты? Это Димыч. Что, какой. Ясно какой, тот самый. Что? Почему пошел...? Я и так там. Где? Понятно где. Лето, Солнышко светит. А мне утопленник приснился. Что? Почему психанутый? Я в полных силах, физических и духовных. Что? Почему тебе наплевать? Почему убежал? Не убежал, а просто уехал, меня дома жена и дети ждали. Что? Почему, не пизди. Я не пизжу. Что? Скотина неблагодарная? За что мне тебя благодарить? Спасибо, что ты нажралась и меня продинамила. Что? Я сам динамо? Ты что, не хочешь меня видеть? Так и скажи. Динамо...

И все-таки Милка согласилась на встречу. У нее. Просила купить вина и поесть. В восемь вечера.

Пошел в универсам. Взял две бутылки молдавского розового и Кагор. Повезло. В те времена в винных отделах не было недельки спиртного. Некоторые научные сотрудники нашего института перешли на самообслуживание — гнали первач скороварками. А рабочие пили вообще все, что горит. Жевали зубную пасту. В глаза закапывали Тройной одеколон.

И сыр взял. Голландский. Полкило. Еще батон белого. С Кагором самый раз. Хотел купить масло. Нету. Взял кусок колбасы. По два двадцать. Другой нет. Пришел домой. Принял душ. Почитал. Помечтал.

К вечеру поехал. Старался на окружающее не смотреть. Ясневские улицы были в последние перестроечные годы на удивление грязными. Мой коллега математик Портнягин шутил:

— Хаос начал завоевывать социалистически переопределенные пространства. За что когда-нибудь ответит перед пролетарским судом. Из него извлекут квадратный корень.

Метро. Люди в вагонах потные. Душно. У половины — студенистые оторопелые рожи. Как будто в коме. Полчаса до центра. Пересадка. И еще четверть часа на восток. Автобус. Бензином воняет. Приехал. Где я? Где-то недалеко от шоссе Энтузиастов. Улица Электродная. От такого названия током бьет. Какие-то склады. Мерзкие места.

Понятно, почему Милка уехать хочет. Жить тут страшно. Похуже моего сна. Дома старые, архитектуры никакой. Люмпена с жуткими харями бродят. Мой мертвец тут бы никого не испугал. Сказали бы ему:

— Ну че, мужик, вставай! И уматывай отсюда, пока цел.

Милкин дом. Тоже не Корбюзье. Сталинская четырёхэтажка. Обшарпанный дом. Бурый. В подъезде мокро, темно, воняет гнильем. Третий этаж. Квартира 68. Вот дверь.

Позвонил. Раз. Второй. В третий раз звонил минуты три. Ну, черт! Нельзя с бабами ни о чем договариваться. Или спит или уехала куда. Из мести. За то, что в последний раз оставил ее одну у знакомых. Так ведь она пьяная была. И злая как пес.

Позвонил еще раз для контроля. Хотел было уже повернуть оглобли. Слышу — шаги за дверью. Открывает.

— Привет! Не входи, я голая, из ванной. Через минуту заходи. Проходи в комнату где кресла, Там подожди. Я домоюсь и выйду.

И дверь прикрыла.

Подождал минуту. Вошел в квартиру. Осмотрелся. Даже не очень грязно. В гостиной — мебель из остатков родительского гарнитура. Книжные полки. Кресла большие. Удобные. Столик полированный. На столике рюмки. Пепельница. Пачка Столичных. Газеты. Огонек. Шторы шоколадные, в квадратик. Уютно, только окурками пахнет.

Из ванны Милка вышла минут через пять. Маленькая женщина. Но грудь большая. Еврейка. Толстенная. Некрасивая. Но глаза с искоркой. Вульгарна и самоуверенна как дьявол. Осторожно надо с ней. Липучая. И уж очень цинична.

Вышла Милка в махровом халате на голое тело. Меня сразу обожгло. Я подошел к ней, обнял, поцеловал в щеку, хотел залезть пальцами под халат. Этого она не позволила, приказала:

— Бутерброды сделай! На кухне.

И ушла в спальню. Вернулась переодетая и причесанная. Забралась в кресло с ногами. Закурила.

Я разлил вино. Провозгласил банально: «За встречу!»

Мы выпили. Я спокойно. Милка трепетно. Видимо, проголодалась.

Протянул: «Давнееенко не виделась. Ну, как оно?»

— Как, как. Уезжать надо, пока щель в Совке не замуровали!

— И куда ты хочешь ехать?

— Чего куда? Выбор что ли есть. На юг.

— А в Штаты?

— Сам знаешь, туда не ходят поезда. Гаранты нужны какие-то. У меня там никого. Поеду на юг.

— И что ты там делать будешь?

— Не знаю. Главное из Совка выдраться. Хуже не будет. Рано или поздно тут все равно кровяница хлынет. Проектов у меня море. Например, открою бордель для бывших совковских баб. Ебарей найду крепких. Массажистов, артистов, певцов. Пусть поют, прыгают, массаж для похудения делают. А то все советские как свиньи жирные. Чтоб и культура была и здоровье, и удовольствие.

— Возьмешь меня ебарем?

— Димыч, лапочка (Милка выпила еще и явно подобрела), конечно возьму. Но не ебарем. Ты мне стены будешь расписывать, для особо богатых клиенток будешь сказки рассказывать и сны золотые навевать.

Вот паскуда!

— Кстати, мне сегодня такой странный сон приснился...

Рассказал ей сон. Еще и прилгнул для красоты. Открыл вторую бутылку. Мы добавили.

— А ты знаешь, что сегодня купальская ночь? Иван Купала, слышал? Вот тебе огонь и приснился. Через костер в Купалу прыгают. А мертвый — это ты и есть. Твой образ. И глаза синие. Это ты сам, дурашка.

От «дурашки» меня чуть не вырвало. Я обозлился. И возбудился. Мысленно сорвал с нее майку и впился ей в грудь как овод.

Милка продолжала:

— Ты своей рабской жизнью сам себя убил. Жену ты не любишь. Живешь с ней, потому что трусишь развода, трусишь искать свое... На работу в институт ходишь, хотя от науки тебя тошнит. Даже кандидатскую не защитил! Димыч, ты все просрал... жизнь, жену, науку. И меня.

Про жену она врала. Жену я любил. Но дела у нас не ладилась. Долго рассказывать. А про науку она точно сказала. И про жизнь тоже.

— Трус. Мертвый. Но все еще демон! — тут Милка кокетливо посмотрела на меня. «Кокетливо» для нее означало — презрительно. Губы сжала. Ноздри слегка раздула. Повела глазами.

Я встал, подошел к ней. Прошептал ей на ухо:

— Я тебя хочу. Пойдем в спальню.

Милка от меня мягко отстранилась и сказала твердо:

— Позже.

Налила себе полную рюмку розового. И жадно выпила.

— Да, ты себя убиваешь. Постоянно убиваешь. Спишь с женой. А она тебя не любит. На работу ходишь. И все — зазря. А картины пишешь хорошие. Только я их не понимаю. Ничего вообще не понимаю... Ну и дрянь это молдавское розовое... она купила розы, а он ушел к другой...

Икнула. Еще не перебрала, но уже вышла на глассаду. Скоро начнет блевать. Проходили. Вот черт. Знал же все заранее. Какого лешего ты сюда приперся? Только для того, чтобы ее за дебелие сиськи полапать? Дурак! Прекрасный июльский день испоганил.

Я предложил:

— Милка, ты хоть бутерброд съешь. А то надерешься, что я с тобой делать буду?

Милка ответила агрессивно:

— Ничего я тебе с собой делать не позволю. Ты трус. Утопленник! Ты в собственной моче утонул. Почему вы все такие трусы? Не мужчины, а дерьмо. Вот из-за таких как ты Совок и существует. И вас вечно будут дурить и обирать. Будут вас, как баранов, стричь. Если ты в своей семье трус и на работе трус и в постели тоже будешь трус и фуфло.

Я разозлился. Подумал:

— Срезать ей, что ли, по роже?

Но не ударил. Никого я никогда не бил. И бить не буду. Телом здоровый, а духом слабоват. Трус и фуфло.

Решил уйти. Встал решительно, прошел в прихожую, сандалии натянул и к выходу направился. Милка догнала меня, обняла, заглянула в глаза, и прижалась грудью к моему животу. Моментально другую роль разыграла. И как умело!

Прошептала: «Не уходи!»

Даже слезу пустила. Я растаял, конечно. И остался.

Милка ушла в ванну. Привела там себя в порядок. Вышла свежая и, как мне показалось, даже трезвая. Чудеса!

Опять сели в кресла. За разговорами допили вторую бутылку. Съели бутерброды. Я разлил Кагор. Кагор был сладенький.

— Я нигде за границей не был. Понятия не имею, как там люди живут. Хотел на третьем курсе в Болгарию съездить. Не пустили. Не прошел собеседования. Скоты. А Израиль для меня вообще белое пятно. Что там наши делают? Арабы вокруг. Когда-нибудь они Израиль прикроют. А нашим первым башки поотрезают. Секир башка, товарищи боре! Ну а что еще у тебя на уме? Кроме борделя.

— Подумываю о литературном журнале. Ты ведь знаешь, я пишу. И знакомых писак — пол Москвы.

— Все врёт! — подумал я. — Врёт и не краснеет. Про меня правду сказала — а про себя ересь плетет. Ничего она не пишет. Да и писать мы можем только о нашем советском дерьме. Кому это надо?

— Открою женский бордель имени Крупской. Буду издавать журнал «Моча дяди Мони» для интеллигентных совков.

— Мало ты этой сволочи здесь насмотрелась. Лучше открой коглетную имени Семнадцатого партсъезда для аборигенов! На руинах Второго Храма!

— Астраумный! У меня на юге уже половина друзей. Среди них настоящие люди есть. А не только болтуны. Зовут меня. А я все еще с приглашением не разобралась.

— Кому ты там нужна? Сама себе не ври.

— Пошел ты на хер...

— Я тебе уже по телефону сказал, что я уже там. На большом. И с пупырышками. Не знаю, что делать. Из института наверно уйду. Вот будет радость. Плюнуть в их верноподданные рожи и сказать. Прощайте, товарищи. Как я рад, что больше вас никогда не увижу! Надоели вы мне за десять лет принудиловки. Остопиздили!

— Не уйдешь, ты осторожный. А если коммуняки всю карусель назад раскрутят?

— Что-нибудь придумаем. А что, если весь твой Израиль — одна большая жопа? Будешь там сидеть на жарнице, без денег, без языка... Одинокая и пьяная... А там еще и секир башка...

Милка вдруг захныкала:

— Никому я не нужна, Димыч. Ни тут, ни там.

И опять слезу пустила.

— С матерью совсем контакт потеряла. Она как придет, начинает орать. Отец уже пять лет парализован. Тоже орет. Сын знать меня не желает. Живет где-то у друзей. Работать надоело. В нашей мастерской все носы подняли. Дерьмо чуют. Кое кто уже смотал. А начальник — под судом за спекуляцию драгметаллами. У меня руки стали дрожать. Мужа уже лет пять не видела.

— А он у тебя правда испанец?

— Да какой он в жопу испанец. Колумбиец. Есть такая задрипанная страна. Кроме кофе и наркоты там и нет ничего. Один раз побывала, больше не поеду. Бандиты, москиты, духота... Муж там пропал. Может убили...

— Ты не реви, все обойдется, он к тебе еще в гости придет, в Тель-Авив.

— Да пошел он!

— Милка, а ты чистая еврейка?

— Чище не бывает. И отец, и мать. Дед раввин. Отец обрезан.

— А мать коммунистка!

— И мать коммунистка. И отец. Очень по-еврейски. Надеюсь там поймут. Они там все леваки.

— Как ты думаешь, запрут Совок? Ведь если границу не закрыть, мы все рано или поздно двинем. Останутся только ленивые. Совдепия под откос пошла. Я по дороге столько грязищи видел. И люди все, как будто из дурдома вчера вышли. Хочется рвануть, но не знаю, куда. В Израиль боюсь. У меня мама русская. А евреев, когда сила на их стороне, я узнал на собственном опыте в лаборатории. Такими спесивыми гадами становятся. Хуже русских.

— Ну вот, евреев испугался. Ну кому какое дело до твоей мамы? Половинок берут.

— Я — человек русской культуры, в Христа верю. Православный.

— Ты только мне-то не рассказывай. Верю. Русский. Православный. Ты такой же православный как дядя Моня. Библии начитался. С попами наговорился. Голову себе сам заморочил. А попы твои — кагэбэшники! — милкин голос начал грубеть. В него назойливо лезли модуляции базарной бабы.

— Русской культуры ты человек? Да ты на все русское первый насрешь, когда возможность предоставится. И Христа продашь! Христианин хренов! Кому какое до тебя дело? Много о себе понимаешь. Не говори никому, ходи в церковь тихо. Их в Израиле больше чем здесь. Молись своему Христу. Не выебывайся! Ох уж эти мне совки. В Коммунистии — все врут, приспособляются. А как уедут — я хри-

стианин! Я еврей! Да говно вы все, а не христиане. Знаю я вас. Показушники. С евреями — вы евреи. С православными — православные. И везде лезете в первачи. Вот ты тут сидишь, со мной разговариваешь, а думаешь только о моей манде. Говно!

— Ты сама говно!

— Ладно, кончай пиздеть. Разливай Кагор.

Милка пошла в разнос.

Мы выпили. Кагору осталось на самом доньшке. Я взял бутылку в руки, стал в нее смотреть. Увидел голую Милку, купающуюся в вине. Милка в бутылке была маленькая и розовая.

Весь мир был розовым. И сладким. И никуда не надо было уезжать. Все было чудесно.

Ну вот, и я набрался. А ведь не хотел.

Милка встала и, качаясь, пошла в спальню. По дороге сбросила одежду. Залезла под одеяло. И закрыла глаза. Помнила она еще о том, что я тут?

Я медленно разделся. Прилег к ней. Хотел начать любовную игру. Но вместо этого тут же заснул. Мертвым пьяным сном.

И снится мне сон. Тот же самый, что и прошлой ночью. Плыву я опять в том же городе, в белой воде. Но на этот раз — вода легкая, ласковая и не вода это, а взбитые в ангельской кухне частички света. Белок дня. Благословение небес. Попробовал во сне ее на вкус — сладкая, как сгущенное молоко. И дома как будто стали оживать. Посветлели, поголубели и порозовели. Из фасетных стен вылетели не злые пчелы, а маленькие крылатые человечки. Эльфы. Кружились вокруг меня, садились на плечи. Щекотали и заигрывали. Вот и башня. Вся из цветного светящегося хитина. А внутри — лучезарность. Посередине, на островке, бьет фонтан живой воды. И вокруг него кольцами расходится волшебное сияние. Рядом с фонтаном стоит человек. Тот самый, утопленник. Но теперь он — живой. Тело светится. Препоясан. Борода белая, шелковистая. Зовет меня. Улыбается. Глазами синими сверкает как бриллиантами. Выхожу из воды. Подхожу к нему. Он обнимает меня. Целует. И вдруг подхватывает как ребенка и бросает в фонтан.



И повис я на вершине чудесных струй, как пинг-понговский мячик. Тело мое пронзили стрелы вечного света. И весь я стал прозрачный и легкий.

Проснулся я от храпа Милки.

Тело все еще горело. Но в него уже вливалась широкой струей смертность и тяжесть реальности. Полежал. Потянулся. Еле встал. Включил лампу. Старый лиловый будильник на тумбочке показывал три часа ночи. Скверное время. Я оделся и вышел. На улице — мрак. Метро еще не ходит. Непонятно, где тут такси искать.

Милкин дом походил на огромный черный бункер. Ни одно окно не светилось.

## СМЕРТЬ САШИ

Саша до шести лет не улыбался. Улыбнулся он первый раз, когда бабушка ему гостинец привезла — шоколадную медальку в золотой фольге и три мандарина. Ни того, ни другого он еще не видел. Мандарины — не знал, как есть, а к медальке приделал ниточку и повесил на гвоздик. Вскоре нитка порвалась, медалька закатилась куда-то. Саша заплакал. Его суровый отец изругал его хриплым голосом за слезы и поставил в угол. Мать его не пожалела, потому что умерла, когда Саше и трех лет не исполнилось. А бабушки дома не было.

Сашу еще в школе прозвали олухом. Был он длинный, нескладный, апатичный. Соображал туго. Учителя выводили ему тройки в четверти, потому что боялись, что он останется на второй год, и им придется и дальше с ним мучиться. После восьмого класса школы пошел Саша в ремеслуху, потом поступил в приборостроительный техникум. Учился там он тоже плохо, но до диплома кое-как дотащился. По специальности «автоматизация технологических процессов и производств» — никогда не работал.

Пошел в армию. Старослужащие начали было его унижать, как остальных новобранцев. Саша реагировал вяло. Бить его даже не пытались. Длинные жилистые руки Саши, огромные рабочие кулаки, костлявая неприятная фигура и туповатое лицо не располагали к битве. «Деды» окрестили Сашу «хмырем» и оставили в покое.

После армии он вышел, наконец, в жизнь. Без знаний и навыков. Без интересов, без стремления что-либо делать, что-то узнать, достичь. Это не помешало ему жить в советском обществе, скорее наоборот, помогло. Таких фатальных для многих людей его поколения общественных процессов и событий как начавшуюся в начале семидесятых эмиграцию, афганскую войну, разгром чекистами диссидентского дви-

жения, высылку Солженицына за границу, ссылку в Горький академика Сахарова, перестройку и даже развал СССР — он просто не заметил. Жил как живет. Пил, ел. Телевизор смотрел. Работал кладовщиком. Один раз в год ходил в Лужники, на футбол. Болел за Динамо.

Женился. Пожил у тещи. Развелся. Переехал в пустующую квартиру отца (отец жил у четвертой жены). Купил небольшой деревенский дом по Дмитровскому шоссе. Построил там баньку. Женился второй раз. Переехал к жене. Продал дом. Разобрал баньку. Опять развелся. Сошелся с Валею. С ней и жил до самой смерти. Детей не имел. Вечерами, дома, молчал. На работе общался только с бесконечными пыльными полками и ящиками. Никаких «любимцев» на складе у него не было. Он не любил ящики, полки и подъемники, не любил свою нудную работу, на дух не выносил сослуживцев, отмечающих конец рабочего дня обильными возлияниями. Тайных или явных пороков не имел. Не видел снов. Даже не курил.

В девяносто первом году склад передали частной фирме. Сашу уволили. В хаосе нового времени работу всем было трудно найти, а пассивному, ни на что не годному «олуху» невозможно. Наступило время «кручения» и «крутизны». Все начали крутиться. Многие стали крутыми.

Саша не был крутым. К кручению способен не был.

Опять купил деревенский дом. Далеко, во владимирской области. Подальше от бешено крутящейся Москвы. Начал строить баню. Развел огородик. Видимо, тянуло его на землю. Заплатил за избу триста долларов, оставшихся от продажи первого дома. Покупку оформили — «по завещанию». Продавать землю было, несмотря на новое время, запрещено. Государство Россия было круче своих граждан и привычно накладывало на все свою тяжелую лапу. «По завещанию» означало, что настоящая обладательница дома, бабка Дарья, живущая у дочери в городе, завещала Саше дом и позволила ему там жить, а земельный участок оставался собственностью все еще не расформированного совхоза «Ленинское знамя», на территории которого уже появился овощеводческий кооператив «Журавль», на котором работали непонятные азиатские люди, производящий помимо репы и морко-

ви фальшивые джинсы и духи «Ландыш». После Сашиной смерти бабка Дарья вернулась в проданный ею дом, а деньги зажилила. Валя их и не требовала.

В давно покинутой коренными жителями деревеньке осталось всего десять изб. Остальные дома сгнили без хозяев и развалились. Жили в целых избах летом дачники из Владимира. А зимой — никто не жил, кроме наезжающего сюда Саши и единственного постоянного жителя деревни — Трехглазого Никифора Петровича.

Трехглазый этот был личностью загадочной и неприятной. Шестьдесят лет. Вдовец. Бывший журналист-международник. Выгнанный еще в брежневские времена из центральной партийной газеты за пьянство и цинизм. И с тех пор разыгрывающий на людях различные роли. То он — хулиган, матерщинник, или, как он сам себя называл, «неуловимый мститель». В такие «красные» периоды Трехглазый катался по окрестностям на мотоцикле ИЖ с прицепом. Размахивал старым ружьем и страдал дачников из вырастающих то тут, то там дачных поселков:

— Уу, городское блядь, скоро мы вас всех спалим... убьем и закопаем! Буржуйские выродки... Понастроили дач, думаете спрячетесь в них от пролетарского гнева? Мироеды! Грабь награбленное, крестьянская косточка! Вставай, беднота! Дрожите, богатеи!

То, он — Франциск Ассизский. Вешал на шею громадный крест. Ходил в соломенной шляпе. Проповедовал воронам на окрестных полях. Говорил голосом диктора Левитана:

— Да здравствует 24 съезд и неуклонное повышение благосостояния народа! Мы говорим партия, подразумеваем Ленин! Ленин и сейчас живет всех живых! Всем срочно получить продовольственные талоны, в руки даем сосиски сальные — по четыреста грамм. Товарищи пернатые, объясните, как вы понимаете руководящую роль нашей партии и ее генерального секретаря, товарища Брежнева Израиля Моисеевича лично? Лично, бляди совхозные. Поняли?

— Ничего не понимают, расстрелять! — приказывал сам себе Трехглазый по-ленински картавя, и дупил по птицам дробью.

Разыгрывал и Толстого в Ясной Поляне. Отращивал бородищу, разгуливал по деревне босой в белой рубашке до земли. Демонстративно плакал, завидев зрителей, бил себя по щекам и кричал:

— Свободу Луису Корвалану, Анжеле Дэвис и угнетаемому мировым сионизмом палестинскому народу! Скажите мне, товарищи, когда же скинут режим Смита? Когда покончат с апартеидом? Кто свергнет диктатуру Черных Полковников? Кто уничтожит Чикагскую школу и оплот мирового империализма — Соединенные Штаты Америки? Послушайте, земляне, последнего великого писателя России! Покайтесь, ибо приблизилось царство Небесное. Раздайте деньги нищим и идите на хуй!

Потом плакать и бить себя по щекам прекращал, делал жуткое лицо и орал во всю глотку, до смерти пугая мирных владимирцев:

— Вива Хунта! Вива генерал Августо Пиночет! Но пасаран, бляди позорные!

Трехглазый пускал к себе жить бездомных. Болтали, что они потом «пропадали неизвестно куда». Летом, когда рядом жили любопытные дачники, Трехглазый обычно или уезжал, или устраивал свои представления, юродствовал. А зимой — принимал гостей. Саша замечал иногда каких-то оборванцев, вылезавших из мотоциклетного прицепа соседа, но в силу своего флегматического характера не фиксировал в уме посетителей Трехглазого. Не обращал внимания. И не думал о них.

Он вообще никогда ни о чем не думал. Не рефлексировал, не анализировал, не спорил сам с собой или с мнимыми противниками, не жаловался сам себе, не хвастался перед собой, не смаковал в душе приятные воспоминания, не пугал себя ужасиками. Саша был в плену текущего момента. Ему ничего было противопоставить давлению реальности. Прошлого и будущего для него не существовало. Не существовало ничего, кроме него самого и его непосредственного окружения.

Оставшись без работы, Саша начал выпивать. С Валея. С ее друзьями. Но чаще всего один в деревне. Сидел и пил, глядя в стену. На стене не было даже картинки. Изредка по ней ползали тараканы. Саша давил их руками.

С ним жили четыре собаки, одна другой глупее. Саша кормил их. Играл с ними. Когда одна из собак умерла, Саша

даже не расстроился. Потому что для него она как бы никогда и не существовала. Потрогать ее он мог, но прорваться мыслью в чужое бытие, ему, припиленному к самому себе, было невозможно. Для этого необходима была способность к восприятию, к абстрагированию, которой у него не было. Саша зарыл собаку в огороде и пошел дальше играть с другими псами. Налил им немножко водки в стакан. Собаки вылизали стакан, стали дурными. Бегали по двору. Натыкались на деревья. Падали, скулили, служили... Саша не смеялся. Что творилось в его душе?

Что творится в каждом из нас? Чем глубже человек погружается в себя самого, тем непонятнее, абсурднее становится для него его собственное — «я». Как при глубоком погружении в океане. Наверху — еще солнышко светит, лучи пронизывают голубую толщу воды. Рыбки цветные плавают, крабы ползают. А на глубине — тьма беспросветная и чудовища жуткие, уродливые, вроде бы миллионы лет назад вымершие. А совсем внизу — не Бог и не дьявол, а просто дно. На которое все, наигравшись, песком и пылью отлагаются. Чтобы потом окаменеть. Саша, этот мученик мгновенья, окаменел еще при жизни. Точнее — он так и не родился в жизнь. Его тело вышло из тела матери. А главная человеческая суть так и осталась в мире неживой материи. Не в матери, не в отце. В нигде. В плазме времени. В том, из чего образовался мир. В предвечной пустоте.

С Трехглазым Саша не водился. Даже не разговаривал. Только хмуро кивал ему при встрече. И Трехглазый к Саше не лез. Понимал, что этого хмыря не тронут его излияния. В день Шашиной смерти, однако, все было не так.

Это было зимой, в холода. Саша жил в деревне уже пятую неделю. Без телефона, без телевизора, без ванны. Намерзся. Заскучал, решил в Москву возвращаться.

Оставалась у него бутылка водки. Выпить хотелось, но нельзя же все время пить одному? Потянуло Сашу на людей. А где их взять? Против воли решил пойти к Трехглазому.

Дом соседа был недалеко, через дорогу. Саша надел старые вонючие черные валенки, оставшиеся от утонувшего в болоте мужа бабки Дарьи, деда Матвея. На плечи накинул его же старый ватник, на груди которого было грубо вышито

толстой белой ниткой «околей сука в Мордови», нахлобучил ушанку, взял бутылку и вышел их избы. Перешел дорогу. Постучал в дверь.

Дверь открылась. За ней никого не было. Сама что ли открылась? Саша вошел в сени, затем в горницу. Там было темно, старая керосиновая лампа стояла на столе. Светила слабо. Свет ее терялся в пространстве, а на грязных стенах совсем пропадал. Как будто в них впитывался.

Кроме стола с лампой, стульев, огромного комода и большой двухспальной металлической кровати в комнате и не было ничего. Вдруг Саша услышал голос: «Сашка, садись за стол».

Саша сел, как велели. Поставил бутылку перед собой.

Голос опять сказал:

— Что это у тебя? Водочка? А у меня только хлебушек.

Потом кровать заскрипела и с нее поднялся Трехглазый — в длинной ночной рубашке. Он повернул фитиль у лампы. Стало немного светлее. Потом пошел на кухню, взял там хлеб и две стеклянные стопки. Вернулся, поставил все это на стол. Сел напротив Саши. Разломил хлеб. Откупорил бутылку, разлил и, ни слова не говоря, выпил. Закусил.

Саша тоже выпил. Посмотрел Трехглазому в лицо. Лица видно не было. Темнота.

Трехглазый заговорил. На этот раз он выбрал роль русского патриота.

— Все говорят «новая Россия». Ельцин! Гайдар! Чук и Гек! А мне Союза больше чем убиенного царя жалко. Жили бедно, но одинаково. Понять могли друг друга. А теперь — каждый в свой угол убежал. Там загалится и сидит, трясется. Потому как найдут и по шапке дадут! Человек человеку стал — зверь. Друг друга убивают как негры. Еврейское время пришло. Теперь они власть в руки заберут. Все оттяпают, что Союз заработал. Нефть высосут, газ. Ихнее право. Их притесняли, они это припомнят. Тебе, Саша припомнят, как будто ты в чем-нибудь виноват. Вот я от них сюда в деревню убежал, но, боюсь, и тут найдут, выволокут и к стенке пришпандырят. Я ведь о них в Правде писал. Все мне вспомнят, кровопийцы. Косточки, косточки переламаывать будут. Пальцы на ногах отрежут и в мошонку зашьют, звери. Так по ихнему масонскому ритуалу полагается. А тебе Сашенька, как

ты простой русский парень, на спине жидовскую звезду на коже вырежут. Оскопят они тебя, голубчик. Звезду на синагогу повесят, а спину солью присыпят и кнутиком тебя, кнутиком по мясу! До смерти замучают!

Была у меня тетя Маруся. Тихая такая бабушка. В таксопарке работала. Уборщицей. А начальник там был жид и заместитель его жид и ходили к ним жида какие-то темные другие. Ну так вот один раз зашла тетя Маруся к начальнику в кабинет. Думала, нет там никого. Убираться хотела. Зашла и видит — сидят вокруг стола жида, а на столе — гора золота, кольца, броши, бусы жемчужные, изумруды и алмазы. Убежала. А домой не вернулась. Таксисты рассказывали — целую ночь из подвала в таксопарке стоны доносились, там жида тетю Марусю грызли. Даже трупа не осталось. Все ее тело они как крысы изъели. И кровь выпили. Так по этому делу никого и не осудили. Ментам дали в лапу. Кто за нас беденьких вступится? Власть все ими купленные, сам Ельцин, не Ельцин, а Елцер — главный масон. Трисмегист, бля. Продает Русь Западу. Горе, горе нам. Ну ничего, пусть гады только сунутся сюда. Я для них ружье заготовил. Хочешь покажу?

Саша не отвечал. Он не только не понял, о чем говорил Трехглазый. Он его и не слушал. Слушал только гул пространства, шепот темноты в углах. И не думал. Так, пил водку, хлеб жевал и перед собой смотрел. Играл бицепсами.

И тут Саша впервые услышал слабый стон из соседней комнаты.

Спросил:

— Кто это у тебя стонет?

— Тебе показалось, Сашок. Нет никого, кроме нас в избе. Может метель за окном просвистела? Или твои собаки завьли?

— Мои псы не воют. Они спят.

— Я тоже спал, ты меня разбудил, но я гостю всегда рад, а с золотой водичкой и гость — золотой!

Тут опять кто-то глухо застонал. Послышалось что-то вроде — Развяжите... Сил нет терпеть... Воды!

Саша встал и решительно открыл дверь в соседнюю комнату. Там хоть и было темно, но не настолько, чтобы не понять — нет там никого. Саша вернулся, вышел в сени, зашел в кухню. Пусто в доме.



— Может, хочешь и в погреб слазить? Добро пожаловать, вход в кухне. Открывай, смотри. Я тут останусь, чтобы ты чего не подумал...

Саша открыл в кухне квадратный люк погреба. Ничего не видно. Наощупь нашел на кухонном столе спички. Зажег спичку, спустился по шаткой лесенке. И только тогда разглядел. На стене висел распятый старик, бомж. Косматый как леший, в грязной старой одежде.

Тут крышка погреба над Сашиной головой закрылась с противным треском. До Саши не сразу дошло, какую он глупость сделал. Саша поднялся по лестнице, стал бить рукой в крышку.

Сверху донеслось:

— Не стучи зря, посиди часок, а я подумаю, что с тобой, дураком, делать.

Саша нащупал на полке пачку свечей, разодрал ее, зажег одну свечу, прикрепил ее на ящике перед распятым. Начал искать нож или ножницы. Не нашел. Разбил попавшуюся под руку бутылку и осколком осторожно перерезал веревки, освободил бомжу ноги и руки. Обессиленный старик упал на него. Саша посадил его на пол, спросил:

— Ты чо, дядя, тут делаешь?

Бомж простонал в ответ:

— Дай попить, отпусти душу на покаяние...

Воды в погребе не было. Саша заорал вверх:

— Воды дай, Трехглазый!

Сверху донеслось: «Хер тебе, а не вода».

Саша понял, что терять нечего, изо всех сил напер снизу на крышку погреба. Она не сразу, но поддалась, заскрипела, а потом вылетела вон. Саша вылез, вытащил бомжа. Боялся, что Трехглазый в него из ружья пальнет. Но Трехглазый не появлялся. Напив и успокоив старика, Саша обыскал избу. Трехглазого и след простыл. Решил поймать его на улице и связать. А завтра по свету в милицию оттащить. Натянул свою одежду и вышел на улицу. Никаких следов не было видно. Издалека послышался удаляющийся цокот мотоцикла. Удрал Трехглазый. Саша успокоился — ловить больше никого не надо было. Вышел из соседского двора, пересек деревенскую улицу, открыл калитку, завернул в нужник.

В тот момент, когда Саша открывал дверь, кто-то крепко ударил его сзади чем-то тяжелым. Нога Саши скользнула по оледенелой ступеньке. Он упал и ударился лбом в дверь нужника. На его несчастье в ней торчал толстый ржавый гвоздь без шляпки. Давно уже Саша хотел его вытащить, но не собрался. Гвоздь вошел аккуратно в угол правого глаза у переносицы, с хрустом проломил что-то и вошел в мозг. Потом Сашу подкинуло обратной силой, гвоздь из глаза вышел и Саша сел на снег рядом с нужником.

Представилось тут Саше огромное снежное поле. Ветер по полю гуляет, снег носит. В небе — серый туман. Леса не видно. И сидит будто бы Саша на этом поле прямо на земле, голый. И холодно ему сидеть. Хочет позвать на помощь — голос из горла не вырывается. Порывается встать, но не может. И тут на поле стало светлеть. И очень скоро ослепительный белый свет залил Сашу и заснеженное поле, и весь остальной мир. Как ледяной сквозняк, прошел сквозь Сашу поток времени. Затем обернулся вокруг него, подхватил и унес с собой на Северный полюс, к снежной королеве из мультфильма. Саша поглядел на королеву, улыбнулся второй раз в жизни и умер.

...

Тело Саши нашли только через пять дней. Был он белый, как мороженное. Только сзади шея была синяя и из правого глаза вытекло немного крови и мозга. Улыбался.

Собаки выли, запертые в избе. Когда их выпустили, они выбежали на двор, хозяина и не заметили. Один пес даже хотел на замерзшего помочиться. Его отогнали.

Трехглазого потом допросили. Он утверждал, что последнюю неделю просидел в избе, не выходил. Пил якобы и радио слушал. Когда его спросили, что он может сказать о смерти Саши, он ответил голосом актрисы Светличной:

— Не виноватая я! Он сам пришел...

Говорить с Трехглазым было бесполезно. Так никто и не разобрался, кто и зачем убил Сашу. Милиционер написал в графе «причина смерти» — «несчастный случай». Тело передали приехавшей из Москвы Вале. Милиция укатила. А по весне в соседнем лесу нашли обезображенный труп старого бомжа. Бомжа похоронили, дела заводить не стали. Убили и ладно. Кому он нужен?

## У ГРИГОРИЯ ЕГОРОВИЧА

Поехал я к Григорию Егоровичу.

Жил он в Опалихе. В старом деревенском доме. С женой Лизочкой, с двумя ее дочками от первого брака и с их собственным двухлетним сыном Ромочкой.

Григорий Егорович купил осенью пчел. А сейчас был март. Пчелы еще спали. Но вот-вот должны были проснуться. Чтобы совершить первый, гигиенический полет. Поэтому Григорий Егорович пригласил отца Ливерия освятить пчел. А меня позвал, чтобы я с батюшкой познакомился и, может быть, получил бы от него заказ на икону. Я как из института уволился, начал иконы писать и оклады к ним чеканить. Первый раз в жизни начал что-то путное делать, говорила верующая подруга жены Соломинка. Соломинка эта была мне по-женски симпатична, поэтому я слегка перед ней заискивал.

С Григорием Егоровичем меня познакомила та же Соломинка в подмосковном Боголюбском храме. Он мне очень понравился. Не храм, а Григорий Егорович. Маленький московский интеллигент. Курчавый. Старый. Сын академика. Но не сноб, не карьерист, а нечто противоположное, отказавшийся от карьеры, удивительно скромный человек. Не холодный, не пассивный, а активный, горячий.

Человек милый, растрёпанный и с закидонами. Закидон первый — женился на женщине, на тридцать лет его моложе. На Лизочке! Закидон второй — бросил московскую квартиру, институт и переехал жить под Москву, в деревенский дом. Закидон третий — стал православным. Закидон четвертый — купил козу и пчел и рассчитывал, что они его — прокормят и пропят. Я люблю таких людей. Окружающему нас большому безумию они противопоставляют свое, маленькое. И не распускают нюни.

Приехал я в Опалиху. На электричке. В будний день. Было прохладно, но не холодно. Солнышко светило. Народу на перроне было мало. А как отошел от станции и попал в лабиринт деревенских улиц — и вообще никого. Все на работе. Социализм, всеобщая занятость. Спросить некого, где же тут треклятая улица Лесная. Рядом улицы: Колхозная, Заводская, Павки Корчагина, Цветочная, Зеленая. Зеленая есть, а Лесной, как назло, нет. Говорил мне Григорий Егорович по телефону — иди точно по схеме, сам никогда не найдешь! А я, дурак, не послушал. Потерял бумажку. Плутал, плутал, ходил, ходил. Наконец, вижу — тащится мне навстречу какой-то дядечка. Я к дядечке подошел и сказал:

— Извините, где тут Лесная улица?

Деревенские люди пугливы как лани. Дядечка от меня отпрянул и с почтительного расстояния промямлил:

— Не знаю я ничего, иду вот в магазин, иди и ты своей дорогой!

— Вот в этом и вопрос, где моя дорога? Где тут Лесная?

— Да, у нас тут есть лес. А осенью в нем грибов много.

— До осени ждать долго! Мне бы сейчас Лесную найти.

— А вам кого там надо, на Лесной?

— Там живут мои друзья — Лизочка и Григорий Егорович, который пчел купил.

— Это тот, кто у Семеныча пчел купил?

— Не знаю, у Семеныча или у кого еще, но купил.

— Тот не на Лесной, а на Академика Павлова живет!

— Нет, на Лесной. Григорий Егорович. У него коза Матрена.

— У Егорыча коза? Нету у Егорыча козы. У него куры. А козы нет.

Тут я понял, что разговор наш уносится в беспредельную даль. Сказал:

— Спасибо, спасибо, я сам найду! И пошел дальше.

Когда отошел метров тридцать, услышал: «Второй поворот налево, потом направо, там недалеко».

Крикнул сердобольному дядечке: «Спасибо!»

И дальше потащился.

От моего крика залаяли все собаки в округе.

Указание оказалось точным, через десять минут я стучал в старую замызанную дверь Лизочкиного дома. Мне открыла одна из ее дочек. Открыла, посмотрела на меня кокетливо, засмеялась и убежала.

В сенях я услышал рев. Ревел очевидно Ромочка. Прошел в комнату. Увидел такую картину: слева вдоль стены, на которой висела репродукция картины «Охотники на привале», стояла гигантская двух- или трехспальная незастеленная кровать. На кровати прыгали, радостно ухая, довольно увесистые Лизочкины дочери — Лина и Илона. Там же пребывала и Лизочка, в розовой ночной рубашке. К кровати вплотную примыкал огромный дубовый стол. На столе стояла неубранная после завтрака посуда. За столом сидел хозяин с сыном на руках. Григорий Егорович приветливо улыбался. Ромочка ревел.

Я сказал:

— Здравствуйте, добрые люди!

И поставил на стол подарки — бисквитный торт и четвертинку.

— Проходи, садись, мы рады тебя видеть!

— А я рад видеть всех вас в хорошем настроении!

— Лизочка, вставай, встречай гостя, корми всех нас и пои! — сказав это, Григорий Егорович передал Ромочку жене, которая унесла его в другую комнату, и стал сам убирать со стола. Я сел на стул и осмотрелся. Ну и комната! Кроме вышеописанной кровати, стола и стульев, в ней стоял гигантский шкаф времен Ивана Грозного, весь заклеенный какими-то цветными бумажками, черное пианино, тоже как бы побывавшее в руках индейцев. На стене, противоположной «Охотникам» висело между окнами баскетбольное кольцо без сетки. Репродукция картины «Всадница». Икона. Лампадка. Кроме того, всюду были разбросаны разнообразные предметы. Странного вида деревянные рамы (они предназначались для пчел), громадный мешок с сахарным песком, детский бильярд с цветными шарами, большой кубический ящик с травой (для козы Матрены)...

— Пестро у нас, — заметила входя в комнату переодевшаяся Лизочка. — Это потому, что Григорий свою мебель из Москвы привез! А у меня еще старые мамины вещи лежат. Ну тут все и смешалось. Да еще вдобавок пчелы.

— Не оправдывайся Лизочка, там, где люди живут, — там хаос и беспорядок. Порядок калечит душу! Святой дух изгоняет. Превращает человека в автомат. Пойдем, Димыч, посмотрим на ульи и на козу.

Мы пошли в сад. Там стояло штук двенадцать ульев. Беспорядочно, как квадратики на супрематистской живописи.

— Пчелки, пчелки, — приговаривал Григорий Егорович. — Вы наши кормилицы, будете медок давать, а я его буду продавать и о вас заботиться.

Он по-хозяйски гладил ульи, прикладывал ухо к деревянным стенкам — слушал.

— Их поздней осенью последний раз накормили. Зимой они спали. А весной должны вылетать! — сказал Григорий Егорович довольно неуверенно. Неуверенно же приоткрыл дверку одного улья, взглянул с опаской внутрь и поскорее закрыл. Пчеловод он был неопытный. Можно сказать, никаким пчеловодом он не был, но идею имел. Так часто бывает у русских людей — идей полно, планы — до небес, а что из этого всего выходит — недостойно и упоминанья. Забегая вперед, скажу, что пчелы у Григория Егоровича позже все-таки приносили мед, он даже продал килограмм двадцать, но жить и кормить семью, конечно, на эти деньги не мог, поэтому пчел после пары лет мучений ликвидировал.

— Да, должны вылетать. По первому солнышку, — продолжал экскурсию Григорий Егорович. — Но почему-то не вылетают. Потому я и батюшку Ливерия пригласил, пусть попоет, поблагословляет, авось пчелки и проснутся! Пусть он их святым духом окурит! Он сейчас прийти должен. Только бы не заболел. Не дай Бог! Старик крепкий, но со всеми бывает. Я ему про тебя рассказал. Он загорелся — домашнюю икону, говорит, давно хочу. Чтоб все святые там были — на меня, жену и на дочек. Но это ты с ним сам обсудишь. Пойдем теперь в сарайку.

Вошли в сарайку. Там стояла коза Матрена. Вид у нее был грустный. Серая шерсть сбилась клоками. Я от комментариев воздержался, а Григорий Егорович поцеловал козу в белый лоб, погладил и сказал:

— Она у нас — эксперимент. Если будет молоко давать, купим еще коз...

Опять-таки, забегая вперед, замечу, что эксперимент этот козий не удался. Хотя и не совсем. Коза Матрена жила в сарайке лет пять и действительно давала молоко, но пить его никто кроме хозяина не хотел. Григорий Егорович пытался из ее молока делать сыр, но получалось мало и невкусно. Зато Матрена стала домашней любимицей и с ней играли дети.

Обошли сад. Посмотрели заснеженный еще огород. Я заметил, что изгородь их участка местами от старости упала. Хозяину ничего говорить не стал, какое мне дело? Ненавижу привычку все время всех учить! Это дело Соломинки.

Вошли в дом. Лизочка в комнате прибралась. Ромочка заснул в своей кроватке в другом помещении. Девчонки куда-то делись. Вместо того, чтобы об изгороди поговорить, я начал остроумничать, спросил:

— Ты, Григорий, помнишь анекдот про пчел?

— Нет.

— Так слушай. Хотя это не анекдот, а просто присказка. Все фигня кроме пчел! Все! Но и пчелы — тоже фигня! Ты что кроме пчел и козы делаешь?

— Сам не знаю. Как сюда переехал — появилась тысяча дел. День проскакивает, как встречный поезд в метро. Устал, набегался, а вроде ничего и не сделал. Встанешь перед сном на молитву, а Богу предъявить то и нечего! Ну и просишь простить, укрепить, помочь своему неверию! Ну да, еще и за больным отцом надо убирать. Его последняя жена ничего делать не хочет, только вещи сторожит, как бы чего из ее наследства не украли! А он уже два года под себя ходит. Так вот и мотаюсь каждый день. Туда-сюда. Иногда Лизочка ездит.

— Да, дела.

— Ну а ты что, свой институт послал?

— Куда подальше! И очень счастлив. Только боюсь, закрутят большевики гайки! Поотрывают всем нам головы, когда дурь пройдет.

— Руки коротки! Джина из бутылки они уже выпустили. Народ назад в кандалы не загонишь! Ты посмотри, везде церкви открывают! Сколько времени поганили землю, теперь пора строить и святить!

— Дадут они тебе строить! Не фигу подобного. Да и забота у них сейчас другая — все хотят от России отъединиться. Ты что думаешь, коммунисты это допустят? Скорее они Прибалтику бомбами закидают, чем на Запад отпустят. И южные области, и Кавказ.

Тут Григорий Егорович вдруг весь преобразился и сказал страстно:

— У меня на этот счет своя теория есть, я думаю, что весь Советский Союз, вся бывшая империя превратится скоро в светлое православное Царство! Все народы добровольно и с любовью к друг другу соединятся во Христе. Соборно!

— Не ожидал от тебя, запел как Соломинка.

— А я думаю, никто с нами не пойдет, одни мы останемся, — вешалась в разговор Лизочка. — А в конце и Урал и Сибирь потеряем. И Москву — там будет главный вертеп. И будет как встарь только Владимирская Русь, бедная и обобранная. Вот в ней то пламя православное, может быть, и возгорится вновь.

— А может и потухнет навсегда. Без тюменской нефти тут гореть нечему, — не сдержался я.

— Потухнет это пламя, а возгорится новое. Русская земля — святая, у русских души как свечки горят.

— И до тла сгорают.

Тут раздался властный стук в дверь. Дискуссия прекратилась. В дом ввалился громадный старик — отец Ливерий в черном длинном пальто поверх облачения. Он всех благословил. Григорий Егорович и Лизочка поцеловали ему руку.

Сели за стол — «откушать, что Бог подал».

Отец Ливерий помолился. Во время молитвы все грустно смотрели вниз. Потом благословил еду и водку. Выпил, не морщась, рюмку. Чувствовалось — опытный боец. Я водку только пригубил, пить не стал — надо было сохранить ясность ума для разговора. Хозяева тоже выпили. Закусили все макаронами по-флотски и салатом. Потом подали чай, разрезали торт. Про торт батюшка высказался странно:

— Ох, вкусен как бобер!

Возгласил:

— Ах ты, трясина зыбучая! Нагрешу перед постом.

И съел три больших куска.



После еды направились к ульям. Батюшка разжег кадило, начал кадить и читать молитвы. Он их не читал и даже не проговаривал, а очень быстро бубнил. Я не мог понять ни одного слова, хотя специально изучал старославянский. Григорий Егорович смотрел умиленно то на батюшку, то на улы. Лизочка была спокойна. Еще во время учебы на мехмате она прошла все фазы — духовного развития, увлекалась дзен-буддизмом и экзистенциализмом, Малером и Шнитке, читала Веды и Хайдеггера. Все это серьезно. Остановилась на родном православии и обрела в нем покой и счастье. Да так глубоко в этот мир погрузилась, что смогла увлечь и Григория Егоровича, хотя и не без шарма Соломинки.

Лина и Илона во время процедуры освящения пчел хихикали и смеялись, но не мешали. Ромочка спал. Матрена была заперта в сарайке.

Я все время задавал сам себе вопрос — что же с тобой произошло, почему ты не хохочешь как эти милые дети, а всерьез участвуешь в этой идиотской церемонии? И приходил к неутешительному выводу — я ослабел, смирился с абсурдностью жизни, с собственной слабостью и даже нашел способ получать от всего этого удовольствие.

Мои угрызения продолжались не долго. Отец Ливерий был знаменит своей скоростью. Он последний раз окурив улы и обрызгал их щедро святой водой. Дал всем присутствующим поцеловать крест. Потом неожиданно сказал Григорию Егоровичу:

— Что-то жужжання не слышать. У тебя, милый, пчелы сдохли!

Новоиспеченный пчеловод растерялся и инстинктивно открыл один из ульев. Совсем открыл. Глянул внутрь — там пчел не было! Куда они делись? Непонятно. Открыл другой — в нем пчел тоже не было. Третий — в нем пчелы были, но все лежали на дне улья мертвые. Григорий Егорович начал быстро открывать оставшиеся улы. Когда он открыл предпоследний улей, оттуда вылетели вдруг сотни пчел.

Кошмар и ужас! Меня укусили только в руку. Позже я вытянул из кожи коричневое жало и высосал яд. Григория Егорыча укусили сразу восемь пчел, ему стало с сердцем плохо. Чтобы его откачивать, вызывали скорую помощь. От-

ца Ливерия тоже крепко искушали (пчелы не любят запах алкоголя, а этот запах был постоянным спутником батюшки), но он промыл укусы водой, замазал маслицем, а до этого даже помогал мне вести Григория Егоровича в дом. Странно, особ женского пола пчелы не тронули совсем.

— Добрые будут пчелы, — сказал, когда все улеглось, доедая торт, искусанный батюшка искусанному пчеловоду. — Приглашай на медок!

А мне батюшка Ливерий заказал домашнюю икону, крестообразную, с изображением в центре Пресвятой Богородицы и святых: Ливерия, Евдокии, Анны, Зинаиды и Ульяны.

...

Следующий повод для встречи с семейством Григория Егоровича был траурным.

Ромочка погиб. Попал под машину. Гулял по участку и вышел через провалившуюся изгородь на улицу. Уронил мячик. Побежал за ним. Его сбил сосед. Машина ехала медленно, но для двухлетнего малыша удар был слишком силен. Сосед и не заметил ничего. Лизочка почувствовала беду — выбежала из дома, стала звать и искать сына. Нашла его у обочины уже без дыхания.

Ромочку отпевали по православному обряду в церкви святого Николая. Отпевал не отец Ливерий, а отец Леонид, грузный, с огромным кадыком и маленькими пухлыми руками.

После службы гробик с Ромочкой унесли в машину. Родители, приглашенные и оба священника стояли у церкви. Разговаривали.

На Григория Егоровича и Лизочку и смотреть-то было страшно, не то, что говорить с ними. Я понимал, что разговор, ничего кроме боли им не принесет.

Выдавил все-таки из себя:

— Крепись, Григорий. Ромочка будет ангелом на небе.

Подумал — ну что ты за чушь несешь? Каким ангелом? Бред.

Григорий Егорович, плача, пробормотал:

— Да, да. Знаю. Только... тельце... сына... жалко.

Пошли на кладбище. Шли молча. Когда пришли, машина с гробом уже ждала. Несколько человек взяли гроб на плечи, понесли. Пришлось пробираться сквозь лабиринт могил, крестов, оград. Наконец, опустили гроб в землю. Бросили по щепотке земли. Начали зарывать. Женщины заголосили. Я тоже заплакал — всегда был слаб на глаза.

Рушилась моя, так и не окрепшая вера. Отлетала к чертям. Вот она, правда — грязное русское кладбище, голосящие бабы, — тельце, огромный кадык отца Леонида, ржавые ограды, бедные могилы. А мои иконы — это все — лжа. И вся церковная галиматья не стоит ржавой копейки. И не будет тут никакого — православного царства. Все будет как всегда было. Из одного рабства — в другое. Уезжать надо! Боже мой, куда уезжать? А что, если везде так? Как жить на чужбине без таких людей как Лизочка и Григорий Егорович? Без корней, без языка. Пропадать.

После похорон пошли в дом. Кровать в комнате составили. Шкаф очистили от цветных бумажек. Все было строго, тихо и страшно. Многочисленные гости пили и ели. Потом начали расходиться.

## САД НАСЛАЖДЕНИЙ

Ребенка они не хотели и предохранялись как могли. А как предохраняться в стране, где невозможно достать противозачаточные таблетки? Известно, как. Правило простое — туда кончать можно только три дня до менструации и три дня после. А все остальное время нужно прерывать процесс на самом интересном месте. Сегодня и был такой день. Перед менструацией.

Вадим нетерпеливо ждал вечера, потому что знал — уломать Нину заняться любовью днем ему не удастся. Почему они все хотят делать это в темноте? Красивая, молодая женщина... Откуда у нее эта боязнь, робость, комплексы? Вадим не понимал жену. И ревновал. Может быть, у нее только на него такая реакция? Или она во время любви представляет себе на его месте кого-то другого? С ним подобное бывало, хотя и не часто. То, что мы охотно прощаем самим себе, мы никогда не прощаем нашим близким. Мир чувств фатально ассиметричен.

Как всегда в «такие» дни, у Нины был плохое настроение. Она капризничала. Металась по их маленькой квартире на девятом этаже блочного дома на окраине Москвы как львица по клетке. Подходила к окну, смотрела на огромный грязный двор, вздыхала. Потом уходила в ванную, запиралась там и крутилась перед зеркалом. Расчесывала волосы. Она явно не нравилась самой себе. У нее болела голова, ее раздражало нетерпеливое ожидание мужа, его назойливость и похотливость.

Вадим сидел на диване с ногами и листал альбом Босха — «Сад наслаждений». Молчал, потому что чувствовал — любой разговор, даже на самую отвлеченную тему приведет к взрыву, к слезам, а там можно и забыть про любовь. Нина взяла с полки томик стихов ее любимой Цветаевой, села на другом конце дивана и принялась читать. Читала, задумчиво

глядела в потолок, грызла шариковую ручку, саркастически усмехалась. Записывала что-то в специальную тетрадку. Вела себя так, как будто мужа нет в квартире.

Вадим молчал, но терпение его не было безграничным. Отложил книгу в сторону. Тихонько, как змея, подполз к жене. Поцеловал ее коварно в коленку. Обнял. Нина демонстративно отстранилась. Вадим вздохнул и отполз. Она поняла смысл вдоха и подвернула под себя ноги. Руки плотно обвила вокруг себя. Даже дотронуться до интимных частей ее тела стало невозможно. Вадим вздохнул еще раз, отполз еще дальше. Спросил, не хочет ли она принять цитрамон. Жена восприняла этот вопрос как глумление. Поджала губки. Еще одно предложение и начался бы скандал. Не первый и не последний.

Нина хмыкнула, встала. Взяла с собой книгу и ушла в ванную. Чтобы никто не мешал. При социализме горячая вода была бесплатным удовольствием — лей, не хочу. Для тех, кто жил в Москве в отдельных квартирах, конечно. Вадим остался один на диване. Попытался сосредоточиться на «Саде наслаждений». Заснул.

Приснилось ему, что жена согрелась и успокоилась в ванной. Вышла и прилегла к нему. Прижалась голой грудью к его коленям. Жадно схватила губами его член. Вадим застыл от счастья во сне. Вошел в жену сзади. Начал сладко качаться, потом осмелел, облизывал указательный палец и осторожно всунул его Нине в попку. Она рассмеялась, изогнулась немыслимой дугой и тоже всунула палец ему в анус. Вадим чувствовал пальцем ходящую туда-сюда головку своего члена. Нина массировала его возбужденную простату. Для полноты счастья, он попросил ее что-нибудь рассказать. Она спросила, какой сюжет он хочет услышать. Вадим сказал — про то, как ученик старшего класса развращает первоклассника в кабинке школьного туалета. Нина рассказывала с вдохновением. Говорила она низким, чувственным голосом. Вадим трясся в экстазе. Пускал слюни.

Проснувшись, искал жену. Хотел продолжить любовь. Но продолжать было не с кем. На диване лежал он один, Нина была в ванной.

Вадим постучал. Услышал недовольный писклявый голос Нины: «Что тебе надо? Ты же знаешь, что я хочу побыть одной...»

Он знал, почему жена подолгу моется, закрывает дверь. В ванной она мастурбировала. Затем ее начинали мучить муки совести. Иногда она легальным сексом с ним нейтрализовывала их. Но еще чаще становилась непреклоннее и равнодушнее. Не могла даже подумать о близости.

— Ниночка, я тоже тут живу, тоже хочу в ванной понежиться... С тобой...

— Подожди, через пять минут я выйду!

— Пусти меня к себе, я одинок, меня никто не любит!

— Перестань кривляться! В двадцать семь лет впадаешь в детство.

— Упрямая фригидная тварь!

— Озабоченный придурок, иди к проституткам! Только потом на сифилис не жалуйся!

Вадим почувствовал, как его пальцы оцепенели. Он задергал ртом. Сжал кулаки. Волна холодного бешенства прокатилась по его телу. От затылка до пяток.

Ничего не получается! Все напрасно! На кой черт я женился? Палец в попу? Да это Нину так испугает, что она с мной вообще спать перестанет. Мальчики в туалете? Если она о них только услышит, сейчас же к своей матери уедет. Будет там расписывать, какой я зверь. И в рот она никогда не брала, брезговала. Даже рукой никогда меня не баловала. Хотел «приличную девочку» из ученой семьи, теперь не ной! Что же делать? Всю жизнь прожить в сексуальном одиночестве? Каждый раз, когда хочется, — просить, просить, унижаться... Черт бы все побрал!

Тут дверь открылась и распаренная Нина, обернутая как мумия тремя белыми полотенцами, гордо продефилировала мимо Вадима в комнату. Обдала его запахом клубничного мыла.

Меня не замечает, я для нее — ненужный предмет, мусор, грязь, — заводил себя Вадим.

Ему захотелось довести жену до визга, а потом взвинтить и самого себя до истерического, но управляемого холодным разумом состояния. Он знал, жгучее наслаждение придет, только если они оба будут в истерике, но Нина не сможет управлять собой, а он сможет. Тогда можно будет поднимать, поднимать до безумных высот напряжение. Искусство управляемой истерии состоит в том, чтобы на самой границе

бездны, за миллиметр от непоправимого, остановиться в бешеной гонке и осторожно свести все к шутке, спустить безумие на тормозах. В отношениях с женщинами Вадим всегда был умеренный мучитель. Вне этих отношений он мог припомнить только один пароксизм садизма в своей жизни.

Вадиму было тогда шесть лет, он жил на даче в Сестрорецке, под Ленинградом. Гулял в саду. Вдруг видит — навстречу ему идет котенок. Подошел, о ногу потерялся. А Вадим схватил его за хвост и поднял. Котенок зашипел. Попытался вывернуться и оцарапать руку. Но Вадим был ловок. Котенку было больно. Он начал пронзительно мяукать. Вадим уловил в его мяуканье жалобные, плачущие нотки. Бездна и истому страдания. Это возбудило его — он ощутил сладостное томление в паху. Продолжалось это, однако, недолго — Вадим пожалел котенка и отпустил его. Тот удрал. А Вадим не мог понять, что со ним происходит. Обычно он чутко распознавал зло, никогда не одобрял его. А тут...

Нина тем временем опять уютно устроилась на диване и углубилась в свою Цветаеву. Вадим решительно подошел к жене и грубо вырвал книгу из ее рук. Нина остолбенело посмотрела на него. Она была целиком погружена в свои изыскания. Вадим раскрыл книгу, с хрустом вырвал из нее несколько страниц, распахнул окно и швырнул листочки на улицу. Нина от неожиданности растерялась. Решила, что Вадим сошел с ума. Потом все поняла, открыла рот, чтобы крикнуть, но не закричала. Вадиму показалось, что он слышит беззвучный крик, распространяющийся как радиоактивное излучение.

После зловещей паузы Нина решительно встала с дивана, грациозным движением сбросила с себя полотенца, зарычала как львица, схватила папку с работами Вадима, открыла ее, и яростно бросила несколько рисунков в окно. Рисунки полетели вниз, как кленовые листья во время грозы. Рисуя в воздухе японские пагоды.

Вадим от злости поперхнулся, потом заорал:

— Что ты делаешь, дрянь? Ты же знаешь, что рисунки — не книга, их в магазине не купишь!

— Цветаеву тоже не купишь!

Нина выхватила из папки еще несколько листов, хотела и их выбросить. Вадим вскочил как пружина, бросился на жену, схватил ее за руки, вырвал рисунки. При этом разодрал случайно их пополам.

Нина вцепилась ему в волосы. И дернула, что было сил. Вырвала клоч. Вадим тоже схватил ее за волосы и потянул. Нина вскрикнула, скорчилась от боли. Он обхватил голую жену руками. Она отбивалась как сабинянка. Ревела и плакала. Вадим был сильнее, через несколько минут борьбы они оказались на диване. Вадим сидел на жене, пыхтел, пытался схватить ее руки. Нина старалась ударить его в нос. Не сразу, но попала. Ногой. Это было больно. Вадим разъярился и тоже ударил Нину по носу. Ее маленький красивый носик тут же начал кровоточить. Опух, превратился в уродливый носище.

В этот момент Вадим успокоился. Он добился своего. Нина была в истерике. Громко визжала и царапалась. А он внутри уже был холоден, хотя знал, что может ее убить, если захочет. Это знание придало ему уверенности в себе. Теперь надо было попытаться ее успокоить.

Вадим сказал громко:

— Я отпущу твои руки, если ты перестанешь царапаться!

Она его не слышала, плакала навзрыд, захлебываясь кровью и соплями. Руками пихалась как кенгуру. Удержать ее было трудно. Вадим боялся, что она серьезно поранит себя или его.

Хорошо рассчитав силу, ударил жену ладонью по щеке. Таким ударом можно было успокоить лошадь. Нина драться тут же перестала. Только тряслась и тихо выла. Вадим слез с нее. Пошел на кухню, принес воды и обтер жене лицо.

Нина пришла постепенно в себя. Повернулась лицом к стене. Всхлипывала. Вадим укрыл жену пледом. Поцеловал в щеку. Сказал: «Прости меня, милая, я один во всем виноват».

А внутри — хохотал как демон в преисподней. Она не отвечала.

Вадим сел у Нины в ногах. Полистал альбом. Успокоился. И начал, как всегда, грызть себя. Ни в чем я не виноват, а прошу прощения. И любви не получил и рисунки потерял. И подрались как свиньи. Нинка теперь долго дуться будет. И молчать неделями. Или уедет к теще. О любви можно забыть.

Нина молча встала. Не глядя на мужа, вышла в коридор. Ушла в ванную. Зализала раны. Затем оделась и, ни слова мужу не сказав, уехала. Вадим остался в квартире один.

Ему было грустно. Пиррова победа! Опять одиночество. Без людей — все мертвое. Города, улицы, комнаты, коридо-



ры. Даже книги и стихи. Некому наслаждаться в саду. Некому и восхититься садом. Мертво пространство. А время — бессмысленно.

Вадим захотел отвлечься, порисовать. Подошел к открытому мольберту, потер пальцами засохшую краску, понюхал. Краски пахли рыбьим клеем. Запах краски, а не ее цвет, вдохновлял его на работу. Но в это раз механизм не сработал. Руки все еще дрожали. И голова была другим занята. Прислонил мольберт к стене.

Нашел в кухне вчерашние холодные макароны. Съел их прямо из кастрюли. В животе сразу стало тяжело. Вскипятил воду. Пока чай заваривался, сидел в кухне и тосковал. Потом напился чаю.

Влез в ванную. Пустил горячую воду. Полежал, погрелся. Попытался возбудить себя. Начал сам себе рассказывать о школьниках. Но возбуждение не приходило. Сбился на размышления.

Никогда особа мужского пола не вызывала у тебя сексуального желания. Почему же уже в детстве тебя часто посещали назойливые гомосексуальные фантазии? Что происходит со всеми нами? Почему мы вечно недовольны тем, что есть. Какой дьявол несет нас за границу дозволенного? Что же мы на самом деле такое, черт возьми? Почему в реальной жизни мне дорого здоровье и благополучие любого ребенка, а в кошмарном, полубезумном фантазировании, которому я предавался во время секса с своей последней до женитьбы любовницей, Надькой, маленьких детей сажали на кол, беременных женщин вешали за груди, пороли...

А может быть, мы все такие? — успокаивал он себя. — Все люди. И от дьявольского соблазна спасает не порядочность и не религиозность, а только бездарность, серость. Или страх. Изменить или очистить этот мир нельзя, в него можно только попытаться не входить. Но и это не выход. И чувственный человек висит между бездонной пустотой сверху и такой же снизу. Окруженный демонами.

Через несколько минут Вадим возбудился. Но не на «школьниках». Представил себе заплаканные глаза жены. Даже не успел пожалеть ее, кончил в воду.

## АФРИКА

Советский специалист! Красиво звучит?

Говно на лопате!

Император Жан-Бедель Бокасса первый. Четырнадцать лет страной правил. Людоед! Это нормально? Глава государства филейные части школьников поедал. Холодильники специальные в дворцовых подвалах ему немцы смонтировали. Взрослых не ел — брезговал. Хотел телятинки. Неженка! А мы там по хлебу черному скучали. И по простой воде из-под крана. Там ведь нет водопровода. Только жижа из бака на крыше течёт. Пить ее нельзя. Мыться можно. Помоешься — а потом противно. А питьевую воду — покупать надо было.

Работали мы в университете по программе ООН. Говорили по-французски, естественно. Там все по-французски шпарят. И французов полно. Есть и португальцы. Ну и всякой швали тоже много. Ливанцы, ливийцы, кубинцы и черные всех сортов от антрацита до бурого угля. Высоченные есть, сара. Есть и маленькие — пигмеи бабинга. В городе их не видно, по лесам ошиваются. А наших туда посылали, потому что Бокасса у Лёни в дружбанах ходил. Мы ведь во все сумеем нос, если нам по рукам не дают. Я туда из-за квартиры поехал. Мне начальник сказал:

— Отсидишь три года в Африке, мир посмотришь, валюты привезешь, кооператив построишь и машину купишь. Ты кадр проверенный. Тебе доверим. Только не пей там сильно, крыша поедет. И на черножопых баб не ложись — уважать перестанут.

Только этого мне не хватало для полного счастья! У них мандавошки железные и размером с кузнечиков...

Легко сказать — не пей! А что еще делать? Днем — жаррица. Ночью прохладно. Но москиты зажирают. Сетки у нас на окнах были с дырками. Залетали, твари. И мушки желтые мучили. Кусали не больно. Но укусы неделями зудели. Рас-

пухали. А потом из гнойников червячки вылезали. Здравсте! Некоторые часто на природу ездили. Водопады, обезьяны... Слоны где-то бродят... Носороги... Как это в песне — «бегемоты и жена французского посла». А я не ездил. Тошно! Я Подмоскovie люблю. Березки и осины. Речки маленькие. Коров. Землянику. А носороги пусть в зоопарке сидят вместе с Бокассой.

Лидка малярию подхватила. Как затрясло ее! А у Витьки понос начался. Прививали, прививали нас в районной поликлинике, кололи, в рот что-то пихали, ничего не помогло. В госпитале французском определили: у ребенка — дизентерия, у жены — малярия.

Хорошо еще не желтая лихорадка! За два года до нас двое русаков тиф получили. Другие с тропическими язвами на родину вернулись, а одна женщина, врачиха, так вообще — слоновость заработала. Это когда ноги толще чем у слона делаются. Паразит в крови живет. И убить его нельзя. Ко мне вот, ничего не пристало. Ни чума, ни холера. А Лидка расквасилась. Разнылась. — Не могу, — кричит. — Пропади все пропадом! Хочу в Москву! И Витеньку с собой возьму. Мальчик с толчка не слезает.

Пришлось домой отправлять. Когда прощались, подумал: «Может, последний раз ее вижу?» От этой мысли я не расстроился, а наоборот, даже развеселился. Домой пришел, выпил пивка холодного и спать лёг. А перед сном размечтался. Вот, думаю, брошу тут все, куплю карабин и подамся в Южную Африку, к расистам. Приду и скажу: «Примите меня, господа, надсмотрщиком на алмазный рудник. Буду негритосов стеречь, чтобы они свое место знали и камни не тырили. По-русски умею, французский хорошо, английский так себе. Алкоголь употребляю умеренно».

Лидка ко мне больше не приезжала. Так без семьи и жил в загранке. По сыну скучал, а Лидка — что от нее толку? Пролетело времечко наше. На какой помойке прошлое отдыхает?

Говорил мне шеф наш, Тришкин:

— Не приветствуется... когда без жены. Сверху указание дано. Ты, Кривошеин, не мальчик уже, правило знаешь — облажаешься, в двадцать четыре часа на родину. И под суд.

Присмотри себе кого из персонала посольства. Там вроде вакансия открылась. Валя-бухгалтерша. Хоть и стара севрюга, но советская. Инструкцию помнишь? С австралопитеками — никаких близких контактов!

Как же мне хотелось ему тогда в рожу плюнуть! Прямо в пасть, из которой водкой и чесноком несло как дерьмом из унитаза. Вы бы послушали, что он нам на партийных собраниях выдавал! Каким верным интернационалистом-ленинцем представлялся. Я сдержался, не плюнул. Всю жизнь сдерживался.

И с Валькой этой я был знаком. Я бы на нее и срать не сел. Задрипа. Морда в прыщах, голос визгливый и у половинных колонии в рот брала. Ничего, думал, как-нибудь продержусь без бабы. Не впервой. Когда служил на точке под Минском, девушек три года не видел. Ну и что? Вся часть дрочила. Прямо на дежурстве. Дело молодое. Был у меня большой шёлковый платок с вышивкой. Медвежонок на пне. Бабуля подарила. Так вот этот медвежонок на себя больше струхнул принял, чем жена французского посла. Я платок не стирал. Сушил только в каптёрке. Вонял он странно. Мертвечиной какой-то и мудями.

...

Жили мы в столице. Банги. Дыра!

Аборигены в цветастых рубашках ходят, мослами играют. Купила мне Лидка такую рубаху. Надел разок. Расхаживал под пальмами как павлин. Улыбался, идиот черепаховый. А вечером — бобо. Начала с меня шкура слезать. Простоквашей лечился. Химия в этих рубашках адская. Неграм все равно — у них кожа как у гиппопотама. А белый человек коростой покрывается.

Река там — Убанги. Жёлтая. Наши острили — сидим в банке на реке ебанке... Жили на вилле. То ли французы, то ли португальцы для своих построили. На три семьи. С видом на речку. На той стороне — Конго. Там вообще война. Кто красный, кто белый — не разберешь. Повстанцы, блин! Национально-освободительное движение! Кто, кого, от чего освобождает? А к нам река отрубленные головы выбрасывала. Крыся одну голову подобрал, в полицию не понес, высушил. Назвал голову — Патрисом. Лумумба вроде. Показывал своим по пьянке, открывал голове рот и говорил:

— Патрис, покажи товарищам зубки! Мы смеялись, хотя и коробило.

До работы идти — пятнадцать минут. Прогуливались. Негры перед тобой спину не гнут, но уважают. Ты преподаватель. А на родине ты не человек даже, а младший научный сотрудник, мнс. Грязь на подошвах. Французы ребята нормальные. А португальцы — те как индюки. И ножи с собой носят. С Бокассой надо было вести себя осторожно. Из его кортежа могли выстрелить. Просто так! Не верите? Жаба, пидор, кортеж императора на казенном пежо обогнал. Бокасса увидел и обозлился. Послал двух мотоциклистов его догонять. Догнали Жабу, остановили, во дворец отвезли, козью морду сделали. Вообще-то негры белого боятся бить. Застрелить — это могут. А руками — робеют. Выучили их французы. Целыми деревнями сжигали, когда тут восстание было. Консул ездил Жабу выручать.

Преподавал я математику. На первом курсе. Алгебра, пределы, производная... Графики строили простенькие. Анализ. Негритосы учились прилежно, не то, что наши. Записывали. Даже домашние задания делали. Только образования им не хватало. Зато дисциплина — во была! В каждой аудитории за последним столом надсмотрщик сидел. Если кто шумел, мог ударить, или, еще хуже, — на императорский шашлык записать. Работать было легко. В день — две пары. Изредка три. А потом что? В буру играть надоело. Деньги тратить жалко. Платили нам хорошо. ООН — не Московский университет. Но две трети у нас сразу отбирали. Тришкину сдавали. «Добровольно.» На остаток — не разгуляешься. А что без денег делать-то?

Пилю беспросветно... Рыбачили. Зверья тут полно. А мы не охотились. За это нас могли из Африки в два счёта вышвырнуть. Свои же, посольские. Сафари — только для начальства. Им можно. Сынок Подгорного тут бывал, антилоп завалил — целое стадо. Старожилы рассказывали, маршал Гречко приезжал с целой армией. Но не ради носорогов. Этого рыхлого дядю больше плотские утехи интересовали. Бокасса, говорят, ему девственниц со всей страны собирал...

А у нас одно развлечение было — «танцы». Негритоса какого-нибудь зазывали и ему стакан наливали. Через пять минут начиналась потеха. Негр выпьет, зубы скалить начнет, запоет что-нибудь. Потом сядет на пол. А затем, когда водка его проймет, он на полу «танцует». Ноги вверх выкидывает, руками загребает, а рожей в пыль уткнется и как рыба воздух губами хватает. В умат! А мы вокруг сидим, смотрим.

В конце «танца» негрила дергался, задыхался, пену пускал. По полу катался как сумасшедший. Потом головой об стену бился. Драма, прямо. Наши говорили: «Во, Отелло, пошел рубить».

Тут у нас происходило соревнование. Кто босой ногой негриле по моське удачней смажет. Я не бил, а другие баловались. Чемпионом у нас Черкашин был. Техника у него была особенная. Он себя последователем Бруса Ли называл. Наш Брус Ли стоял на одной ноге возле негра, а другой ногой аккуратно так работал. Бил точно — большим пальцем в губы или в ноздрю. Попав, отмечал удовлетворенно:

— Ну, пиздато! Пиздато по брыдлу гунявому попасть. Ах, яйца!

Этот Черкашин и втравил меня в то дело. В лес, говорил, поедем. Парочку ушастых пигмеев добудем. Соревнование устроим. Скальп домой привезешь. Или череп! Из мошонки кошелек сшить можно... Сафари будет! Пиздато! На любого зверя разрешение покупать надо, а пигмеев можно, как кошек, бесплатно убивать. Властями не преследуется. Их тут и за людей не считают. Яйца!

Почему я согласился, не знаю. Со скуки. Думал — пошлят ребята и бросят. Ну, какие мы охотники за черепами? Никто раньше срока в Союз возвращаться не хочет. Деньги все давно рассчитаны. Драпать некуда — вокруг Африка. Дома у всех заложники. Поездим, походим, может, антилопу какую нелегально подстрелим, или кабана, шашлык сделаем. А пигмеи, если не дураки, смоются.

Подготовились мы хорошо. Даже ружья где-то достали. Тут на черном рынке не только ружье, гранатомет купить можно. Женам ребята сказали — на рыбалку едем, к водопа-

дам. Утречком выехали. Вел машину Никулин. Рядом с ним сидел Черкашин. А сзади я и два дружка закадычные — Крыся и Жаба.

Вначале дорога была ничего, асфальт и грунтовка. Ехали и песни горланили. «Солнечный круг», «Чунга-Чанга», «Оранжевое небо». В Москве слушать всю эту муру противно. А в Африке — сами пели. Что еще-то петь? Интернационал?

По дороге жирафов видели. Красивые звери. Черкашин хотел прямо из джипа по ним из ружья долбануть. Отговорили. Жалко животных. Да и куда их потом девать?

Речку на пароме переехали. Потом ударились в лес, медленно-медленно поперли. Вроде как по просеке. Хорошо январь был — сухо. А в дожди тут и на танке не проедешь. Часов шесть маялись. Сами не знали, куда забрались. Может и в Конго. Устали. Решили лагерь разбить. Нашли что-то вроде поляны. Расчистили слегка. Поставили машину у огромного баобаба, в тени. Натянули маленькие палатки. Костер развели. Никулин пень здоровенный притаранил. Сбоку его запалил, чтобы горело долго. Сели вокруг огня на раскладные стулья. Чаек заварили. Закурили. Тут и за вечерело. Небо было еще светлое, оранжево-серое. А внизу, под кронами — темно. Лес свистел, стрекотал, рычал... Концерт, прямо.

Крыся сказал:

— Я уже год в Больших Бангах, а в настоящем тропическом лесу — впервые. Жутко тут, ребята, а? Как бы лев какой не притащился. Рычит кто-то в чаще.

Опытный Никулин попытался его успокоить:

— Ты не ссы, Крыся, в компот, там ягоды! Львов тут нет, они в саванне. Леопарды есть, но они человека боятся. Осторожные твари. Да и сытые они. Пигмеи тут без ружей живут. Никогда не слышал, что пигмея леопард загрыз.

Жаба заметил:

— Пигмеи их отравленными стрелами... Из трубочки — пух. И леопарддохнет в страшных мучениях. А пигмеи его давай — резать и в кашу.

— Ну, что ты несёшь, Жабенция, пигмеи кашу из слонов и крокодилов лопают! Ну иногда, для разнообразия, мясо бегемота добавляют. И попугаев маринованных на закуску...

— А я слышал, пигмеи жирафью печень сырую жрут. Чтобы хоть немножко вырасти. Гааа!

Черкашин проговорил металлическим тоном:

— Кончай бузить, братва! Придёт леопард, а мы его по морде чайником!

А потом сладко, голосом доктора Айболита добавил:

— Завтра начнем охоту. Поищем в чаще маленьких ушастых обезьянок. Угостим их свинцовыми орешками и потянем за уши. Пиздато будет! Яйца.

Сделал каратистскую стойку и наш тяжеленный закопчённый чайник поднял на вытянутой руке. Крякнул воинственно.

Я сказал:

— Мужики, вы что это... Всерьез? Пигмеев убивать хотите?

Жаба откликнулся:

— Лёнечка зассал. Нет, убивать не будем... Только за лапки подергаем. А ты с Крысей тут в лагере останешься. Провиантом займешься. А мы тебе вечером пигмейскую головку принесем. На пояс повесишь. От сглаза помогает. Лидке в Москве подаришь, Швейцера хренов!

Крыся заартачился:

— Не хочу я с Кривошеиным тут сидеть и голов ихних мне не надо, Патрис ревновать будет. А вот на пигмеек посмотреть желаю. Говорят, они ладненькие и податливые. Белых боятся и сейчас же раком становятся...

— Что тебе, Иветты мало, что ли... Не баба, а бык, только с выменем...

— Не понимаешь ты, Жаба, жизни... Я с Иветтой уже десять лет живу. Она женщина значительная, но... Однообразие заколебало. Иветга большая, на ней лежишь, а чтобы лицо увидеть, в бинокль глядеть надо. А пигмеечки маленькие, как детки...

— Свежего мяса тебе захотелось, Крыся, обращайся к Бокассе... Он на это дело мастер.



— Тьфу на тебя, я же не есть хочу, а пощупать... Может быть и целочку найду...

— Вот ты целки и ищи, а мне поохотиться хотца. Чтобы как в кино. Сафари. Уу-аа-уу!

Жаба поднял руки и изобразил Тарзана.

— А как насчет отравленных стрел, пух... И так далее. Сам сказал «подохнут в страшных мучениях».

Никулин проговорил авторитетно:

— Стрелы опасность серьезная. Если мужиков-пигмеев заметим, сразу замочим. Чтобы не мешали. Головыотрежем и с собой возьмем. На сувениры. В муравейник положим. Мураши за три дня очистят. Потом можно отполировать и лаком покрыть. А с девками поиграем вначале...

Я не удержался:

— А детей, что, живьем засолите, что ли?

— Ты че, Ленья, разволновался? У тебя кровяное давление не поднялось? Пигмеи не люди, пойми это, наконец. Обезьяны они. Ты, когда в музее чучело гориллы осматриваешь, что, тоже, рыдать начинаешь? А насчет — засолим, идея не нова. Я такое в Африке уже видел. На рынке продавали — в пятилитровках, то ли засоленных, то ли замаринованных, то ли в формалине. От семимесячных недоносков лет до двух были дети. Негры, естественно...

— Если бы твоего Митьку кто засолил, ты бы так не разглагольствовал...

— Знаешь что, Кривошеин, ты лучше помолчи... Не порть нам охоту. А то договоришься, Швейцер! Говорил я тебе, Брус, не надо Кривошеина с собой тащить! Неврастеник он. К совести будет взывать, душу травить!

Черкашин отозвался, зевая:

— Не гони пургу, Жаба. У тебя души давно нет. Ты её в карты проиграл. Кривошеин не дятел. Сказано — сделано. Будет Сафари. Добудем скальпы. Все будет пиздато. Яйца.

Тут все к ночлегу готовиться стали. Никулин остался у костра дежурить. Ружье положил на колени. Раскурил трубку. Через три часа его должен был сменить Черкашин, потом заступал я, за мной Жаба и Крыся. Напоследок Никулин сказал Крысе многозначительно:

— Кто не умеет или боится, стрелять — только в воздух. Я через двадцать секунд буду тут.

Крыся промямлил:

— За двадцать секунд лев меня не только съест успеет, но и косточки обсосать!

— Опять ты за своё! Не будет тебя, Крысуля, лев жрать. Не жрёт он грызунов!

— А блондинистых лягушек ыз Кыива он жрёт?

Ночью Черкашин разбудил меня. Я долго не мог понять, где я. Думал, — дома, в тещиной квартире на Теплом Стане. Туалет искал. Насилу в себя пришел. И вот, сижу я, в костер смотрю. А в костре картины... То город огненный покажется, то цыганка затанцует. Как от огня глаза отведу, так взгляд поневоле в черный лес устремляется. А там тени мелькают. Огоньки. Или желтые глаза зверя хищного? Взял меня мандраж. Положил я ружье на колени. Снял предохранитель. И заснул.

И снится мне, что я иду в Москве! Где-то около Коньково. Все как положено, слева лес, справа новостройки. Ищу мой дом — девятиэтажку брежневскую. Плутаю, плутаю. Вдруг вижу — сидят на лавочке люди. Подхожу поближе. Это мои африканские приятели сидят — Черкашин, Крыся, Жаба и Никулин. На глазах у них почему-то повязки.левой рукой каждый ребенка держит. А в правых у всех — конторские ножницы. И этими ножницами они детям пальчики и ручки стригут. Дети бьются, кровь течет. Неловкий Жаба попал ребенку концом ножниц в глаз и режет, режет...

Подбегаю я к ним. Хочу ножницы отобрать и детей выпустить. А они — повязки с глаз сняли, на меня смотрят и гогочут. Показывают мне детей — а это не дети, а картонки для вырезания... Белочка, собачка... И крови больше нет. Вот, морок!

Говорит мне Черкашин:

— Ну, что Леня, пора на охоту! Заждались нас зверята ушастые.

А Жаба заухал по-совиному: «КОАПП! КОАПП!»

Никулин провозгласил голосом артиста Погоржельского: «Начинаем заседание КОАППА! Сегодня на повестке дня: Красный болотный козел, гигантский лесной кабан, желтос-

пинный дуйкер, хартбист Лолвелла, белый носорог, эланд лорда Дерби, бонго, синг-синг, бородавочник, бабуин светло-желтый и пигмей лесной обыкновенный... Стрелять рекомендуется в район сердца, чтобы не повредить трофею голову. Цены в таксодермических мастерских растут постоянно... Самым ценным для охотника является наличие у трофея густой гривы».

Я спросил:

— Здесь что ли, в Москве, охотится будем? Вон там — Беляево, а здесь — Теплый Стан. Даже шпиль университета видно. Какая тут охота?

А мне отвечают: «Ты посмотри вокруг себя повнимательнее!» Осмотрелся я, действительно, джунгли везде. Лес дремучий. Лианы висят. Макаки прыгают. Белый носорог пробежал. Мухи Цеце летают. Тяжело пробирается сквозь джунгли израненный работорговцами пятнадцатилетний капитан.

Пошли мы пигмеев искать. В руках у нас ружья. На головах — ковбойские шляпы. На ногах мокасины. Вдруг Никулин останавливается и рукой показывает — замрите, мол! Мы замираем. Видим — впереди речка. Ручеек. А в нем пигмеи копошатся. Рыбу ловят в запруде. Прямо так, руками ловят. Женщины и дети. Голенькие все.

Тут бросил Крыся свое ружье на землю и как лев с места в речку прыгнул. Приземлился ловко. Руки растопырил. Схватил какую-то пигмейку. И на ее хватать и к себе прижимать. И другие тоже ружья побросали, разделись и к пигмеям попрыгали. Плещутся, играют. А я на берегу сел. Потурецки.

Сию и думаю — что будет, если пигмеи-мужчины сейчас с охоты придут? У них же отравленные стрелы... И тут же, как из-под земли, появляются шестеро пигмеев. Они идут тихо, легко, цепочкой, и у каждого в руках — трубочка. Смотрят в землю. Поднимаю я ружье, прицеливаюсь в первого и стреляю. Он падает как металлическая мишень в тире. А я кладу остальных, одного за другим.

...

Тут я проснулся. Светло уже. Тихо в лагере. Спят, что ли, еще? Отдернул полог у Никулинской палатки. Заглянул. Нет

Никулина. Только трубка холодная на полу лежит. Где же он? Заглянул к Жабе — и его нет. И остальных тоже. Пустые палатки. Начал звать. Заорал как бешеный. Из лесу эхо ответило. Или завыл кто? Может, они на охоту без меня ушли? Без ружей? Вот они все, тут, в железном ящике. Встали и в лес поперли? Чтобы надо мной посмеяться? Может, их звери дикие растерзали? Или повстанцы похитили? Или нас всех, пока мы спали, пигмеи отравленными стрелами отделали? Тогда и меня бы убили. Тут мне страшная мысль в голову пришла — может быть, мертвый я? И все, что перед собой вижу — это загробный мир? Смерть всегда рядом со мной стояла. Как холодный каменный истукан. Холодом этим часто на меня веяло. А тут, вдруг, самое нутро мое страх заморозил.

Тут я змею увидел. Кольцом свилась. На чем это она лежит? На рубашке на Крысиной. Иветта ему неделю назад купила. С муравьедами рубашка. Смеялись все. Говорили — тебе с крысами лучше бы подошла. А сейчас на ней кобра устроилась. Голову подняла, и раскачивается. Полосатая. Чешуя металлом отливает. Прямо в глаза смотрит. Гипнотизирует. Знаем, читали. Приподнял я медленно ружье, прицелился в капюшон и саданул. Не знаю, что за патрон был в ружье. На слона зарядил Никулин? Ни змеи, ни рубашки не нашел. Как сдуло.

Стал опять орать, друзей звать. Без толку. В лес идти не хотелось. Темно там. Змеи. Пошёл по просеке. Помнил, метрах в четырехстах от лагеря переезжали мы речушку маленькую. Вода даже до полколеса не доставала. Решил до речки дойти, умыться. Шёл, шел... Нет речушки. Что за напасть? Назад потащился. У нашего баобаба меня сюрприз ждал. Не было на поляне ни джипа, ни палаток, ни железного ящика с оружием! Даже уголки от палаток, в землю как колышки вбитые, исчезли.

От этой новой пропажи я не отчаялся, а наоборот — стало мне почему-то легко-легко, как будто вес потерял или ответственность с меня сняли. За жизнь, за тело. И на душе прояснилось, как в небе после грозы. Ни страха, ни беспокойства, ни надежды...

Впал я в иступление, начал дурить. Вокруг баобаба обежал раз двести. Кружился и трясся как хлысты-трясуны.

До головокружения и икоты. Прыгал, визжал, пел. Потом замер как ящерица и долго на лес глядел. В темноту всматривался. Может, кто оттуда выйдет? Размышлял о божественном и земном. И вот к какому выводу пришел — зря люди всю жизнь стараются, из кожи вон лезут. Не смотрит никто на нас. И не слушает. Одни мы. Вспомнил я тут свою глупую жизнь и захохотал. Целый час смеялся. Потом долго на Солнце глядел. Сделал открытие — Солнце по небу не плывет, а торчит всегда на одном месте. Только днем оно — сверкающее блюдце, а ночью — черный котел.

К вечеру пить захотелось мучительно. Полез на баобаб, напился черной воды из дупла. Вода была кислая. Нашел место поудобное среди толстых ветвей, прилег. Свистело и стрекотало так, что уши закладывало. Ревели джунгли как ураган. Как лешие бегали по толстым веткам баобаба тени. Трещал огромный ствол. Тихо шуршали лапками бесчисленные муравьи. Земля беззвучно летела в пустоте. Мое сердце не билось.

## ВОЛЬКА

Волька любил дочку еще до ее рождения. Чуть от страха не задохнулся, когда вернувшаяся из роддома Эля дала ему ребенка на руки. Боялся, что головка оторвется и упадет. Посмотрел на сморщенное личико новорожденной, на которое свисали длинные влажные черные волосы, и понял, — с ребенком что-то не то. За первые три месяца жизни его дочь ни разу не засмеялась. Ни ему, ни матери, ни бабушкам, ни дедушкам. Как ни трясли перед ней разноцветными погремушками, как ни целовали в животик, как ни пели песенки-считалочки... Аты-баты шли солдаты... Когда Санечке было пять месяцев, Волька заметил в выражении лица дочери что-то нечеловеческое. И не звериное. Ему показалось, что он увидел сладкую гримасу дьявола.

Когда ребенку исполнился год, платная детская врачиха Софья Соломоновна долго объясняла обмершим родителям что-то про гены, про резус-факторы, упомянула о том, что евреи слишком часто заключали браки между двоюродными братьями и сестрами, а потом огласила приговор — Санечка останется слабоумным инвалидом, без надежды на улучшение... С глаз не спускать, иначе сама себя поранит... Дай Бог, чтобы в туалет научилась ходить. Всю жизнь будет как годовалый ребенок, только тело постареет. Проживет лет двадцать пять. Пенсию дадут. Инвалидную. Если фиктивную справку о работе достанете. Рублей сорок. Можно и в клинику сдать. Тут у нас, под Новгородом, есть учреждение. Сразу хочу предупредить — для Санечки там двери ада откроются. Полный инвалид. Да еще с пятым пунктом. Решайте сами. Детей вам больше заводить не рекомендую.

Санечку оставили дома, окружили заботой и любовью. Наняли домработницу. Она оказалась воришкой. Украла несколько серебряных ложек и исчезла. Наняли другую. Эта была получше, но у Санечки появились на теле синяки, а в

небольшом баре под телевизором начал сам собой испаряться коньяк. Третья продержалась около двух лет, потом заявила, что устала. Уходя, захватила Элину зимнюю шубу...

Жили Волька и Эля как автоматы. День прошел — и слава Богу. Работа, сон и забота о больной дочке занимали всю его тысячу с небольшим быстро летящих минуток. Ни на что другое не хватало сил и времени. Изредка ходили в кино. Так и прожили семнадцать лет. Санечка к этому времени достигла роста и веса десятилетней девочки. По-маленькому ходила сама. Ела руками. Смотреть на это было неприятно. При посторонних родители кормили ее ложкой. Ходила хорошо, даже говорила. Чаще всего громко повторяла услышанное.

Эля привыкла к жизни по расписанию. Облегченная работа (она была лектором политпросвещения) позволяла ей планировать день. У нее появился близкий друг — театральный режиссер, очаровательный рыжий еврей, провинциальный гений, кочующий между Ленинградом и Вильнюсом. Он жалел и любил Элю. Таскал ее на репетиции. Отвлекал и развлекал как умел. К Вольке презрения не испытывал, наоборот, уважал его за стойкость. Совесть его не колола, потому что он был уверен, что дает Эле то, что затюканный жизнью Волька дать не в состоянии — иллюзию счастья.

У Вольки никого кроме жены и дочери не было. Он работал на радиозаводе инженером. После трудового дня сидел с Санечкой. Выводил ее гулять. Стирал. Готовил. О театральном режиссере догадывался, но не знал, как далеко это зашло, жалел жену и закрывал на все глаза. Развлечений у Вольки было мало. Телевизор он не любил, радио слушал достаточно и на работе. Собираение марок, которым он увлекался в детстве, Волька забросил. В редкие свободные минуты читал. На серьезную литературу Вольке не хватало нервов. Предпочитал детективы и фантастику. И поговорить ему было не с кем — многочисленные в прошлом друзья потихоньку оставили их печальный дом. Высидеть несколько часов рядом с психически больным ребенком мог далеко не каждый. Но и этот, терпеливый, попробовав этого удовольствия пару раз, на третий раз заболел гриппом или уезжал

в срочную командировку. Эля часто работала в поздние часы. Родители вечерами не приходили. Слоняющиеся по улицам пьяные пролетарии запросто могли ударить незнакомого прохожего бутылкой по голове. На перекрестках тусовались группки подростков. Они были еще опаснее своих отцов и старших братьев. Да и тротуары никто не чистил. Карабкаться пешеходам приходилось по скользкому ледяному насту. Поэтому Волька был почти каждый вечер один с своей больной дочкой. Хлопотал по хозяйству и говорил с ней часами. Рассказывал про свой завод, обсуждал политические новости, рассуждал на отвлеченные темы...

Шел ноябрь 1982 года. Волька пришел с работы, отпустил домработницу, накормил Санечку, поел и занялся уборкой. Заговорил по инерции о том, что было тогда у всех на устах — о смерти Брежнева.

— Еники-беники. Тревожно что-то. Не знаю, что теперь с Союзом будет, — начал Волька.

— Будут мокрые штанишки! — откликнулась Санечка неожиданно впад низким, громким, настырным голосом.

— Ели вареники. Коммунистическая идея будет теперь разжижаться. Отступит на второй план. Главным политическим содержанием советской жизни станет борьба наследников. А они все старые. Сами умрут скоро. Им будет не до коммунизма. А Союз-то на одной идеологии держится. Как на цепочке. Исчезнет идея — начнет разрушаться базис. Производство остановится. А потом и надстройку всю как в центрифуге разнесет. Социалистический лагерь рухнет... Вышел упрямый матрос... Никто нас не любит. Поляки, вон, как волки смотрят, укусить хотят. Папа Римская воду мууутит, — шутливо протянул Волька, вытирая пыль на книжной полке, с которой косилась «Девушка с тремя глазами» Пикассо.

— Мутит, мутит, папа! Будут мокрые штанишки! — грозила Санечка.

— Ты только подумай, дорогая моя дочка, — убеждал Волька. — Ведь дело хаосом кончиться может. Потому что советская пирамида стоит не на основании, а вверх ногами — на вершине. На одном человечке все держится. А он взял, да сыграл в ящик. А что же будет с нами? Ведь на Руси во всем



евреи виноваты. Служили им, служили, а потом... Еще и погромы начнутся. Тут всегда чем-то подобным пахнет. Смертью пахнет. Аты-баты шли солдаты!

— Баты! Баты! Санечкиными писюлями пахнет! — жаловалась Санечка. — Во всем папа виноват. Папка-дядька! Он Санечке штанишки не передел. Мокрые штанишки-то! Надо новые надеть!

Она взяла Вольку за руку и повела в свою комнатку с половинкой окна, отделенную тоненькой самодельной стенкой от спальни родителей.

— Твоя мама этой власти служит. Дедушка Пиня за нее с фашистами сражался. Проливал кровь. Дедушка Сеня не воевал, он в органах работал. Говорят, проклятье есть такое — потомки палачей дураками рождаются. А у нас дураков-то и нет. Только дурочка есть одна. Но она — самая сладенькая в мире дочка Санечка... Что бы я без тебя делал? Весь мир мне чужой... Еники-беники!

— Беники, беники! Описалась Санечка. Понимаешь ты? Описалась! Штанишки мокрые. Папка-дядька! Хочу писю тереть!

Научила мастурбировать Санечку не природа, а одна из ее нянек. За что и была уволена. Волька делал вид, что не замечает, что делает дочь. Он по опыту знал, что запреты и воспитание на Санечку не действуют, только вызывают у нее вспышки ярости. Да и не понимал, зачем бороться с единственным удовольствием больного ребенка.

Волька продолжал говорить:

— Вот так, малышка, похоронили его у Кремлевской стены. Все чин по чину. Аты-баты. Только стукнули хлопцы гроб незабвенного нашего Леонида Ильича об мерзлую землю. Так, что из всех ста миллионов телевизоров треск раздался. Не к добру это. Может и специально долбанули. Чтобы советские труженики осознали торжественность момента. Кто знает? Говорят, он был еврей. Похож немного. Особенно в профиль. Упорный старик. До конца свою линию гнул. Жилье строил. А то, что книжки писать начал, так это референты, небось, надоумили. Сами и написали, а старику на подпись подложили. Войну в Афганистане начал. Устинов, наверное, уговорил! Лёня женщин любил. Замужних, зрелых, в соку. Мужей повышал в чине. Семьи квартирами одаривал.

Санечка уже хрипела и жужжала от экстаза. Волька был рад, что дело к концу идет. Каждый раз, когда дочь делала это у него на глазах, чувствовал себя не в своей тарелке, стеснялся. Ему представлялось, что Санечка — заводная пчела и что это он заводит ее, заводит как игрушку, металлическим ключиком. А пчела жужжит...

— О, господи! — восклицал Волька. — Идет вечер, стучат часы. Стучат. Проходит все, все проходит, ничего не остается. Куда мы все легим? Заводные пчелы. Когда-нибудь прилетим в бетонный улей. Стукнет и нас время о мерзлую землю. Добро пожаловать, товарищи, в вечность. Еники-беники ели, ели вареники и все равно все померли! Жил дорогой наш (голосом Брежнева) генеральный секретарь Брежнев Леонид Ильич и умер. Похоронили вчера. А забыли сегодня. Как будто он не человек был, а облако. Или минутка. Прибежала, отстучала свои секундочки маленьким молоточком по нервам и испарилась. И нет ее, сожрала ее пустота. Время все сжирает. Что это вообще такое? Абстракция. Нету времени на самом деле. Все стоит в пустоте, мертвое. А тикать часики начинают, только когда человечек из яичка вылушивается. Т.е. время вместе с жизнью рождается и со смертью опять останавливается. Без нас его и не было бы вовсе. Мы его толкаем. На кой черт? Да... Шла машина темным лесом... За каким-то интересом. Когда же эта машина их всех заберет? И Дмитрия Федоровича и Константина Устиновича и Юрия Владимировича. Скажите мне, космические муравьи, кто теперь нашего горячо любимого медалью Жолио-Кюри наградит, лично... Кто ему ружье с изумрудами подарит? Будет он в заоблачных высотах небесных оленей из рогатки бить. Я бы понял еще, если бы в природе хоть какой-то смысл, какая-то справедливость была. Хоть малюсенькая. За доброе дело — вознаграждение. За злое — по шеям. Так ведь нет. Нету. Одна смерть на всех. Вот, мы хотели общество особое построить. Коммунизм. Природу подправить. А что вышло? Сами не поймем. А дальше, что? Обратный отсчет времени уже пошел. Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Знаешь, доченька, какой у нас на заводе цирк начался?

Санечка не отвечала. Она уже испытала высшую радость тела и сладко сопела, засыпала. Волька осторожно отнес ее в

ванную, посадил, обмыл теплой водой, вытер и положил в кровать. Сам сел рядом, гладил дочку по голове и продолжал говорить шепотом.

— Петя Беркутов, наш зам начальника снабжения десять тонн стальных прутков налево продал. Да. Аты-баты. А с директором, Приговым не поделился. Нам Вачнадзе рассказывал. Хохма вышла. Продал он пруты колхозу «Литейный», дело обстряпал с председателем Васяниним. А этот Васянин давний корешок Приговский. Ну вот, вызывает Пригов Петюню и говорит — ты что же, Петруччо хренов, вытворяешь? Мои же прутья моему же кадру продаешь мимо меня! Мимо начальника снабжения. Мимо завода. К прокурору захотел, сволочь! Тут условным не обойдешься, как в тот раз с медяшкой. Тут три полновесных годика тебе светят. Или пятерик. Аты-баты на базар. И что ты думаешь, Санечка? Растрепали Петюньку на дознании. Прокурор-то рад стараться. Хищение социалистической собственности! Только хохма на этом не кончилась. На суде много грязного белья вылезло. Петюнька, говорят, орал в полный голос:

— Топите меня, топите! И я вас всех в кислоте утоплю! Не отвертитесь! Хочу показания давать. На директора Пригова, зав. складом Добровольскую, любовницу его, и на старшего инженера Боткина.

А это куда тяжелей десяти тонн железного прута и ста кило меди весит. Потому что сырье опасное, да еще — преступная группировка, государственное дело пришить много. У прокурора челюсть отвисла от набежавшей слюны. Тут, говорят, и Пригов распахнулся. Петюньке грозил язык выдернуть, прикрикнул и на судью. А та взвилась. Бывалая баба, всего тут у нас накушалась. С Добровольской истерика. Боткин за сердце схватился, валидол ему дали. Публику из зала вывели, одного Вачнадзе оставили. У того нервы в порядке. О чем они говорили, не знаю. Только Петюньку-глупого потом все-таки засадили. Не помогла ему кислота. Против лома нет приема. Боткин в больничке отлеживается. Пригов — не поймешь, то ли под судом, то ли нет. На заводе болтают, Вачнадзе новым директором будет. Этот — жучище. Ушлый. Снабженец старой школы. Не какой-нибудь романтик... Весь Кавказ с нашего завода жить будет!

Тут Волька услышал скрип входной двери. Заботливо подоткнул дочери одеяло и вышел в коридор. Встретил жену. Сели чай пить. Потом легли. В постели Эля неожиданно для Вольки разрыдалась. Он принялся было её утешать. А она объявила ему, что беременна от театрального режиссера, что уходит к нему жить, уезжает в Ленинград. От горя и смущения Волька даже забыл сказать жене, что Санечку надо завтра везти к двенадцати к зубному врачу, а он не может уйти с работы.

...

Прошло еще тринадцать лет.

Волька оставил свою белую Ауди на подземной стоянке в здании фирмы. Решил пройтись. Поздняя осень в Тель-Авиве — чудесное время. Дышится легко. Шел и думал о том, что Санечке надо купить новые чулочки — старые поистрепались и некрасиво смотрелись на ее длинных чистых полированных ногах. Зашел в магазин. Знакомый продавец увидел богатого покупателя и сразу расплылся в подобострастной улыбке.

— Шолом, господин Вольфсон, опять дочке подарки делать хотите?

— Чулки новые хочу купить. Но не нейлоновые, а цветные, вязаные, теплые. Мерзнут ножки у моей куколки.

Продавец запричитал:

— Такое несчастье, так тяжело, когда дети болеют... Посмотрим... Да, вот тут они, на полочке, только размерчик замятовал...

— Средний давайте, на десятилетнего примерно ребенка...

— Понимаю-с, вот, посмотрите... И теплые и с кружачиками, подойдет?

— Давайте, и эти, шахматные, тоже заверните...

Волька вышел из магазина. Посмотрел на улицу, на дома. На секунду им овладело мучительно-экстатическое ощущение отчужденности. Дома, фонари, сумеречный лиловатый свет... Чужой курортный город и он... Его тело не хотело быть здесь, рвалось вон из этого лилового пространства как сошедший с ума жемчуг рвется вон из золотой оправы и падает на пол и скачет по паркету и закатывается в пыльный угол.

Он дернулся, кашлянул, с трудом взял себя в руки. Гулять больше не хотелось. Поспешил домой.

В почтовом ящике лежал помятый советский конверт.

— Письмо. Оттуда. Как это всегда фатально. Лежит предмет. Ждет тебя, как крокодил — антилопу. Потом — хватать! Кажется, тещин почерк. Неужели не надоело ей жаловаться и денег просить? Как это гнусно, постоянно напоминать человеку о его боли. Потом прочитаю, не хочу вечер портить.

Из-за двери послышалось: «Папка-дядька, папка-дядька!»

— Сейчас, сейчас, милая. Я должен переодеться...

— Нет, нет, нет... Санечка одна. Одна. Как жемчуг.

— Милая моя, солнышко мое, жемчужинка, я сейчас...

— Хочу подарки!

— Будут подарки. Я тебе новые чулочки принес! Теплые, с кружавчиками и шахматные...

— Поцелуй-покажи! Поцелуй-покажи!

Волька вошел в помещение дочери. Это была роскошная, почти круглая комната, с огромной кроватью посередине. На полу валялись игрушки — большие плюшевые звери. Игрушки висели на стенах и даже с потолка спускались веревочки, на которых качались оранжевые тигры и белые носороги. На кровати, под пунцовым атласным одеялом лежала Санечка — рот ее был открыт, она смотрела неподвижными стеклянными глазами в потолок, искусственные зеленые волосы разбросались по белоснежной пухлой подушке... Волька сел на кровать, распаковал и показал Санечке купленные чулки, положил их на одеяло, поцеловал дочку в холодную нижнюю губку, наскоро причесал ей волосы и вышел из комнаты, оставив дверь открытой.

— Поцелуй, покажи, а сама на чулочки внимания не обратила... — ворчал Волька. Вошел в ванную. Разделся. Крикнул Санечке:

— Малышка, не хочешь со мной в теплой ванной полежать? Места хватит. Ванная в его шикарной квартире была большая, там не только отец с дочерью, но и еще пять человек могли бы разместиться.

— Папка-дядька, хочу-полежать, хочу-полежать... — заголосила Санечка.

Волька пустил горячую пенную струю, выдавил в воду немного жидкого зеленого мыла и направился в комнату дочери. Выдернул ее одной рукой из-под одеяла, сунул под мышку как папку и отнес в ванную. Там он обернул ее холодное пластиковое тело специально припасенным для таких случаев тяжелым водолазным поясом и посадил Санечку, прислонив ее головку к изящному кафельному барьеру. А сам пристроился напротив, так, чтобы его правая нога легла ступней на промежность дочери.

— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Да, моя жемчужинка, убили нашего Ицхака... Прикончили. Вот тебе и Шир а-Шалом... Фанатик пристрелил. Красавец Игаль...

— Игаль, игаль, — повторяла Санечка.

— Ах ты моя маленькая дурочка, куколка, девочка моя нежная, сладенькая моя конфеточка... Рабин думал, с арабами можно о чем-нибудь договориться. Думал, думал и в суп попал... (поет) Рош а Рош а-мемшала, ты на кладбище пошла... Еники-беники клёц... Клёц — и застрелили Рабина. И тут пирамида проклятая вверх ногами стояла. И все разрушилось. Не потому, что он хороший или плохой. А потому, что Израиль не хочет отдавать захваченные земли. Не может отдать. Верит до сих пор в старые обещания, которые сам себе и дал. Верит в Тору. А Тора — это финтер, квинтер, жаба!

Санечка на это откликнулась картаво: «Заба! Заба!»

Волька запричитал:

— Шла машина темным лесом... За каким-то интересом... Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Жаба пять, жаба пять, жаба триста тридцать пять!

Санечка тоже замулькала хриплым дискантом:

— Заба пять, жаба пять.

— Не отдадут они землю. Жадные. Скорее дадут себя поджарить. А если отдадут, то нам точно конец. Сбросят нас в море. Поедем в Уганду или в Алабаму. Одна надежда — арабы сами себя загрызут. Истерзанный волчий народ. Воспаленные люди. Огненные петухи. А еврей? Спесивые кривляки! Религиозный маскарад устроили! Перед кем кривляетесь? Неужели и в самом деле думаете, что Он на вас сверху глядит? Божьи избранники! Надменные до скрюченности.

Скачущие козлы. Бегут-спешат, (заговорил быстро) бегут-спешат-бегут-спешат. (Медленно, громко и безумно) Тик-так, тик-так! (Быстро) Тик-тик-тик...

Санечка поддержала отца:

— Тик-тик, так-так! Тик-тик, так-так!

— Говорят, там с выстрелами какая-то неувязка. Везли долго. Холостые пули. Чепуха. Убили и ясно за что. Аты-баты!

Тут Волька громко застонал, но не от траурных мыслей, а от блаженства, распространяющегося волнами по всему его телу от большого пальца, залезшего в раскрытую резиновую вагину куклы...

Через несколько минут вытрясенная, вытертая и причесанная Санечка уже лежала под одеялом в своей кровати, а рядом с ней лежал ее голый отец. Он гладил ее, одетые в новые цветные чулочки, ножки.

— Милая моя, милая девочка. Жемчужинка моя. Какие худенькие, длинненькие у тебя ножки. Из лучших сортов пластмассы. В Европе делали, по индивидуальному заказу. Имя у тебя было странное — Кристина. Но я-то знал, что ты не Кристина, а моя маленькая Санечка. Вернулась ко мне. Оттуда. Сейчас мы твои ножки осторожно разведем и папа ляжет на тебя. Еники-беники! Папка-дядька сделает то, что мы с тобой так любим делать вместе. Без чего твой папка давно сошел бы с ума и умер в этом лиловом сумеречном аду. Еники-беники! Утром и вечером, в теплой кровати, под мягким одеялом... Лети пчелка, лети...

Волька навалился на куклу и начал свой одинокий труд. Трудился долго... В поте лица своего. Качался и напевал:

— Аты-баты, аты-баты, тик-так, тик-так.

Через час отвалился от куклы как пьявка от жертвы, сытый, удовлетворенный. Затем поспал недолго. Потом встал, пошел на кухню делать кофе. За кофе вскрыл, наконец, конверт. Писала, действительно, его бывшая теща.

— Должна тебе сообщить, что Эля, ее муж и двое их детей зверски убиты. Страшное преступление. Перед смертью их пытали. Внука и внучку повесили. Тела родителей нашли расчлененными, обожженными, со сломанными костями. Глаза выколоты... Не могу писать, плачу... Вся квартира раз-

громлена. Видимо, искали гонорар за спектакль, который Марк получил в театре. Наверно, свои и навели бандитов... Ты знаешь, какой ужас царит сейчас в нашей многострадальной стране. Правильно ты сделал, что уехал. Похороны состоялись в октябре. Их оплатили родители Марка. Сеня не вынес горя, ушел от нас. Его кремировали две недели тому назад. Достоин похоронить его я не могла, не на что. Урна стоит до сих пор в шкафу. Может быть, ты бы мог передать деньги с Фельдманами? Они едут сюда праздновать Новый год. Тогда и памятник общий поставим. Белая мраморная плита, не дорого. Я думаю, полторы тысячи долларов хватит на все. Дорогой Волька, никогда не могла понять, как ты смог вынести смерть Санечки. После ухода твоих родителей она оставалась единственным близким тебе человеком. Теперь я сама должна пережить смерть самых дорогих мне людей. Не знаю, за что мне такое наказание на старости лет. Не нашла твой телефон, только адрес в записной книжке Сени.

Волька отложил письмо в сторону. Его лицо не отражало особенного волнения или горя. Он тихо, на цыпочках вошел в комнату дочери, сел на пол рядом с кроватью и зашептал:

— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Тик-так, тик-так, тик-так... Лети пчелка.



## КОЛЯ И ПЕТЯ

Тринадцатилетний Коля сказал двенадцатилетнему Пете: «Ну и чё?»

Петя ответил Коле: «А ничё».

— Чё — ничё?

— А все — ничё.

— Петяй, ты, что, совсем фишку перестал сечь? Что Егорыч на твоём рисунке написал?

— Что-что... Написал — хорошо, только звезды слишком цветастые. А я чё? Какие есть карандаши, такими и рисую. Ты, говорит, свет должен показать. Звезду ему надо. Залупа!

Петя поднял прутик и начал яростно хлестать листву.

— Во, бля, свистит как чайник. Ты, Колян, давай прутами хлестаться! Дуэль устроим. Как Лермонтов с этим, забыл, ну как его... Дубровский-горе-от-ума! Помнишь, на рус-язе рассказывала Марксина?

— Ты, Петяй, знаток. У Печорина с Швабриным была дуэль. Понял, дочка капитана Гранта? На мясорубках... Только чур — по яйцам не бить...

Друзья ушли с улицы в кусты, заговорчески поглядывая по сторонам. Коля отрезал перочинным ножиком два длинных прутика. Гибких, свежих, пахнущих кислой древесиной. Петя деловито сравнил прутики, показал грязным пальцем на разницу в длине. Коля хмыкнул, аккуратно срезал лишнее. Полубовался. Затем вытащил спичечный коробок, вынул две спички, с хрустом сломал одну и выкинул половинку без головки, другую половинку приложил к целой спичке, поколдовал и провозгласил:

— Тяни! Длинная — первый удар.

Петя вытянул короткую.

Мальчики встали друг против друга. Коля похлестал прутиком воздух, сплюнул через обломанный клык и ударил друга сверху по левому плечу. Так, чтобы захлестнуло по

спине. Петя дернулся от режущей боли, но не вскрикнул. Широко размахнулся и хлестнул Колю по ногам. Коля скривился. Поднял прут, но сразу не ударил, а заговорил.

— Петяй, ты чё? Прервем дуэль. Понял? Пока ты в штаны не напрудил! Жаловаться к маме не побежишь? Зассыха! Ха-ха-ха!

И, не дав другу ответить, зверски хлестнул Петю по почкам. Это был его коронный удар. Петя втянул судорожно воздух, обхватил руками бока и упал на землю. Но не заплакал. Только сосредоточенно тер ладонями опоясывающую его талию багровую полосу, кое где сочившуюся кровью. Через минуту встал. И ударил Колю по лицу. Так сильно как мог. Кончик прута зашипел как гадюка и ужалил Колю в губы.

Рот Коли закипел кровью как маленький вулкан. Обеими руками прижал он губы к лицу, боясь, что они оторвутся, упадут на землю и уползут в мышиную нору, а он, их бывший хозяин, должен будет всю жизнь жить без губ. И не сможет с девочками целоваться.

Такого безгубого инвалида мальчики видели каждый день по пути в школу. Он сидел на перекрестке и милостыню просил. Звали его дядя Витя. Ног у него не было, вместо рта зияла неправильной формы дырка. Верхняя часть его тела была одета в старый бурый пиджак. На пиджаке болтались, позвякивая, две медали.

Нижняя часть его тела помещалась в складчатом кожаном мешке, прибитом железными скобками к четырехколесной тачке. Казалось, что колесики тачки это его ноги.

Дети не жалели дядю Витю. Кидали в него камешки с безопасного расстояния. Особенно храбрые подбегали, плевали в лицо, норовя попасть в дырку, и удирали. На дразнящих его детей инвалид реагировал бурно. Размахивал руками, утробно рычал, пускал из пасти пену. Пускался в погоню, работая как горилла длинными мускулистыми руками. Но догнать не мог. Один раз, впрочем, догнал — мальчишка поскользнулся, упал, оцарапался и заскулил, приготовился к смерти. Подскочивший к нему дядя Витя не задушил его, а погладил по растрепанным волосам, посадил на бордюрный камень. Просипел в свою дырку:

— Не плачь, сынок... До свадьбы заживет... Вставай, беги!

Похлопал по плечу, вытер слезы носовым платком. И поехал на тачке на свое место, где лежала его засаленная кепка. В ней сверкало несколько медяков...

...

Коля оторвал руки от рта и посмотрел на них — крови почти не было. Осторожно потрогал губы и зубы. Все было на местах. Обрадовался и грозно поднял прут. Петя не выдержал и побежал. Его свербил нечистая совесть. Коля дёрнул за ним. Догнать Петю, лучшего игрока в салочки на их улице, было нелегко. После долгой погони, Коля все-таки догнал Петю, в прыжке сбил с ног и покатился вместе с ним по земле. Вскоре бой закончился. Петя тоже получил по губам, но не прутиком, а кулаком. А Коля был укушен в руку, чуть повыше локтя. Противники встали, отряхнулись, заклеили раны листьями подорожника, выдернули колючки и пошли дальше по благоухающей акациями аллее, ведущей к Высокому берегу. Как ни в чем не бывало...

Петя спросил: Колян, а ты что нарисовал?

— Ракету, космонавта и марсианина. Космонавт в скафандре. Марсианин на семи ногах, на башке антенна.

— Ну и чё Егор?

— Ворчал, объяснял... На Марсе, видите ли, атмосферы нет. Марсианин тоже должен носить скафандр. Я спросил — как же он там по-маленькому ходит? В скафандре, что ли? Понял? Все заржали... Егорыч меня из класса выгнал.

— А что поставил?

— Кол влепил, хер немыйтый. Отец дневник проверял, обещал в субботу выпороть.

— Да. Залупа! У твоего отца ремень — бульдог.

— С бульдогом договориться можно, а с отцом полный отсос.

Друзья сели на скамеечку. Петя сосредоточенно рассматривал муравьев, которые устроили под скамейкой маленькое поселение. Взял в руку веточку и начал ломать пирамидки с дырочками у вершины. Муравьи беспокойно забегали возле своих норок. Петя встал и затоптал их ногами. Одного за другим.

Коля сидел и в носу ковырял. Старался вытащить из правой ноздри засевшую в ней большую и твердую козюлю. Вытащил. Рассмотрел и бросил ее щелчком. В небо.

## В БОЛЬНИЦЕ

Заболел у меня живот. И раньше бывало, конечно. Пережор. Перепой. Или несвежая сайра.

Как-то не так заболел. Как будто железный шкаф проглотил. И давит шкаф изнутри твердыми углами. Там, где давит — горячо. Не шкаф, а печка.

Обидно болеть в субботу. Свободный день на такую дрянь тратить. Лето. Подружки ждут. Листики на московских деревьях еще не побурели, а у тебя шкаф в животе. И предчувствие неприятное. На сей раз не отделаешься. Глубоко копнуло. Страшно? В восемнадцать лет все страшно. Потому что тело гудит как орган и все его клеточки кричат тебе — живи, танцуй, радуйся! Так хорошо, как сейчас, никогда больше не будет.

Позвонил отцу на работу. Секретарша долго не соединяла. Занятость демонстрировала.

— Пап, у меня живот болит. Сил нет. Не знаю, что делать...

— Матери звонил?

— Нет.

— Правильно, зачем ее тревожить. До районной поликлиники дойдешь?

— Нет, не дойду, как встану — сгибает. Скорую вызывать?

— погоди со скорой. Я тебе сейчас Игоря пришлю. Выходи минут через пять. Отвезет тебя в нашу ведомственную. К Луизе Исааковне иди, кабинет 118, она посмотрит тебя, направит куда надо... Я пошел, у меня редакционное совещание начинается.

Шкаф еще горячее стал. Ох, ненавижу я врачей. Ладно. Может и помогут. Люди в белых халатах... Чтобы их так скрючило! Боже, как больно. А если лифт застрянет? Восьмой этаж. Тогда мне хана.

Вышел, согнувшись, из подъезда. Игорь уже ждал. Заднее сиденье у казенной Волги широкое. Можно прилечь. Какие у шоферов шеи толстые. Бычьи. Бык. Даже морду не повернул. На мое «здрассте» не ответил.

В поликлинике все у меня перед глазами взад-вперед поехало. Поскользнулся, но не упал. Сел на стул. Какая-то тетка в белом халате подошла, спросила:

— Вам куда? Вы кто? Это стул только для персонала, на нем сидеть воспрещается. Вы к кому пришли?

— Я никто, человек просто... Я к Луизе... пришел. Отчество библейское. Забыл... Я, видите ли, шкаф проглотил... жжет собака! Во, вспомнил... К Исааковне. Был, знаете ли, у Авраама сынишка, его родной папаша заколоть хотел... Все-сожжение устроить... А Бог ему баранчика подсунул, да... Под нож.

Тут подошла еще одна тетка в белом халате. Я расслышал: «Бредит он что ли? Может выпивший? Не похоже... Одет чисто. Что с ним Луиза Исаковна делать будет? Или какой шишки сынок. Нанюхался чего-нибудь... Ты проверь у него вены».

Через несколько минут я сидел в кабинете Луизы Исаковны. Воняло нашатырным спиртом. У меня брали кровь. Проколотая маленькой пикой подушечка безымянного пальца нестерпимо зудела. Из нее сосредоточено высасывала кровь медсестра. Потом выплевывала ее из стеклянной трубочки в пробирку...

Пришел хирург. Большой, умный дядя с усами. Он сказал — похоже, гнойный аппендицит у парня, на стол его надо, пока перитонит не начался. А потом с Луизой шептался.

— Не наш пациент... В Кремлевку ведь так просто не пошлешь. Я не знаю, как в таких случаях поступают... Что, дикость? У нас все дикость. Я на себя ответственность не возьму... Вызывай скорую из Градской... Пусть забирают...

Затем, помню, Луиза меня допрашивала:

— Антон, тебе восемнадцать исполнилось? Ты где прописан? Ты студент? У тебя паспорт с собой?

Я не понимал, что она имеет в виду. Меня жег шкаф. Я корчился, сгибался...

— Восемнадцать чего? Прописан, переписан, записан... Не выскочу. Паспорт? Это что, такая книжечка с фотографией? Или это маленький шкафчик, в котором человек заперт? Сидит там и воет. У него животик болит... Нету с собой паспорта... Только я сам... Студент. Сам с собой. Вызовите доктора...

Потом у меня провалилось все перед глазами. Боль от иголки, беспокойно, как птичка, ищущей вену на сгибе руки, я не почувствовал.

Ленинский проспект. Сирена — сумасшедшая улитка в ухо орет... Кого это везут? Ха-ха-ха! Меня! Странно, боли вроде и нет больше. А шкаф? А шкаф теперь я сам. Нет у меня ни ног, ни рук... Зато есть полки и углы... Откройте меня, потушите пожар!

Из приемного покоя сразу в операционную отправили. Брили прямо на столе. Медбрат брил. Спокойно, ловко. Приговаривал: «Бреем, бреем трубочиста, чисто, чисто, чисто...»

Я пытался его поправить: «Моем, моем...»

А медбрат превратился почему-то в огромную звезду. Она вспыхнула прямо перед глазами, залила все светом и теплом... А на мой живот кто-то выплеснул ведро горячей воды. Женщина в белой маске сказала:

— Потерпи, Антоша, надо кишку вытянуть... Можешь покричать.

И стала она из меня шкаф вынимать. А он выходить не хотел. Тянула-тянула.

А потом маска показала мне длинного белого скрюченного червяка.

— Вот он, весь в гнойных бляшках... Полюбуйся. Вовремя тебя привезли. Через часок лопнул бы отросток. Теперь надо брюшную полость обследовать. Не долго осталось.

Когда меня шили, я слышал хруст. Больно было жутко. Я не кричал, потому что в горле не было воздуха и звуки куда-то делись все. Все, кроме хруста.

Привезли меня в палату. Там был шторм. Железные кровати вздымались как волны — вверх, вниз. Затем пришел добрый медбрат. Он уколол меня в бедро, я заснул. Спал без сновидений. Проснулся вечером. Шкафа в животе не было. Но на его месте поселился оркестр. И играл, играл... А-а-а!

— Это у тебя заморозка отходит, — сказал сосед по палате, длинный, черноволосый, с чёлкой, лет тридцати. — На ночь еще уколец всадят, оклемаешься! Давай пять! Меня зовут Сергей. Ну, Серый. А ты, значит, Антошка. Играешь на гармошке. С язвой я. Две недели уже тут. Процедуры. Прободения боятся врачи. Тут у нас компания теплая — ты, да я, да Пахомыч. У него грыжа... Ущемленная. Три дня назад оперировали. Послезавтра на выписку. Тоже выл, когда отходило. А теперь как новый. Пахомыч, ты бы на бабу лег? Ты только честно скажи! Куда-куда? Ишь, завернул манду в газету. Вот то-то. Три койки еще пустые. К ночи придут... Свято место пусто не бывает. Сегодня Вера Павловна дежурит. Железная женщина. Ты тоже через ее руки прошел. Да ты не кричи, постомай немного... Тут все свои...

— А как медбрата вызвать?

— Ванятку-то? Позвать что ли? Я схожу.

Медбрат прибыл минут через двадцать. Студент пятого курса Второго меда на практике. Ванятка хоть и выглядел еще как пацан, но уже смотрел на пациентов укоризненно. Точь в точь как его любимый профессор, старый хирург Углов.

Ванятка меня успокаивал:

— Потерпи еще пару часов, для шва лучше будет, если мы тебя сейчас не будем химией накачивать.

После его ухода Серый пояснил:

— Ты, Антошка, Ванятку не слушай. Он сейчас твой морфий самому себе в жопу вколает. Все они тут на игле. Погоди, может Вера зайдет, ей скажешь, что невтерпеж...

А я его уже не слушал. Оркестр разыгрался вовсю. Выть было стыдно, хотя и очень хотелось. Свернул край простыни в трубочку, зажал зубами. Отвернулся в стену и плакал потихоньку.

Приходил с кратким визитом отец. Обнял, поцеловал. Отвел в сторону медбрата, дал ему червонец. В полутемной бельевой комнатке нашел нянечку Ильиничну и одарил ее двумя пачками «Золотого ярлыка». Она была так опарашена вторжением в ее мир роскошного мужчины начальственного типа, что даже не успела отдернуть от рта горлышко бутылки крепленого, которую распивала в тишине и покое...

Поговорил отец и с Верой Павловной, которая не без гордости приняла от него модные тогда маленькие золотые сережки-сердечки и сообщила:

— У вашего сына все в порядке. Чистая брюшина. Через пять дней выпишем. А о Кремлевке не жалейте. Уход и еда у них там, конечно, лучше нашего. А врачи все блатные. Оперируют раз в три года. Сколько человек сгубили. А тут — целый день в операционной, руки сами режут... Возьмем Антошу под особый контроль. Клюквы протертой ему завтра принесите.

После ухода отца обескураженный Ванятка все-таки сделал мне укол, пробормотав: «Ну, отец у тебя крутой, Антон! Веру завел, прибежала взмыленная, как рысь. Шприц, говорит, покипяти хорошенько. И вкати ему, чтоб заснул. Это сын такого человека... За нами дело не постоит... Мы вкатим... Нам деньги редко в руки попадают. Живем на стипендию».

Обитатели больницы встают рано. В шесть утра разбудил меня Серый и сразу затараторил в ухо, как будто шариками из подшипника закидал:

— Слушай, Антошка, ночью старичка привезли. Я историю болезни видел — онкологический он, безнадежный. Типенко фамилия. Семьдесят четыре года дедушке. Ровесник века! Стонет все время. Обосрался, а выносить некому. Ильинична бухая в бельевой гоношится, Ванятка дрыхнет... И еще двоих вселили. Капитана брюхатого, слепенького и Филиппыча с железным горлом. Доходягу-алконавта. Капитана ночью резали. Осложненный аппендикс. Располосовала ему Вера брюхо, потому что через весь живот лежал. Три часа его мучили. Под местным делали. Еще не очнулся. Слышь, храпит как конь. А Филиппыча завтра на стол положат. Представляешь, у него ночью кровотечение началось, он еле живой, а под мухой. Готовься, скоро обход будет. Вера обходит, прежде чем смену сдать.

Проговорив все это, Серый мгновенно перешел к Пахомычу, который недовольно и тупо смотрел на новоприбывших и пристроился к его большому мохнатому уху.

После обхода подошел ко мне Филиппыч. Маленький, худой как скелет. Лицо и руки у него были морковные. Глаза — цвета пачки Беломора. Заговорил шипящим шепотом:



— Ты чего тут делаешь, паря?  
— Аппендицит у меня вырезали... Лежу... А у тебя, что, правда в глотке трубка? Расскажи.

— История, паря, такая. Все это, ну... Пятидесятилетие Октября справляли. Добавить хотелось, хоть в петлю лезь. А не было. Шарил, шарил. Нашел бутылочку в кухонном шкафу. Думал, жена запрятала. Не разобрал, что это эссенция. Ну вот, паря, налил я, того-этого, в стакан. И залпом. Сразу понял, что беда. Обожгло нутро. Огнем прошло. Ну я, чего терять-то, и второй стакан долбанул. Поставили мне искусственный пищевод. А он вот... Отторгается. Ночью кровь прорвало, думал захлебнусь и помру. Сюда привезли. Откачали. Резать будут. Мне не в первой. Давай со мной на посошок? И достал из больничного халата четвертинку.

Как я узнал позже, уже первый стакан должен был его убить, укусная эссенция выела пищевод. Второй стакан был самоубийством в квадрате. Но Филиппыч выжил. И жил уже семь лет с трубкой в горле. И пил.

Вера Павловна говорила мне — в туалет сегодня сам иди, не торопись, не тужься. Иди! Сначала сесть надо. Сел. Боялся, что шов раскроется как рыба пасть, и из него внутренности выпадут. Медленно поднялся и пошел в туалет, поддерживая живот. Вот, оказывается, что самое трудное в жизни. Пописать. Нечеловеческие усилия. Три капельки упало. А как насчет того, чтобы на потертое больничное сиденье сесть? Слабо?

Притащился как-то назад, лег. Боль не прошла и оркестр играл. Но не так громко, как раньше. Хуже боли было то, что время перестало идти. Лежишь, лежишь, всю жизнь вспомнишь, всех любимых перецелуешь-переобнимаешь, а время — как было полдесятого, так и осталось... Если бы не сон, затянулся бы день на вечность.

Приходила мать, заглянули пара приятелей и подружка. Потом мне ставили банки, заставляли вставать, есть — все это прошло в тумане как дурной фильм. Голова слегка прояснилась только к вечеру. И боль чуток отпустила. Оркестр затих. Глаза сфокусировались, как объективы.

На улице щебетали птицы. Под потолком, у белого светящегося шара, кружились мухи. Жизнь продолжалась.

А в нашей палате было тихо, все замерло, словно на фотографии. Капитан спал. Пахомыч гладил себя обеими руками по животу, кряхтел. Несчастный раковый дедушка тихо постанывал. Серый с интересом читал газету «Труд». Он был похож на сову в черном парике с челкой. Филиппыч — стальное горло, лежал на своей кровати и смотрел на облупленный больничный потолок, шевелил морковными губами, моргал.

...

Дедушка Типенко вдруг дернулся, как будто его молния ударила, затрясся и громко застонал. Схватился за сердце. Капитан зашевелился, попытался лечь на бок, зарычал от боли... Серый отложил Труд в сторону, бодро соскочил с кровати и, радуясь тому, что может кому-то что-то сообщить, побежал звать Ванятку. Пахомыч пробурчал:

— Ну, будут теперь охи да ахи! Вот, бля, жизнь пошла. Деда в морг надо, а не сюда. А капитана привязать, а то брюхо раскроется. Вот, медицина Страны Советов. Вот она, забота о народе.

Типенко стонал все громче. Неожиданно я понял, что он не стонет, а просит. Умоляет кого-то.

— Сердешная, сердешная, отпусти меня, отпусти... Пре-до мной смерть стоит. Косой сердце режет... Косой. Сердце. Режет... Сердешная.. Сердешная... Отпусти, Броня, дай помереть спокойно...

Речь его прервалась. Мне показалось, что та часть палатного пространства, где лежал Типенко, опустела.

В комнату вбежали медбрат и Серый. Ванятка деловито взял костлявую руку старичка, пощупал пульс, вздохнул, затем закрыл тело одеялом, снял койку, стоящую на колесиках, с тормозов, посмотрел укоризненно на нас, и увез Типенко из палаты. А через некоторое время привез пустую койку назад. На ней лежало свежее серое белье и старое одеяло.

Филиппыч икнул, тяжело закашлялся и прошипел:

— Царство небесное, вечный покой... В приемном покое вместе ночью были. Говорил. Студенька просил принести. С хреном. Того-этого. Надо покурить пойти. Тяжело, когда человек в сырую землю идет...

Серый проговорил философски:

— Вот так и кончается все... Зачем живем? Как скот. А потом смерть с косой. И койка обосранная. В говне умер дедушка. Ему еще повезло. Я тут такое видал за две недели. В соседней палате один от пролежней умирал. Толстый такой. Ревел, ревел, а потом пёрнул как слон и помер.

Пахомыч пробурчал в сердцах:

— Медицина это? Страна советская, все для людёв? Я вас спрашиваю, все для людёв? Так-то...

...

В ту ночь мне наша палата приснилась. Все спят. А Типенко как будто все еще на своей кровати лежит. Я смотрю во тьму и вижу — встает Типенко на воздух и летит ко мне. Садится у меня в ногах. Достает откуда-то тарелку со студнем и начинает его руками есть. Мне гадко, но я молчу... Доел Типенко студень, пальцы вытер вафельным полотенцем, повернулся ко мне и заговорил страшным загробным голосом, сверкая во тьме перламутровыми бельмами:

— Студенёк знатный. Холоднёвский и с хренком. И смальца на ём как песочек лежит. Без хрящей, только дольки мясные собрала Матрена Ивановна. Ножки свиные были как у младенцев пяточки... Ты, сопляк, а я Блокаду пережил, не помер. Ленинградский я, понимаешь. Думаешь, там все как в книжках написано было? Героизм защитников? Хрен им в рыло. Людей мы ели. Студень из трупов варили. Понятно? Иначе никто бы не выжил. Все, кроме холуёв сталинских, эти в три морды жрали. Была у нас соседка, Броня. Безработная. И без пайки. У меня с ней до войны было... Когда жена на службе... Крутили. Туда-сюда. Умерла Броня в феврале сорок второго. Ну так мы дверь к ней и взламывать не стали. У меня ключ был. Перетащили мебели к нам. Порубили на топку. И труп забрали... Я топором её расхрякал. На буржуйке варили. В кастрюле. Несколько кусков мяса я на рынке на соль и хлеб обменял. Говорил — конина. Потом все забыли. Из головы вон. Жить хотели. А вот как заболел, стала ко мне Броня приходить. Ты, Егорыч, говорит, меня ел, теперь и мне твоего мяса поесть охота... Выела она меня всего. Вот я и помер. Смотри, вон она! Стоит, руки растопырила, сука... Убирайся! Сгинь... Помер я, помер... Чего тебе еще надо?

На следующий день выписали Пахомыча. На прощанье медсестра сделала ему укол анальгина. Чтобы дорогу домой лучше перенес. Филиппыча прооперировали и положили в реанимацию. А капитан, наконец, очнулся. Ходил с моей помощью в туалет. После обеда разговорился. Оказалось, он не капитан, а пилот.

— Пилот, пилот я бывший. Гражданской авиации. Вторым пилотом был. На тушке. Потерпели мы аварию под Саратовом. Нашего командира сразу убило. А я до конца штурвал держал. Мне глаза огнем выжгло. С тех пор я слепой крот. Пенсию платят. Чтобы с голоду не подох. Слышь, ребят, а у вас тут бабы нет какой? Мне бы любая подошла. По серьезному то я с распоротым брюхом не смогу. А в рот... Сколько лет мечтаю.

Я смутился, а Серый серьезно задумался, челку поправил и произнес:

— Медсестры тут гордые. К ним не подкатишься. А вот нянечка, Ильинична, та бы согласилась. И место есть — бельевая. Если ты ей рублик в халат сунешь...

— Суну, суну... А какая она из себя? Полненькая?

— Она красавица, ноги как папиросы, а морда кирпича просит, — пропел Серый и полетел к Ильиничне, дело улаживать. Я остался в палате один с слепым пилотом. Тому хотелось с кем-нибудь поговорить.

— Ты, как тебя кличут, Антон, что ли. Ты тут?

— Я здесь, я еще часть пространства.

— Ты не мудри, парень... А что, эта Ильинична... Очень страшна?

— Как зад престарелого самурая!

— В возрасте она?

— Ленина видела еще молодым.

— Грязная?

— В меру...

— Я баб пять лет не трогал. Меня жена, как ослеп, сразу бросила. Стюардесса была. Милашка. На заграничные линии ее пригласили... Зачем я ей? Мать меня приютила. Старушка. Потом померла мамочка. Живу один. Тут недалеко, у Калужской заставы. Вначале тяжело было, по небу тосковал, потом освоился. Пью с ребятами пиво у киоска. Они меня

домой провожают, даже продуктами делятся... А моя бывшая опять за летчиком замужем. На Кубу летает... Милка так меня любила, где-то тришпер подцепила.

Тут в палату вбежал Серый. Его распирали известия.

— У меня две новости. Хорошая и плохая. Вначале плохая. Представляете, наш Пахомыч умер. Дома. Не от грыжи. От анальгина. У него аллергия была на анальгин. Вера знала, Ванятка знал, а новая сестра не знала. Как лучше хотела. А вышло вон как. Задохнулся. Побежал деда Типенко догонять. Будет на ангелов ворчать, старый пердун. А теперь хорошая новость. Ильинична согласна в рот взять! Завтра, в бельевой. Обещала зубы почистить.

## ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Кто-то робко постучал в дверь.

— Войдите! — строго сказала моя мама. Постучавший, видимо, растерялся. За дверью послышалось сопение. Кто-то там томился, тянул время, делая вид, что хочет позволить обитателям комнаты привести себя в порядок, подготовиться к вторжению чужака.

— Войдите! — настойчиво повторила мать.

В комнату нерешительно вошел мой дружок Мамикон. Закрыв за собой дверь. Поздороваться забыл. Замялся. Казалось, он хочет свернуться, спрятать свое маленькое незрелое тело в невидимую раковину... Хочет, но не может. Его худые смуглые ноги и руки торчали из одежды как спицы из вязанья, посаженная на тонкую шею курчавая голова застенчиво склонялась на плечо, глазные яблоки то и дело закатывались под тяжелые веки с длинными черными ресницами. Изящные пальцы ног подворачивались под узкие ступни, руки сжимались в неправильные, не годные для удара, кулаки...

— Здравствуй, Мамикоша! — мама подпустила в голос немного змеиной нежности. Она не любила моего дружка, потому что его дед занимал когда-то более высокое положение в советском обществе, чем ее отец.

— Здррасте, Раисса Марковна, — прошептал Мамикон, покраснел и опять попытался заползти в раковину. Мама вытащила его оттуда критическим взглядом, как крючком, осмотрела с головы до ног и деликатно поправила воротничок его неглаженной ковбойки с короткими рукавами. После этого посмотрела на меня. Холодно и устало.

— Полтретъего в столовой, искать тебя больше не пойду... Останешься без обеда. Только здоровее будешь. Одиннадцать лет, а толстый как гиппопотам... Раскормила бабушка внучка...

— Буду, как штык, честное ленинское!

Для того, чтобы выпроводить Мамикона из комнаты, мне потребовалось взять его за плечи, слегка приподнять и дать ему легкого пинка. Пинок не остался незамеченным мамой, которая послала мне в вдогонку строгий взгляд. Как снаряд из пращи. Этот взгляд я почувствовал спиной, согнулся, стартовал, надал, пролетел коридор, холл с медными богатырями-чеканками на входе в дом отдыха и всю трехсотметровую аллею, ведущую к парку, как истребитель на бреющем полете. Затормозил только у небольшого клеверного поля.

Вытер пот со лба. Вдохнул полной грудью. Воздух пах сладко и остро — клевером и ромашками. Уши чесались от стрекота насекомых. Парило.

Мамикон появился когда я уже разложил на пенке принесенные с собой орудия казни. Пустую стеклянную банку с пластиковой крышкой, обломок коричневой пластмассовой расчески и большое увеличительное стекло в черной оправе, с кривой подвижной рукояткой.

Мамикон посмотрел на меня робко, прижал обе руки к впалой груди, и прошептал: «Пойдем ловить?»

— На ромашках и на кашке бомбовозов много! Перед грозой налетели... Сладенького перехватить... Давай!

Бомбовозами мы называли особенно толстых шмелей, ноги которых были густо покрыты прилипшей к ним пылью. Как будто они носили розово-желтые махровые гетры.

— Мне немножко страшно. А если ужалят?

— Ты, Мамик, как говорил Миклухо-Маклай, пока его аборигены не съели, — не бзди по пустякам! Если ужалят, жало выгачим пинцетом. Яд высосем. Самцы вообще без жала. А самки злые. Нажрутса нектара и кусаются как собаки.

Мамик боялся шмелей и ос. Боялся собак и других детей. Боялся своей царственно красивой матери-армянки, Галатеи Арушановны. Даже дышал на людях осторожно, тихо, чтобы не обращать на себя внимание... Однажды чуть не умер из-за того, что постеснялся высморкаться. За обедом в столовой дома отдыха. Ерзал, ерзал на стуле. Кривил нос и губы. Ничего не помогало. Покраснел, прослезился, закашлялся беззвучно, попытался проглотить ушедшие в дыха-

тельное горло сопли, но не смог, задержался, перестал дышать, выпучил глаза и начал синеть... Галатея Арушановна достала носовой платок, приложила к губам сына и легонько ударила его по загривку. Мамик харкнул, сморкнул громко и истошно. Но задышал. Мать вытерла ему платком лицо и сказала спокойно:

— Пойди умойся и вычисти нос! Мамикон ушел. В столовой в тот день он больше не появился, потому что боялся насмешливых взглядов свидетелей своего позора.

— Давай, Мамик, бери банку, бомбовозы заждались, слышишь как жужжат — в баночку просятся, понюхать табачку...

Мамикон взял банку. Попытался преодолеть страх, сжал челюсти. Лицо его от волнения как-то не по-детски потемнело, кожа стала почти фиолетовой. Восточные глаза сияли как янтари на солнце — его, как и меня, влекла сладость убийства.

Убийства, задуманного и организованного великанами, состоящими из кожи, мяса и костей. Мы белые. Толстые. Мясные. У нас чувствительная тонкая кожа. По нашим жилам течет красная кровь. У нас влажные живые беззащитные глаза. А наши жертвы, шмели — страшные летающие роботы из легкого черного металла. В их гадких телах противная бесцветная жидкость, похожая на помойную воду в ведре нянечки. Они неприятно жужжат. Смотрят на нас своими темными лакированными фасеточными глазами, собирают нектар для прокорма своих отвратительных личинок, жалят нас длинными гладкими как кинжалы жалами...

Ловить шмелей легко. В правой руке у ловца стеклянная банка, в левой — пластиковая крышечка. Сидит шмелюга на цветочке, нектар собирает, хлопочет, все обхаживает, все ощупывает... И ты его справа и слева аккуратненько, баночкой и крышечкой — хлоп, и вот он уже внутри банки, жужжит, жужжит, а выхода-то нету.

Ловить и закабалить другие существа — первая и главная потребность человека. А вторая потребность — мучить и убивать. Тут проявляется, как сказал бы знаток этих дел Достоевский, сладострастие чистое, убойное, бесконечное... Голливуд!



Одного бомбовоза мало, надо десяток поймать, да пожирнее, помохнатее. И еще пару бабочек, несколько ос и пчел. Тогда банка, как Ноев ковчег, жужжит, скрежещет, движется в руках... Это также приятно ловцу, как беременной женщине приятно чувствовать внутри себя толкающегося ребенка.

Потом можно, не торопясь, достать увеличительное стекло и начать прямо через банку жечь насекомых. Прижигать. Дырявить. Убивать.

Сфокусируешь лучи на черной металлической, опушенной темным мехом, шмелиной плешке. Шмель попытается уползти от жгучего солнышка по стенке банки или улететь, ему больно, а ты его догонишь и печешь, печешь ему шкуру. А от нее дымки в разные стороны прыщут... Слышно легкий хруст. Сладко! Только воняет все это противно. Палеными ногтями.

— Давай, давай, Мамик, смотри, вон там бомбовоз полетел, сейчас сядет и начнет жрать... Лови, лови его, гада членистоногого!

Мамик дернулся и побежал. К цветку подкрался мягко, как кошка и тут же захлопнул шмеля-бомбовоза в банке вместе с цветком.

— С цветком нечестно! Кашку выброси вон, но так, чтобы бомбовоз не удрал.

— Неее могу, боюсь вылетит, и семь раз больше обычного ужалит. Он же разозлился! Как бы крышку не прокусил!

Мамикон протянул мне банку и посмотрел на меня жалобно, как испуганная собачка. Про себя я так и звал его — «собачка Мамик». В то лето он ходил за мной, как на поводке. Прилип. Отвязаться от него было трудно. Грубость он прощал. Побои тоже. Покровительства и защиты не требовал. Мамик был меня на два года моложе, поэтому его преданность не лстила мне, как это было бы со сверстником, а злила.

В перерывах между шмелиной охотой мы боролись. Вначале стоя, а потом и на земле. Густая трава клеверного поля служила нам ковром. Я сжимал руками его тощее слабое тело, Мамик не только позволял мне жать себя, но и сам

прижимался ко мне низом живота. Терся и ласкался, как щенок, скорее всего, не понимая, что это против каких-то правил... Против его и моей природы. Боролись мы долго. В борьбе возбуждались. И начинали друг друга кусать. Это было еще приятнее, чем тереться и жать. Почувствовать между зубами живую плоть. И кусать, пьянея от безнаказанности и взаимности. Страдать и мстить за страдание. Кусать руки, бедра, живот, потеряв всякий стыд, забыв о заповедях приличия, о настырном мире взрослых, кусать до кровавой пены во рту...

Я взял банку из рук Мамика, открыл ее, вынул двумя пальцами цветок, выкинул его и в броске поймал вылетевшего из нее бомбовоза. В благодарность получил от Мамика томный влюбленный взгляд. Кинулся в погоню за другим шмелем, выследил его и поймал. Потом поймал двенадцать его сестер. Затем — коричневую бархатную бабочку с глазами на крыльях, две пчелы, летучего жука с длинными ногами и огромного красноватого кузнечика... Передал банку Мамику. Он долго бегал за маленькой желтобрюхой осой, которая не собирала нектар, а, тонко звеня, замирала в одной точке над цветком. Как спутник на стационарной орбите. Наконец, поймал ее и отдал банку мне. Я заметил, что у него дрожат руки, неестественно часто моргают глаза. На его темно-синих шортах вырос маленький холмик.

Я спросил:

— Кого будем учить? Длинноусых прямокрылых или перепончатокрылого бомбовоза?.

— Давай кузнечика отпустим, он не злой, у него жала нету... И жука...

— Сможешь сам?

— Нет, боюсь шмели вылетят и ужалят.

Вынуть из банки, полной злобных шмелей, ошалелого кузнечика было труднее, чем выкинуть ромашку. Но я смело взялся за дело — слабость моего дружка придала мне куража. Перевернул банку крышкой вниз и осторожно, прямо у земли, открыл ее. Летящие насекомые оказались наверху, а кузнечик и жук упали на землю. Умный жук сразу уполз в щель. А глупый кузнец скакнул неловко, ударился о верхний край банки, упал, закопался... Одно ловкое движение — и он

тоже был свободен. Кузнечик тут же прыгнул прямо на своего спасителя. Сел Мамику на рубашку, а потом еще раз скакнул, расправил в прыжке крылья и полетел.

— Саранча! — закричал Мамик и сжался.

Мы сели, достали лупу.

— Ну что, Мамик, поучим черных роботов? Пусть узнают, что нельзя людей жалить!

— Пусть узнают!

— Пусть познакомятся с солнечным светом!

— Пусть...

— Перед тем как попасть в страну Жужжалию!

— Жужжалию и Ужалию!

— Околендию и Подыхандию!

— Окочурию и Протухандию...

Я дирижерским жестом прекратил каденцию и перешел к делу. Попытался сконцентрировать солнечные лучи на ползавшей по внутренней поверхности банки желтобрюхой осе. Оса уползала от луча, но я настойчиво преследовал ее. Нагнал и ужалил ее лучом в голову. Она упала, сложила крылья и скрючила лапки. Умерла. Потом я отдал лупу Мамику. Он попытался обжечь лучом пчелу, но это ему не удалось, он прожог дырку на ее крыле и передал орудие пытки мне. Передавая, чуть не выронил лупу и не разбил, так сильно дрожали у него руки.

Через полчаса почти все бомбовозы были измучены и убиты. Мой друг не отрывал все это время глаз от банки. Сопел. Забыв о стыде, жадно тер упругий холмик на штанах... Я решил закончить экзекуцию, направил лучик на маленький обломок расчески, все это время ждущий своей очереди в банке. Надо было постараться не зажечь его, а только сильно нагреть. Тогда пластмасса пускала ядовитый дым. Не удалось. Обломок вспыхнул и загорелся, а вслед за ним вспыхнули и оставшиеся в банке насекомые. Особенно ярко светила горящая бабочка. Она трепетала крыльшками, пыталась спастись... Через несколько секунд все погасло, в банке кончился кислород. Расческа перестала гореть и задымила, банка заполнилась молочно-серым туманом. Несгоревшие насекомые умерли. Я вытряхнул их на землю. Мамик взял в руки

толстого обожженного шмеля. Рассмотрел его в лупу. Потом брезгливо бросил на землю.

Тут где-то рядом ударила молния. Истерический треск грома, распоровшего пространство как сухую ткань, казалось, порвал ушные перепонки. Мы побежали домой. За нами бежал дождь...

...

В следующий раз я увидел Мамикона лет через тридцать после того подмосковного лета. Встретились мы случайно на Октябрьской у кафе «Шоколадница». Мамик превратился в представительного мужчину, даже начал благородно сесть. Я не сразу его узнал.

— Простите, вас не Мамикон зовут? Угадал? Привет, Мамик... Как ты поживаешь, друг...

Мне показалось, что он дернулся, но быстро овладел собой. Узнал меня сразу, крепко пожал руку.

— Женился, защитился, собираюсь в Женеву, пригласили... Профессорствовать...

— Умница!

— А как ты? Достиг просветления?

Я в студенческие годы увлекался буддизмом.

— Еще нет, все еще ищу свое дерево Бодхи... В Битцевском лесопарке...

В конце разговора, я очень осторожно напомнил ему про шмелиную охоту. Мамик наморщил высокий ученый лоб, попытался вспомнить, но не вспомнил...

## ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗУБОВА

Зубова редко оставляли в покое. Отец-профессор отчитывал, что-то требовал, ученая мать цеплялась по пустякам в перерывах между слезами и лобызаниями, бабушка изводила заботами. Одноклассники дразнили Зубова. Учителя и пионервожатые наставляли. Водители автобусов и трамваев, официанты, банщики петяринской бани, капельдинеры в городском драмтеатре, работники прачечных, продавцы, дворники, проводники поездов дальнего следования, служащие военкомата и простые прохожие зудили, поучали, норовили уечь.

Их окрики, одергивания, нотации составляли звуковой фон его жизни, в голове его ревели многоголосое эхо раздраженного мира.

— Зуб, а Зуб! Сними противогаз, сопли проглотишь!

— Дневник на стол! Опять тройка за устный счет! Уроки выучил? Ложись спать!

— Заходим только в переднюю дверь, товарищи! Проходи, мальчик! Что ты на проходе встал как пень?

— Сереженька, сними носочки. Постираю. И ножки помой — пахнут плохо!

— Ты что, оглох? Не положено чемоданы на полки класть! За потерянную плацкарту штраф три рубля. Без квитанций!

— Какая у тебя походка неправильная, мальчик! Не качайся, попой не виляй. Поживей и полегче! Комсомолия!

— Тут вам театр, а не стадион. Прошу по сиденью не барабанить! И ногти не грызите, пожалуйста, молодой человек, тут вам не общественная уборная!

— Получите жетон! Ну что вы свои брюки в простыни суете, мы вам тоже кое-куда всунуть могём! Не видите что ль? Дробь «Б», номер 251, а вы куда жетон сунули? Рассеянный он... Проснитесь, наконец, гражданин!

— Ты что, не понял? Нет масла! И сыра нет! Сыр ему подавай! Ветчину еще бы попросил! Тут не Франция-ФРГ, а Петяринск. Двести грамм отдельной в руки! Образованный нашелся! Мы таких образованных...

— Ты, куда? Я тебя спрашиваю, ты ослеп? Ты же снег ногами наносишь, видишь — подметено? Вали!

— Как в строю стоишь! Развалился как диван! Отставить! Равняйся, смирно! Это тебе не баран чихнул! Тут призывная комиссия, а не ослиная конюшня!

— Пива нет! Ясно? Не завезли пива. Когда завезут? После дождичка в четверг!

— Вы медведь! Отдавили мне пальцы своими ножищами! Под ноги смотрите, а не на Титова с Терешковой!

...

Животный мир тоже не любил Зубова.

Его щипали утки и гуси, кололи иголками ежи, жалили пчелы, царапали кошки, кусали комары, собаки, слепни, шершни, клещи, кролики и волки. Защекотывали тараканы и муравьи. Майский жук истоптал Зубову грудь, а божья коровка влезла ему в ухо и там умерла.

Дачный любимец петушок Петя яростно клевал ему ноги, причем вероломно норовил попасть в пальцы около ногтей. Однажды Петя взлетел и отчаянно кудахча, ударил-таки Зубова в лоб. Вызывали врача, а Петю отправили в суп. В зоопарке Зубова оплевал верблюд, а полчаса позже чуть не съел цирковой медведь Косолапый. Его бодали быки, коровы, овцы, козы, антилопы и яки. Дразнили обезьяны, попугаи и рыбки в аквариуме. До смерти испугал своим криком павлин. Известный своим добродушием и лояльностью к молодежи хряк Урожай в образцовом свинарнике павильона Украины на ВДНХ СССР в присутствии Зубова заговорил к удивлению публики на русском языке. Урожай прохрюкал:

— Ты чего же это парень, рубашку не постирал, не погладил, а галстук напялил. Ах ты, мочало!

Растительный мир и даже сама неживая природа тоже всячески выказывали Зубову свое нерасположение. Как иначе объяснить то, что он регулярно кололся иголками кактусов, шипами роз, резался осокой? К тому же страдал аллер-

гией на цветы, березы, мухоморы и папоротники. Упал со скалы во время палаточного похода на озеро Увильды. Неизменно травился грибами.

У Зубова начинался понос от свежих ягод, яблок, груш и от жареной баранины. Его чуть не унес невиданный на Урале смерч. Два раза в него била молния, но промахнулась. Зубов тонул в болоте, проваливался под лед, заблудился в трех соснах, на него падали дожди из лягушек, ножей, вилок, а также листков из отрывного календаря первоклассника — «Володя Ульянов — твой дружок круглый год». Луна повернулась однажды ночью к Зубову таинственной обратной стороной и смачно плюнула. Прославленная писателем Бажовым хозяйка Медной горы вышла специально из заброшенной шахты, чтобы показать Зубову, попробовавшему было мыть золотишко в вонючей речке Пиасе, две отвратительные малахитовые фиги. Последнее приключение к тому же чуть не стоило Зубову жизни. После нескольких недель недомогания он обратился к институтскому врачу и тот поставил диагноз — лучевая болезнь. Прописал йодистый калий, и сказал:

— Извините, молодой человек, но только идиот может в Пиасе руки мыть. В нем радионуклидов больше чем в таблице Менделеева.

Если бы это были только одноклассники, капельдинеры, дворники, хряки и радионуклиды! Что Луна? Что хозяйка Медной горы? А воспитательницы детского сада, нянечки и медицинские сестры, дотошные педиатры, грубые зубные врачи, придирчивые доценты, назойливые старосты, тошнотворные комсорги, секретари, завлабы, сотрудники первого отдела, бухгалтерши и ответственные по гражданской обороне. Даже машинистка на факультетском бюро комсомола, проблядушка Зинкина, и та, полистав комсомольский билет Зубова, изрисованный его безмозглыми двоюродными сестрами, вздохнула и выговорила мрачно:

— Тут пахнет персональным делом!

Как хотелось Зубову расшвырять их всех, плюнуть в морду Луне, звездануть по моське Зинкину, послать весь брюзжащий и кусающийся мир к чертовой бабушке. Но на это у него не было мужества...

Зубову казалось, что он стоит на площади, на постаменте, как памятник Ленину, только не бронзовый, а нагой и

беспомощный. А вокруг него — чудовища. Все, что он говорит или думает усиливается и разносится во все стороны невидимыми, но могучими динамиками, так, что его слышат все, вся огромная страна, весь мир. И все, что он делает, даже тайно, по ночам, видят в специальные дьявольские бинокли миллионы злых наблюдателей. И каждая его мысль, слово или действие вызывает во всем мире только смех, рев, хихиканье. И чем дольше он живет, тем больше чудовищ скапливается вокруг него.

Единственным ответом Зубова на все придирки, поучения и унижения от разнообразных двуногих, парнокопытных и беспозвоночных обитателей нашей планеты была чашечка крепкого, по-турецки сваренного кофе и сигарета. Раз десять в день, еще лучше — пятнадцать, а, если финансы и физиология позволяли бы, день и ночь, без перерывов на работу или сон.

Пил Зубов кофе без вульгарного сахара и декадентских сливок. Только черный. В одиночестве.

Не торопясь глотал ароматную тропическую жидкость. И его жизнь опрокидывалась в волшебную чашечку. Вся жизнь, со всеми ее цветными бирюльками, асфальтовыми разочарованиями и небесными надеждами. Коричневый маг-кофеин прогонял назойливую нечисть, звенел тихонько алмазными бубенцами на золотых манжетах и уводил покорного Зубова с постылой советской площади в волшебную пустоту его внутреннего мира. Лицо Зубова выражало сосредоточенность и умиленность. Кофе дарил ему вечную жизнь.

...

Окончив в Петяринске десятилетку, поехал Зубов в Москву, поступать в инженерно-строительный. Сдал документы. Получил место в общежитии.

Скоро первый экзамен — письменная математика. Зубов трясся. Боялся даже не экзамена, а того, как презрительно посмотрит на него экзаменатор, как тяжело вздохнет отец, как расплатится мать, как заохает бабушка, как захихикают двоюродные сестры, как втайне обрадуются друзья и знакомые. Как ехидно взглянет на него продавец авиабилетов в кассе на Ленинском проспекте.



— Абитуриент с Урала? Обратный билет. Понятно. Петяринск? Сурово! Непонятно, зачем туда самолеты летают...

Зубов получил по письменной математике тройку. Это было не так уж плохо. Теперь надо было постараться получить четверку по устной. Но на устную Зубов не попал. Вечером принесли ему телеграмму. Бабушка умерла. Похороны послезавтра. У него отлегло от сердца — появился предлог на экзамен не идти.

Да, да. Зубов мог бы оцетиниться, наплевать на похороны, остаться в Москве, поступить. И пошла бы вся его жизнь по-другому. Может быть, даже сошел бы со своего пьедестала и стал бы скучным доцентом или профессором. Но, увы, этого не произошло. Зубов уехал в Петяринск. Похоронил бабушку. Сдал экзамены в родной педагогический и остался жить в провинции. С родителями.

...

В 19... году Зубову разрешили на месяц поехать в Мюнхен — посетить живущего там дядю и двоюродных братьев. Что случилось с ОВИРОМ, с КГБ, как «порвалась связь времен», по чьей вине произошла потеря бдительности? Просто так отпустить на Запад относительно еще молодого человека, не обремененного семьей? Не завербованного, политически неграмотного, маменькиного сынка. Без заложников? Ведь ясно же кузнечику, что не вернется он из ослепительно-го Мюнхена в тяжелый индустриальный Петяринск!

И тем не менее, свершилось! Зубова отпустили.

Провожали его родители, неизвестно откуда взявшиеся многочисленные родственники и друзья детства. Мать Зубова плакала и дулась — вот, так всегда, растили, растили, а он уезжает...

Отец хмурился, пытался мысленно оценить неизбежный удар по его репутации, планировал мнимое отречение от сына на парткоме, прикидывал последствия возможного отлучения от оборонных хоздоговоров и другие финансовые и кадровые потери. Сестры завидовали. Дальние родственники лестили Зубову, всучали тяжеленные шкатулки из касимовского железа и аметистовые бусы для передачи знакомым, просили не забыть. Друзья предлагали выпить на по-

сошок, мужчины терлись о бледные щеки Зубова своими мужественными щетинами, женщины делали глазки, ноздри их чувственно раздувались, а нежные груди случайно касались впалой груди отъезжающего. Зубов расслабился.

В самолете Петяринск-Москва стюардесса поставила его на место.

— Ну что вы так расселись, мужчина, пропустите инвалида... Сумочку уберите под сиденье, мешает. Чего, куда ноги? Ноги в карманы спрячьте! И пристегнитесь! Да не так, а вот так. Откуда такие мастодонты выползают?

...

Через месяц Зубов вернулся в Петяринск.

Этого не ожидал никто. Ни немецкие эмиграционные службы, с тоской приготовившиеся слушать занудные истории о притеснении технической интеллигенции в СССР, ни КГБ, ни друзья, ни родители, уже переоборудовавшие комнату сына в кабинет для отца.

— Ну что же ты, Сережа? — сказала мать недовольным тоном. — Почему ты вернулся, там же дядя Генрих, там же твои братья, помогли бы на первых парах. Там же тебе весь мир открыт, а ты...

— Валенок ты и слюняй! — добавил отец. — Теперь тебе одна дорога — в аспирантуру. Будешь пахать. Ну что ты стоишь как столб? Помой посуду, мать полежать должна.

...

На Западе Зубову очень понравилось. Встретили его родственники отменно, показали ему город и окрестности, вывезли в Альпы, кормили на убой лучшими баварскими колбасами, поили пивом, прослышав о его особенной страсти, купили ему пять килограммов зернового кофе дорогих сортов и десять блоков американских сигарет, выделили отдельную комнату и установили в ней взятую на прокат дорогую экспрессо-машину. Подарили Зубову четыреста марок, двое джинсов, пять маек, элегантные вишневые ботинки, электронные часы с будильником, небольшой кассетный магнитофон. Снабдили его необходимой информацией о немецких эмиграционных правилах, дали адреса, купили автобусные билеты. Намекнули, что он может пожить у них месяца два, а потом должен будет снять квартиру или переселиться в специальный лагерь для переселенцев.

Почему Зубов не остался в Германии? Ответить на этот вопрос легче, чем понять, почему Россия осталась азиатской страной, не пожелав сделаться сестрой европейских народов. Для того, чтобы остаться, нужно было бегать, стараться, рисковать. А Зубов в начальной школе боялся даже в туалет попроситься на уроке, терпел, терпел и однажды позорно обкакался.

Внешние идеи не доходили в нем до двигательных центров.

Надо остаться в Германии — эта мысль сияла на его внутренней сцене как неоновая реклама. Порождала в его голове множество рефлексий, которые носились по темному пространству как летучие мыши. Они плодились, сбивались в стаи, путались, образовывали ком. Ком этот долго катался в голове Зубова. Оброс волосами, ракушками, полипами. И выкатывался вперед всякий раз, когда назойливый дядя Генрих спрашивал племянника:

— Ты был у нотариуса? Документы отдал? Что там тебе сказали? Почему ты не ищешь жилье и работу?

Зубов отвечал невнятно.

Подолгу сидел один, пил кофе и курил. Съел гору сосисок и копченой колбасы. Поправился. Никогда не выходил из дома без сопровождения...

Родственники все поняли и перестали мучить Зубова дней за десять до его отлета на родину. А когда он улетел, долго приводили в порядок кофейную машину и проветривали комнату.

...

Вернувшись в Петяринск, Зубов жил поначалу как акробат — его тянуло назад, в Мюнхен, хотелось настоящего немецкого пива, колбаски. Потом втянулся. Отец нашел для него непьющую должность, Зубов там что-то бесконечно программировал. Многолетний, невнятно сформулированный хоздоговор кормил не одного его, а еще десять бездельников, занятых написанием никому, кроме них самих не нужных технических диссертаций, знакомый шеф его не трогал.

Годы шли за годами, отличаясь друг от друга только цифрами после девятки. В центре огромной, обескровленной

тоталитаризмом страны переваливший за тридцать пять Зубов ощущал иногда даже странную нежность существования. Легкое дыхание вечности...

Мир продолжал его кусать и учить, но уже не так зло, как прежде. Может быть, потому, что жизнь Зубова ощутимо шла к завершению. Зубов полысел, у него появилось брюшко, его мучили головные боли, у него трескались кончики пальцев, а иногда и сердце прихватывало. Зачем учить и кусать то, что само по себе скоро исчезнет?

Когда Зубову исполнилось тридцать восемь, он женился. На Маринке Ляминой. Только месяц как разведенной.

...

Познакомились они в институтской столовой. Из-за тесноты или по каким-то другим причинам поставила Маринка свой подносик на столик Зубова. Он доедал в это время картофельную зразу под грибным соусом. Гадал — начнется у него от этого соуса понос или нет. Вытягивал ноги и поглядывал на свои, уже порядком изношенные, но еще живые, немецкие ботинки.

— Вы позволите? — мягко спросила Лямина.

В ее голосе ему послышалась усталая пресыщенность избалованной вниманием мужчин провинциальной дивы.

Зубов хотел ответить, но подавился, закашлялся. Проклятая зрасса пошла не в то горло. Слезы выступили на его темных печальных глазах.

Маринку такое развитие событий вполне устраивало. Она присела, улыбнулась обворожительно, показав здоровые кукурузные зубы, разрежала котлетку, глотнула компота, склонила кокетливо свою блондинистую головку.

— Пожалуйста, буду рад... — пробормотал прокашлявшийся, покрасневший Зубов тогда, когда в его согласии уже никто не нуждался. Понял, застыдил и сделал вид, что его бешено интересует содержимое зрасы.

— Вы Зубов, да? Михаила Алексеевича сын? Вы в Мюнхен ездили и вернулись?

— Был, был, в колыбели фашизма. И вернулся в родное Зауралье...

— Видели там дом Кандинского и... Как же ее зовут? Картинки такие красненькие и зелененькие рисовала.

— Мариэтта Шагинян?  
— Ха-ха-ха! Нет, ну как же ее... Габриэль Мюнтер.  
— Может быть и видел, не помню...  
— Как я вам завидую! всю жизнь мечтала побывать на Западе.

— Ну да... Запад — не в луже лапоть... А вас как зовут?  
— Марина. А вы в Старую Пинакотеку ходили? «Страну лентяев» видели Брейгеля?

— Нет, я знаете, искусством... Не шибко интересуюсь. Вот на выставке автомобилей был.

— Ничего там не купили?

— Шутите? У отца жигуль. И то хорошо. Есть на чем на дачу ездить. Или за грибами...

— А у вас большая дача?

— Дом деревенский переоборудовали. На озере, недалеко от Новокрасноглазово... Хотите, съездим туда, если отец машину даст?

Сказав это, Зубов смутился.

Ни разу в жизни прямой напор на особу женского пола не приносил ему успеха. Отвечали ему обычно или грубо или так жеманно, что всякая охота продолжать атаку проходила.

— С удовольствием. А о машине не беспокойтесь, я на колесах. У меня москвич. Вот, возьмите записочку, тут мой телефон, позвоните вечером.

Затем твердо посмотрела Зубову в глаза и сказала особенным тоном: «Вы хороший!»

Допила компот, подняла поднос, поправила сумочку на плече и удалилась. Зубову стало не по себе. Он почувствовал, что втюрился. И испугался.

Страх опустился в живот и поднялся оттуда тошнотой. Зубов побежал в институтский туалет и, едва успев закрыться в грязной кабинке с расписанными шариковой ручкой стенами, выблевал весь свой обед в унитаз. И соус и салат и сразу.

Когда блевал, читал надпись прямо над толчком: «Ищу пизду поуже и хуй потолще! Исполнение тайных желаний! Приходите к Вовику в общагу. Комната номер 359. Ебись конем, пионерия».

Страх?

Да, страх. Тут придется, хотя это и неприятно, раскрыть один секрет. Несмотря на свои зрелые годы, Зубов был... Как бы получше выразиться? С женщиной он еще ни разу не спал.

Онанировал, да. Упорно. Порнографию любил, даже ездил специально в Крым, чтобы в поезде у Ростова купить у глухонемых продавцов единственные доступные простому советскому человеку эротические фотки — черно-белые игральные карты с дамочками, переснятые «зенитами» и «сменами» из датских журнальчиков. А с живыми женщинами все как-то срывалось, не получалось. Зубов боялся того, что не получится, и его осмеют, изругают, будут поучать.

Последнюю попытку заполучить в постель женщину он сделал три года назад. Подкатился к Семушкиной, полнова-той сотруднице его лаборатории, разведенке. И цветы дарил целый месяц и родителей уговорил уехать на дачу. Купил вина. И затушил утку. С черносливом.

Семушкина поела утки, после двух бокалов красного раздумянулась. Болтала, не переставая. Пересказала все факкультетские сплетни. Зубов узнал о том, что Пятаков давно живет с Пятницкой. А Пятницкая три года спала с профессором Огорченным. Что Огорченный — тайный враг их шефа и известный стукач. Что шеф, называющий себя крымчаком, на самом деле еврей, что премии, присылаемые на весь коллектив, он выписывает самому себе и своей конкубинке Гнедой, что эта Гнедая, старший научный сотрудник их лаборатории, в прошлом носила фамилию Курчавая — дочь высланных из западной Украины националистов, хохлушка и жадина, сына запустила, а старую мать сдала в дом для престарелых. Что мать ее лежит на кровати голая и голодная, что ни дочь ни внуки к ней не ходят...

Зубов попытался сделать шаг к сближению. Взял Семушкину за плечи, заглянул ей в глаза и сказал:

— Лидия, я давно мечтаю о вас, пойдемте в соседнюю комнату. Там постель.

— Постель? — проговорила Семушкина. — Сережа, мы же оба члены партии, а не животные!

Отложила недоеденную утку ногу, вытерла пухлые розовые губки салфеткой, решительно встала и ушла в прихожую. У Зубова оцепенели конечности. Он слышал, как хлопнула входная дверь.

— Почему, почему? — спрашивал он сам себя, покачиваясь на своем пьедестале.

...

Вечером Зубов позвонил.

— Алло, Марина? Это я.

Лямина решила его поддразнить, чтобы ненароком с крючка не сошел.

— Это вы, Винтергартен? Я очень рада вас слышать.

Винтергартен был институтский бабник, три раза разведенный доцент с кафедры сопромата. Сорокапятилетний высокий красавец. Умница и не лысый. Зубов вздохнул.

— Это Зубов.

— Ах, простите, Сережа, перепутала.

— Ну что, поедем в субботу?

— Мы можем и завтра, прямо после работы, в пять. Хотите?

— Я думал, сначала надо убраться... Протопить. Там с лета никого не было. Пыльца наверно и холодрыга.

— Давайте завтра вместе и уберемся и протопим. Буду вас в пять пятнадцать у колоннады ждать, главное, дорогу не забудьте и ключи от дачи.

— Марина, а вы хорошая?

— Я самая лучшая.

...

Вела машину Лямина. Зубов сидел рядом и не знал, что сказать. Ёрзал. Вздыхал.

— Я слышала у вас с Семушкиной что-то было! Ну и что, как она в постели?

Зубов замялся. Знает или не знает? Кокетничает или заманивает в ловушку? Брякнешь что, не подумавши, поймает и осмеёт. Задумаешься, подумает — тупица! О господи!

Выложил все. Про утку. Про постель.

Марина рассмеялась. Мягко, чтобы невзначай не обидеть.

— Я не знала, что Семушкина такая дура. Приперлась, утку жрала, сплетничала, а потом про партийный билет вспомнила. А партия тут совсем не при чем. Тут область интимная...

— Она на наших отдельных партсобраниях самая активная. Я думал, она не только на собраниях, но и в...

— В постели такая? Хорошо вы об этой гусыне думаете...

— Простите, не хочу, чтобы вы решили, что я — пошляк.

— Вы не пошляк, Сережа, я вас понимаю. Вы мужчина одинокий, захотели любви, нежности, устроили все как могли, а вас не поняли и обидели.

— Вы слишком ко мне снисходительны, Марина. Ведь я ее не любил. Только близости хотел. А вас люблю... Простите...

...

Лямина затормозила, съехала на обочину. Отстегнула ремень безопасности, сама, по-мужски обняла трясущегося Зубова и поцеловала в губы.

На даче они не убирались и не топили. Разделись и в родительскую застеленную кровать прыгнули. Наступил час зубовского торжества. Лямина сделала все, чтобы Зубов получил свое счастье. Осторожно ввела его в мир секса, не спеша раскручивая маховик страсти. Даже ему в угоду изобразила два раза бурный оргазм.

Через три дня Зубов перебрался в квартиру Ляминой. А расписались они через два месяца, в первую вакансию. Свадьбы не устраивали, хотя родители Зубова и хотели организовать все чин по чину, в ресторане Урал, с подвозом на чайке и белыми бантиками. Но невеста так активно протестовала, что смирились, ограничились маленьким ужином у Зубовых. Папа Зубов купил на базаре свежий свиной окорок. И зажарил его огромными кусками дома на сковородке.

...

Профессор Зубов слышал сплетни о Ляминой, ходившие по институту, но пытался убедить себя в том, что все это обычные институтские враки. Папа Зубов достиг уже того возраста, когда правда о жизни, о людях и о себе уже не влечет и не пугает, а только раздражает. Постаревший профессор не заблуждался и не обманывал себя, он хорошо знал



цену собственному сыну, по-своему понимал и Лямину и хотел только одного — чтобы его оставили в покое. Ну и еще, чтобы свинина хорошо зажарилась.

Мать Зубова плакала, поглядывала на невесту критически и восклицала — Мариночка! Мариночка! Она мечтала найти для сына застенчивую девушку-аспирантку, девственницу из ученой фамилии, но смирилась с неизбежным и пыталась разглядеть в Ляминой что-нибудь хорошее. Не может же моему сыну понравиться последняя дрянь, спрашивала неглупая мадам Зубова сама себя. И с ужасом отвечала — да, увы, может.

Двоюродные сестры Зубова невзлюбили Лямину сразу и навсегда. Они сразу распознали в ней существо, далеко их превосходящее по хитрости и способности к мимикрии.

Свадебный вечер прошел без особых происшествий. Гости дружно жевали жареную свинину. Пили холодную водку. Закусывали роскошным салатом из помидоров и огурцов. К чаю подали пироги с медом и орехами.

Невеста благоразумно молчала. А подвыпивший жених вступил в спор с гостившим в это время у Зубовых геологом Тихоновым, только что вернувшимся из Афганистана. Когда отзвучали дежурные тосты, Тихонов заговорил о наболевшем.

Осторожный Зубов-отец попытался остановить гостя. Не вышло. Не выдержал, ушел от греха в кухню, сварил себе кофе и начал пить, посасывая по детской привычке маленький кусочек колотого сахара. А в это время в столовой за праздничным столом не на шутку разгорелись страсти.

Тихонов сорвал в споре голос и хрипел.

— Понимаешь, я сам видел, сам. Я тюрьму эту проектировать помогал, шурфы бурил даже. Прямо на базе. В восьмидесятом. Сотни камер. Все под землей. И во всех — люди! Понимаешь, люди! В кровище, в блевотине! Руки всем за спиной связали проволокой. На глаза повязки надели. Камеры закрыли и двери забетонировали. А в вентиляционные отверстия гранаты побросали. Человек восемьсот там осталось. Только в одной северной тюрьме! Как представляю, плохо становится. А вдруг они до сих пор не умерли там, копошатся, воду ищут, помощь ждут?

- А командующие знают?
- Они приказ и отдали — всех там заморить.
- А тебе наших бойцов не жалко? Им там головы отрезают, кастрируют, вспарывают им животы...
- Это чужая земля, мы туда сами поперли с танками и артиллерией!
- По-твоему — наше руководство что, ослы и убийцы?
- Да, Сереженька, не хочу тебе праздник омрачать, но наша партия и правительство — ослы и убийцы! Понимаешь, надо что-то делать! Мы же не фашисты!
- Так ты же тоже в партии, Гена, и я...

...

В комнату вошел Zubov-старший и попытался погасить костер.

— Ладно, Гена, завтра подумаем, что делать. Сам понимаешь, нам не вся информация доступна. Там, наверху, больше нашего понимают. Горько, горько все это... Надо подсластить! Горько! Горько!

Zubov и Маринка встали и поцеловались. Маринка так театрально изображала страсть, что всем стало неловко.

Гена уронил голову на руки. Мадам Zubova гладила его по голове и приговаривала:

— Ничего, ничего, Генаша, ты об этом обо всем не думай. Будешь много думать — в тюрьму попадешь!

Тихонов поднял голову и просипел:

— Вот! Вы единственная правду сказали. Будешь думать — в тюрьму. Кляп в рот, повязку на глаза. Будешь болтать — донесут, посадят, попробуешь что-нибудь сделать — убьют без суда. Ты зачем, Серега, сюда вернулся? Пулю в затылок захотел?!

— А ты зачем в Афганистан поехал, если ты войну несправедливой считаешь? За... Длинным рублем покатыл? Шурфы бурил, думаешь мы не знаем... Нефть искал и золото. Чтобы качать и продавать Западу за валюту. А афганцам шиш. И не нашел ни черта. За это тебя оттуда и выперли. Ты и тюрьму сам построил. Чего теперь рыдать? Сами строят тюрьмы, а потом партия и правительство виноваты. Все время кто-то другой виноват. Ты еще скажи, моя вина... Ты еще поучи. Ты укусить хочешь. Потому что ты барсук. Жили под лавочкой барсуки!!!

Пьяный Зубов был мало похож на Зубова трезвого. Зная это, он не пил — боялся самого себя. Опасался того, что его собственное «я», освобожденное от страха, присоединится к чудовищам вокруг пьедестала. Боялся раздвоения личности.

После свадьбы молодые уехали отдыхать в Друскеники.

Купались там в прохладных озерах, гуляли по лесу. Пили невкусную минеральную воду. Каждый вечер ходили в кафе, ели литовские сосиски. Через три недели вернулись в Петяринск.

И тут Зубов нарвался на первую неприятность. Оказалось, все время, что они были в Литве, в маринкиной квартире жил Винтергартен. Спал на новой софе, купленной родителями Зубова. Пил зубовский кофе. На недоуменные вопросы мужа Маринка ответила почти дерзко, хотя и логично.

— Ну что же поделаться, где-то ему надо жить! У него семейная драма, жена грозит самоубийством... А моя квартира стояла пустая. Потерпи, он через неделю уедет. Он даже не друг, так, знакомый, но он все-таки человек, а не собака, на улицу не выгонишь. Я надеюсь, ты не ревнуешь? Это было бы ужасно, я из-за этого уже два раза разводилась!

...

Тут Лямина немного прилгнула для красоты, первый раз она развелась из-за того, что изменила мужу сразу после свадьбы, но еще до первой брачной ночи, второй муж застукал ее голой в постели с собственным отцом. И терпел это целый год. Но потом не выдержал, устроил дикую сцену в библиотеке и сошел с ума. Знал об этом весь Петяринск. Только Зубов ничего не знал...

— Мариночка, но у нас только одна комната...

— Он будет спать на кухне, на надувном матрасе.

...

В первый же вечер с Винтергартеном Зубов затосковал.

Винтергартен рассказывал литературные анекдоты, декламировал садистские частушки. Дедушка в поле нашел ананас. Не догадался, что это фугас...

Лямина застенчиво хихикала. Говорила:

— Как это все забавно!

С Зубовым Винтергартен был корректен, к сближению не стремился, в друзья не набивался. С Маринкой не уединялся, не шептался, не подмигивал. С самого начала объявил, что сожалеет, все понимает и через неделю исчезнет. В десятом часу ушел на кухню, лег на свой матрас с книгой.

...

Зубов страдал.

Мечтал о чашечке кофе в одиночестве на кухне.

Когда все спят. Спит Урал. Тихо дышит раскинувшаяся прямо за порогом их дома великанша Сибирь. А он тихонько пьет кофе и наслаждается доступной только ему вечной жизнью...

В полусне он видел, как его жена встала и на цыпочках пошла в кухню. Все существо Зубова пыталось проснуться, встать, посмотреть, что они делают там, на надувном матрасе, но как назло, сон охватил его со всех сторон как ураганный ветер и погнал по странным полутемным медовым дорогам к высокой стеклянной горе. Вознес Зубова на гору и бросил вниз. И упал он в пропасть и потерял себя в ее темной сырой глубине. Когда Зубов проснулся, в квартире никого не было — Винтергартен убежал рассказывать студентам о построении эпюр крутящих моментов, а Маринка поехала к себе в библиотеку.

Зубов тосковал всю неделю, а когда Винтергартен, наконец, исчез, затосковала Маринка.

Почему? Ведь она всего добилась, и мужа заполучила и любовника сохранила. В перспективе — совместная поездка с мужем в Германию, где она, конечно, не будет искать дом Кандинского, а сразу отправится в полицию. Не зря же она английский и немецкий уже пять лет добровольно на платных курсах учит. Восхищенные ее новым финтом дебельные библиотечные дамы закусили губы, в их взглядах, ревниво оценивающих ее дорогую, купленную свежескоровью лисью шубку, опять появились пьянящие Маринку сполохи зависти, восхищения.

Расчет Маринки был хорош. Но...

Но, как и все хорошие расчеты, имел небольшой изъян. С мужем приходилось спать в одной постели. И изображать страсть. А она и запаха Зубова не переносила. Страдала из-за его храпа. И любовника надо было лелеять, потому что без Винтергартена жизнь Маринки становилась скучной как тумбочка в больнице.

Зубов не понимал, почему его жена молчит после ужина, молчит за кофе, за телевизором. А она молчала, чтобы не взорваться, не испортить все. На давно опостылевшие научные и политические разговоры у нее просто не хватало терпения.

Как обдурить мужа и убежать к любовнику? Когда? Завтра? Или послезавтра? Или прямо сейчас?

...

Через три месяца после свадьбы она так и поступила. Изобразила легкую истерику, собралась и ушла. В десять часов вечера.

Зубов растерялся. В голову ему приходило все что угодно, кроме правды. Он звонил маринкиной маме, старой стерве, ненавидящей дочь и вместе с ней весь мир. Тревожил ее подружек, которые отвечали ему как-то странно. Зубов ломал голову, фантазировал.

Жена должна кому-то деньги, не может отдать, ее шантажируют, возможно, она отдается сейчас шантажисту. Плачет от боли и бессилия. Мужу сказать боится.

Или — Марина помогает брошенным детям. Приносит им еду. На нее нападают хулиганы. Бьют и насилуют...

Воспаленная фантазия Зубова заносила его далеко, в космос. Марину зомбировали злобные пришельцы. Они отдают ей телепатический приказ, она не в силах противостоять. Встает и уходит. Идет в парк. Там ждет ее летающая тарелка. Марину уносят на планету Плутон и там продельывают над ней зловецкие опыты...

А между тем правда стояла, горькая и слегка присыпанная осенними листьями возле самого подъезда их одиннадцатизэтажного блочного дома. Жигули Винтергартена и не думали прятаться. Изнасилованная пришельцами Маринка села на переднее сиденье рядом с шофером, поцеловала его в ухо и они уехали. Для того, чтобы увидеть правду, надо

было только встать и посмотреть в окно. Но Зубов уже говорил по телефону с одной из маринкиных подружек. А потом пил кофе. Когда Лямина возвратилась, допивал десятую чашечку и докуривал новую пачку столичных. Жена приняла душ и легла в постель. На вопросы мужа не отвечала. Утром Зубов решил было показать характер, но, Марина вынула левую грудь из ночной рубашки и чиркнула соском ему по подбородку. Он все забыл и набросился на нее как тигр, а она, закрыв глаза, представила себе, что ее ласкает Винтергартен.

...

С тех пор в семье Зубовых появилась странная традиция — жена уходила из дома, не сказав мужу куда, а он не допытывался, не выслеживал, сцен не устраивал, телефон не обрывал, только пил свой кофе, курил и погружался в нирвану.

И волки целы и овцы сыты. Хорошо?

Нет. Маринку и такая жизнь приводила в отчаянье. Почему?

Угасали ее специальные надежды. Сколько она ни уговаривала Зубова попросить мать поговорить с Генрихом о приглашении — воз был и поныне там. Зубов явно не хотел никуда ехать. И тем более становиться невозвращенцем, бороться, пробиваться. А на родине не хотел защищать диссертацию, делать карьеру. Не хотел ездить летом на дачу, не хотел купаться в озере... Отказался поехать в трехнедельный тур Ленинград-Минск. Не ревновал. Не пил. Не спорил. Был скромен в быту. Нуждался только в кофе и сигаретах. Которые привозил из командировок его отец. А тут еще Винтергартен всерьез засел за докторскую и даже иногда просил Маринку, чтобы она ему не мешала.

Маринке казалось, что она не живет, а бьется в клетке, в которую ее посадил Зубов. Посадил своей любовью, верностью, заботой. Ощущение это стало через несколько лет проявляться у нее как болезненный невроз. Маринка чувствовала — еще немного и она сорвется. Пришлось идти к знакомому психиатру. Психиатр посоветовал ей сменить мужа или любовника, или работу, или, по крайней мере, страну проживания.

Надо было что-то предпринять, сейчас же, и без сантиментов.

В горячей ее голове созрел отчаянный план.

— Сегодня же! Сегодня же возьмем быка за рога! — повторяла она сама себе, нервно листая за своим рабочим столом восьмисотстраничный каталог гостей. Отложила каталог в сторону. Позвонила в Ригу своей старинной подружке Инге. Проговорила с ней двадцать три минуты. Затем собрала личные вещи и решительно направилась в отдел кадров. А оттуда на рабочее место не вернулась, а, купив по дороге бутылку коньку, пошла к председателю жилищного кооператива Калюжному.

...

Через несколько дней ни о чем не подозревающий Зубов пришел домой как обычно, около семи. Сразу заметил несколько стоящих в коридоре чемоданов и чужое пальто с барашковым воротником на вешалке.

— Почему чемоданы собраны? И этому... Что опять тут надо? — спрашивал себя Зубов.

— Зачем на сей раз притащился? Новыми анекдотами про Пушкина и Толстого хочет нас попотчевать или опять с кем-нибудь поссорился и ему жить негде?

Заглянул на кухню.

Винтергартен расселся в его любимом бабушкином плетеном кресле. А Маринка сидела у него на коленях. Они целовались.

Зубов растерялся. Покашлял. Они сделали вид, что его не замечают. Зубов расвирепел как Отелло и, схватив Маринку под руки, вырвал ее из рук любовника и поволок в спальню. Там бросил ее на софу. Маринка с софы тотчас вскочила и кинулась на него, рыча, как львица. А сзади его обхватил Винтергартен. Зубов не долго боролся, ослабел. Потому что понял, что его собственная жена устроила ему ловушку в их доме. В заговоре с любовником. Стерва.

Маринка и Винтергартен Зубова связали, в рот ему засунули кухонное полотенце. Обкрутили дополнительно бельевыми веревками. Винтергартен, в прошлом моряк тихоокеанского флота, завязал их морскими узлами. После этого они привязали Зубова к огромному старинному буфету, стоящему у стены напротив софы.

Затем любовники разделись и совокупились перед глазами Зубова. Потом встали, подошли к связанному и стали плевать в него и ругаться. Перебрасывались бранными словами, как игроки в теннис мячиком. Откровенно наслаждались похабной забавой...

— Мне кажется, Мариночка, что твой муж, не только лузер, но еще хуесос и педрила. Может, развальцевать ему жопу?

— Нет, милый, он только дровича. До тридцати восьми лет дровичил как вертолет. Пушкин в этом возрасте уже умер. У нас в Эсэсэрии чтобы пидарасом стать, тоже нужно мужество иметь, а у этого вафлегрыза, кроме эгоизма, ничего нет. Ни в душе, ни в штанах... Ничтожество. Выпердыш куриный!

— Свиное рыло!

— Кот зассатьи!

— Еблан и феерический мудака!

— Нет, мудака парнокопытного секса!

— Скорее, беспозвоночного дровичения!

— Жертва аборта от козлов!

— Гнойная пиздота!

— Ебать его в копченый глаз!

...

Зубов пытался не обращать внимание на плевки и не слушать брань. Закрыв глаза. Заметив это, Маринка засунула свою когтистую лапу ему в штаны и больно дернула. После этого недобро на него глянула и прошипела:

— Еще раз закроешь глаза, — оторву тебе пиписку!

Глаза Зубов больше не закрывал.

Исчерпав запас ругательств, Маринка и ее любовник оделись, забрали чемоданы и ушли.

Заплеванный с ног до головы Зубов долго дергался и корчился, ломая ногти о проклятые морские узлы, прежде чем смог освободиться.

...

На кухне нашел записку.

— Сережа, не сердись, я не могу больше жить с тобой.

Не знала, как убедить тебя прекратить это мучение. Решила показать тебе, какая я на самом деле, и сказать в лицо



все, что о тебе думаю. Мой поступок непростителен, но ты увидел и услышал правду, которую обычно скрывают и тянут, тянут...

Из квартиры я выписалась. Перевези ... вещи ... отдай ключи Калюжному ...

Начинаю новую жизнь. На развод я не подала, ты это сделаешь сам, а я пришлю тебе заверенное у нотариуса согласие... Не ищи меня. Я покидаю проклятый Петяринск.

...

Зубов прочитал, вздохнул и поставил кипятиться воду. Закурил.

Не спеша, по наперсточку, выпил три чашечки кофе. Знакомое теплое чувство вытеснило постепенно позор и стыд. В голове зажглась зеленоватая звезда. Ему казалось, что пахнувшая флоксами нежность мира просачивается через его пальцы и льется как нектар на кухонный линолеум. Земные дела его не волновали. Зубов глубоко затягивался, смотрел в себя и видел бесконечный океан и розоватое небо над ним. Ощущал приливающие к горлу волны вечной жизни. Он сидел на троне на берегу океана. Луна улыбалась ему своей светлой стороной. Звери и растенья пришли ему поклониться и попросить благословения. Из океана выплыли рыбы и гады и умиленно смотрели на него своими оранжевыми глазами. Солнце и звезды вытянулись жемчужным ожерельем и легли, сверкая, на его синюю грудь. Со всех концов вселенной слетелись ангелы, чтобы целовать его желтые щеки...

...

— Ну и мудака! — сказала вернувшаяся за забытой лисьей шубкой Маринка, увидев в кухне разомлевшего мужа, пустившего слюни на подбородок.

— Ну и мудака! — повторила она, покачала головой, плюнула ему под ноги, и вышла из квартиры громко хлопнув дверью.

## УТКОНОС

— Ты что это читаешь? Запрещенную литературу? — спросил, ухмыляясь, профессор Чесноков своего зятя, московского пижона Мишу.

— Это Библия, Иван Сысоевич, — отозвался зять. — В Иерусалиме немцы для наших издали. Родители прислали. Пропустила, почему-то, таможня...

Чесноков взял в руки черную, без опознавательных знаков на приятной ребристой обложке, книгу, полистал крупными пальцами ее неестественно белые, полупрозрачные странички, прочитал несколько строк: «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы... И будут повержены трупы людей, как навоз на поле...»

Заявил беспардонно:

— Ну и дерьмо... Как ты эту ахинею читать можешь? Естественник... Все вы тут гнилые... Москвичи...

Потом открыл лежащую на Мишином письменном столе зеленую папку, вынул из нее листок и воткнулся глазами в первую попавшуюся строчку. Ослабился и задекламировал.

— Идущая на костяных ходулях тигровая акула догнала поселенца и проткнула его гигантской вязальной спицей... Тысячи человек карабкались по скалам... Достигнув вершины, кланялись пузырьчатой жабе в золотой короне и прыгали в раскаленное жерло... Ну и бред! Или вот еще. Из огромного разбитого яйца торчала арфа, на струнах которой сидел полтораметровый паук. Заводные белки водили хоровод вокруг дерева познания добра и зла, на котором металлический дятел долбил длинным клювом мертвую распятую обезьяну. Полуженщины-полурыбы, поблескивая стальной чешуей, кидали в бородатый котел морских ежей... Котел вращал огромными рубиновыми глазами, на веках которых

сидели синекрылые стрекозы. Из прорехи в обожженной заднице мага сыпались позолоченные птицы... Ты для того аспирантуру бросил, чтобы эту галиматью писать, кастрюля бородатая? На это и бумагу жалко...

— Провинциальная дубина! Когда-нибудь попадешь в клешню! — подумал зять профессора. Тяжело выдохнул и ушел в кухню.

Каждый приезд папашы жены был для Миши тяжелым испытанием. Выгнать тестя он не мог — жалел жену, физически неспособную на разрыв с отцом. И бесился.

Профессор приезжал часто. Заходил к военным заказчикам, обегал нужных людей в министерстве, отоваривался в центральных магазинах... Подолгу торчал дома.

О литературе в такие дни можно было больше не думать. Чесноков требовал внимания и заботы, был вездесущ... Заполнял маленькую квартиру своим горячим телом, включал телевизор, давал советы, о которых его никто не просил. Громко разглагольствовал. Особенно любил обличать московское население. Всякий раз издевался над Мишиными потугами писать сюрреалистические романы. Поучал, поучал... Мише казалось, что от тестя исходят волны какой-то особой, свойственной успешным советским людям, высокомерной тупости. Он даже пытался закрываться от них руками. Как его герои от летающих рыб...

...

— Москвичей надо расстрелять! Ожирели! Околеете без покаяния, пижоны-декаденты! — пророчествовал Чесноков, попивая кофе.

— И вашу дочку и еще не родившегося ребенка, тоже?

— Не выворачивай слова, московская штучка! Посуди сам — в нашей области картошку выращивают и собирают, потом грузят в пульмана и везут в Москву. Черноземную, рассыпчатую картошечку, не такую, как у вас тут на поганой глине родится... А у нас и людям и скоту есть нечего. Шоколадная фабрика вот тоже... Работает день и ночь. А нам на зубы ничего не попадает. Аленка, Мишка на севере. Не на севере Мишка, а в Москве. Мясокомбинатов в городе два и в области еще один. Знакомые видели, мяса полно. А в магазинах только серые кости. И то не каждый день. Где, куда — в

столицу все свезли. От жира не лопните? Сыра не было в городе с войны. В половине деревень ни чистой воды, ни электричества. Люди не знают, что такое помидор. Ни разу в жизни в туалет нормальный не ходили. Как звери в ямы серут... Парады, мавзолеи, академия наук у них, видите ли. А диссертации слабые ездите к нам в совет защищать, приспособились! Десять-двадцать тысяч расстрелять, остальным повадно не будет. Из пулеметов. Ту-ту-ту!

— Сами расстреливать будете? Или Сикуритату пригласите? Вы бы, Иван Сысоевич, письменно все изложили и в партком вашего института представили. Пусть почитают, что коммунист Чесноков думает. О чем мечтает. Трактат можете озаглавить — как нам обустроить Россию. С Мишками и без.

Галя шепнула на ухо мужу:

— Что ты лезешь на рожон? Он старый, воспитывать поздно! Заведется, весь вечер будет вещать... Потом ему с сердцем плохо станет...

— Если бы... Скорее мне...

...

Около восьми Галя позвала ужинать.

Профессор спросил нетерпеливо:

— Коньяк есть?

— Пап, тебе же Арискин не велел!

— Арискин сам пьет как лошадь! Когда Натальи Сидоровны рядом нет...

Галя тихо возразила:

— Лошади коньяк не пьют... У нас морс есть... Из крыжовенного варенья...

Профессор выпил три рюмки армянского коньку, припасенного Мишей для друзей. Шумно съел большую тарелку жареной картошки и полкастрюли тушеного мяса с грибами. Смачно сгрыз несколько соленых огурцов, которые сам привез в подарок дочери и зятю. Выпил два стакана кофе. Поковырял толстыми ногтями в огромных выступающих вперед зубах, встал из-за стола и ушел к телевизору.

Миша укоризненно посмотрел на жену. Галя начала оправдываться:

— Что я могу поделать? Не мучай меня! Он мой отец. И не самый худший, между прочим. Целый год деньги высы-

лал. Когда я маленькая была — ни разу на меня не крикнул. Это он на тебя так реагирует. Чувствует, что ты его презираешь...

— Про Библию сказал, что дерьмо. Черновик мой тут зачитывал... Подражание Дюкасу. Утконос чертов.

— Он деревенскую школу кончил. Рабфаковец. Работал как вол, всего своими руками добился. Мама до сих пор его статьи проверяет. Не читал ничего.

— Как вол... А ты, кстати, знаешь, кто такой вол? Это кастрированный бык. Если неграмотный, пусть не лезет. А то — дерьмо, расстрелять, картошка...

Тут в кухню вошел Чесноков. Дико посмотрел на дочь и зятя. Махнул в сердцах рукой. Налил себе рюмку, выпил и затрещал как Добчинский:

— Чрезвычайное положение! Ночью в Баку войска ввели! Генерал Лебедь командует. Запрыгают теперь азербайджанцы на раскаленной сковородке! Это ж надо — границу с Ираном раскурочили, полосы ногами затоптали, наших погранцов в шею... Обрадовались свободе, муслимы-пескари... Ну, мы вам всем щучью морду покажем... Пора пример подать. Кавказцы разболтались... Расстрелять тысяч сорок. Танками подавить. Ракетами... Чухонцев пора прошерстить как следует. Половину, как при батьке, в Сибирь, на холодок. Пуцай там подумают о НАТО. Западные хохлы сальные губы раскатали. Шершавого им. Вся нечисть независимости захотела!

Миша попытался уличить профессора в нелогичности.

— Ракетами... Щучью морду... Шершавого... Вы что говорите, Иван Сусоевич? Если они все — нечисть, то зачем их силой в Союзе держать? Пусть их, уходят.

— Молодой еще, базарить. Ты Союз не строил, а ломать хочешь. Тут идея какая у каких людей была! Нынешним не чета. За Сталина умирали, а за твоего Горбачева, кто пойдет умирать?

— Горбачев не мой, он ваш, партийный... Мой — Сахаров. Но вы его не послушали. Уморили... И не надо ни за кого умирать. Пожить бы дали спокойно.

— Сахарова твоего надо было расстрелять. Из пулемета. Картавая вражина.

Мишу все раздражало в профессоре. Отвратительная привычка поводить головой из стороны в сторону. Назидательно сжатые, узкие, бескровные губы... Металлический, с истерическими модуляциями шепот, переходящий в крик... Огромная бесформенная седая челка, плоские некрасивые уши. Назойливый кислый табачно-алкогольный запах. Голубые глаза с белыми ресницами. Крупный утиный нос.

Профессор выпил еще несколько рюмок, выкурил шесть сигарет и лег, наконец, спать. На раскладушке. В двух метрах от семейной кровати дочери и зятя. Так и не удалось Мише уговорить Галю выселить его на ночь на кухню.

Через минуту Чесноков захрапел. В комнате запахло коньяком и непереваренным тушеным мясом. Львиный рык сменялся шакальими стонами.

Миша обнял Галю и шепнул:

— Я сейчас встану, пойду на кухню, возьму там самый большой и острый нож и зарежу его!

Его беременная жена шуток не понимала. Заскулила. И выкинула.

...

Миша остался ночевать в больнице, недалеко от палаты жены, на лавочке в коридоре. Дал медсестрам по трешке. Они выдали ему пару паршивеньких одеял и сырую простыню. Надеялся на то, что Галю отпустят утром домой. Всю ночь слышал сквозь сон тихий плач жены... Не подействовало успокоительное.

Всматривался в конец коридора. Там носились тени и отблески, поблескивали стеклянные шкафы с ужасными инструментами. Бились в смертельной схватке призрачные армии. Рогатые рыцари-троллейбусы сражались с бронированными автобусами. Неуклюжие троллейбусы били автобусы штангами-токосъемниками, те отвечали лобовыми ударами надушенных, обитых железом, морд.

Сражающиеся раздражали ушные перепонки адским скрежетом и металлическим лязганьем. Глаза щипало от едких больничных запахов, в рот кто-то положил неприятный железный шарик со старомодной кровати. Шарик вращался,

в нем что-то тихо жужжало. К тому же Миша и сам был автобусом, он спешил, боялся опоздать в депо. Жал на педаль. Но, как назло, застрял на середине Ленинского проспекта.

Грязная желтизна московской январской ночи лезла в больничный коридор. Красный щегол клевал прямо в сердце. Кишки грызли крысы.

— Кто тебя тянул за язык? Тебе говорить — что ветру листьями шуршать. А теперь комок. Все, что от ребеночка осталось... Ручку крохотную видно было. Как будто от куколки алебастровой. И кровь на маленьких пальчиках без ногтей. Пощелкай, пощелкай... Хрусть-хрусть. Изменить ничего нельзя. Жизнь — процесс необратимый. Даже у него не получилось. Покатался на ослике, помолился о глиняной чашечке, поплакал и на горку, в облака, в миф сиганул... Потому что назад не принимают. Спасибо, скорая приехала быстро, а то и Галя бы умерла. Побелела вся. И криком изошла. Теперь сын в морге лежит, рядом с огромными волосатыми покойниками. Они прожили свое. Использовали шанс. А он... Плоть от плоти. Почему же тебе все равно? Мы хуже автобусов... Нам не Библия нужна, а бензин и расписание.

Тут в конце коридора появился профессор Чесноков. Вылез из-под старого, затоптанного больничного паркета. Чесноков-больничный не был похож на тестя Миши, он и человеком-то не был, он был троллейбусом тридцать четвертого маршрута. Троллейбус-профессор стряхнул с себя пыль, лихо проехал по коридору, остановился у мишиной лавочки, просигналил и открыл передние автоматические двери. Объявил:

— До Кравченко едем. Только до Кравченко!

— Мне не надо до Кравченко, хочу дальше. Мне до Ленинских гор, а оттуда по воздуху... Прямо к Ивану. На куполе можно посидеть, ножками поболтать. Над Кремлем. Можно и кучку наложить.

Миша открыл глаза. Перед ним стояла нянечка хирургического отделения. Старая кошка в старомодном чепце. С усами. На ее груди сиял металлический панцирь. В руках она держала корзинку с церковными принадлежностями — подсвечниками, кадилом, копием, на престольными крестами,

дароносицей и водосвятной чашей. На ногах — черные валенки с галошами. На валенках шариковой ручкой кресты и черепа нарисованы. Нянька бубнила:

— Ты, милоч, просыпайся, мяу-мяу, а то опоздаешь на концерт в Грановитой палате. Брежнев на баяне солировать будет. Сулов и Пельше «Аве Мария» исполняют. Нехорошо начальство обижать. Хватятся тебя. А ты все на кораблике катаешься. На мачте кукуешь. С бобрами небесными заигрался.

Нянечка сняла валенок, сдернула носок и начала массировать почерневшие корявые пальцы. Запричитала:

— Господи, прости... Никто бабушку Грету не приголубит, никто кошечке между пальчиками не пощекочет... Мяу-катау...

Тут троллейбус-профессор на задние колеса встал, воробыными крылышками захлопал и пропищал:

— Пощекочет, приголубит! Я тоже на концерт хочу! Я не безбилетник какой-нибудь... Мне мама проездной покупает!

Подпрыгнул на месте и дал задний ход. Летучие мыши вылетели из черных углов и прочертили перед Мишиными глазами черные буквы... Снегири закапали на паркет красным грудным воском. Дрессированная ворона с алмазным ожерельем на шее прокаркала: «Ап, ап!»

Показались воздушные гимнасты на серебряных пуповинах. Они крутились и переворачивались в воздухе, хлопали друг друга в ладоши. У спящего зачесалось внутри черепа. Потому что там лукошко. А в нем — пять цыплят-молодцов. Кушать просят. Колобок дал им сардинку, а они даже не попробовали...

Космический челнок с невыносимым ревом стартовал прямо с живота... Приземлился на темечке. Вытер потный лоб. И пошел на рынок за петрушкой.

В стеклянном шарике сидели три монаха. Плакали, плакали, потом на флейтах заиграли.

Рыба съела стальную ногу. Халат засалился. А трамвай в речке утонул...

Воздуха, воздуха дайте! Хрр, хрр!

Миша вскочил, схватился за шею и задергался как ужаленный. Глубоко вздохнул. Убедился, что никого рядом не было, — ни нянечки, ни троллейбуса, ни гимнастов. По пустому коридору пробежал усталый дежурный врач.



Заглянул в палату жены. Осторожно, на цыпочках, вошел и положил ладонь Гале на горящий лоб. Погладил. Она открыла опухшие глаза, хотела улыбнуться мужу, но вспомнила про погибшего сыночка и заплакала...

...

Чесноков решил домой ехать.

— Что там двоим делать? Утро скоро. Надо еще бумаги пересмотреть. Совецание, как никак.

Поймал такси, сел на заднее сиденье и приказал:

— Дуй в Ясенево. Голубинская 24.

Таксист молча завел мотор.

— С Пospelовым надо кашу доварить. Хитромудрый, может и не утвердить штатное расписание. У него всегда задумки особые. На годы вперед планирует расклады. Пообещать ему премиальные? Тысячки две? Обидится... Надо настоять на рокировке. А то сожрут отдел. И не подавятся. Завтра надо быть в форме. Позавтракать хорошо. Можно и в ресторане. А дома пусть зятек для больной жены сам готовит. В «Таджикистане» пловом побаловаться или даже в «Пекин» завернуть. Как тогда с Ляпиным, после защиты. Вот уж славно погуляли! До утра с цыганами сидели. Паша Пастин десять бокалов разбил. Гусар-наездник. А цыганочки-русалочки бюстами трясли, мандавошки. Ах, сладость-халва. Артист Сошальский к нам подошел. Разрешите представиться... Барин. Где это мы едем? Вроде уже десять минут как с Ленинского свернули. Профсоюзная... Домов понастроили. Лимиты набрали.

Тут Чесноков опять вспомнил про неподписанные документы, поводит головой, проглотил горькую слюну, подергал скулами. Спросил шофера резко:

— Эй, шеф, куда это ты меня завез? Не узнаю. Калужскую проехали?

Шофер пробурчал что-то... В полутьме салона показалось Чеснокову, что у водителя нет волос. Только голый череп. Да еще и не человеческий, а чужой, похожий на панцирь черепахи. И уши огромные, звериные. Профессор оробел и больше на шофера не смотрел. И ничего не спрашивал.

— Носила дочка шесть месяцев. Носила, носила... Принесла. Не везет ей. То с этим стариком связалась. Что она в нем нашла? Почти членкор. Женатый, песок из него, а тоже на молоденькую глаз положил. Хорошо, его жена, не будь дурой, прямо в партком обратилась. Советская семья, видите ли, разрушается. А он конечно струхнул, и все на нашу дуру свалил. Дочурку чуть перед дипломом их универа не погна-ли. Теперь этот Мишка-зятёк. Писатель! Так бы и раздавил его, мерзавца. Аспирантуру бросил, работать не хочет. Писа-ниной занялся. А за это у нас головы отрывают. Без анесте-зии. Подведет всех под монастырь. Что-то мне Несмеянов намекал, грозил даже... Космическая тематика... Выбор кад-ров... С кем породнился. Меня что, кто спрашивал? Иди ты спать в аптеку. Он же десять лет назад еще школьником был... Что же, что родители уехали. Он-то остался.

Чесноков опять посмотрел в окно. Дома, окна, крыши. Вместо неба — зарево какое-то. Показалось профессору, что дорога сильно в гору пошла. И затошнило его почему-то.

— Черррт! Укачало меня что ли? Тормози, водила! Ааа!

Таксист остановил машину. Пробурчал:

— Выходи, папаша! Заблевал салон, заплати!

Не хотел Чесноков на таксиста смотреть. Но все-таки посмотрел. Чиркнул глазами по месту, где должно было быть лицо. Не было лица у шофера. Серая кость с прилип-шими обрывками кожи торчала на месте подбородка. Вместо носа — что-то вроде сушеной груши висело. Глазницы пус-тые. Из одной змеиная мордочка высунулась. Язычком длинненьким по косточке провела и скрылась. А по бокам черепушки — огромные уши. Свиные!

Чесноков кинул на сиденье пятерку и быстро пошел в сторону. Слышал, как такси за его спиной развернулось и уе-хало. Обдав его ледяной грязью.

Профессор вытянул голову из воротника и осмотрелся. И ему тотчас же захотелось в родное Поволжье, к жене, в глубокую нору. Потер веки. Откашлялся. Плюнул.

Перед ним простиралось море. Он стоял на самом краю обрыва. Глухо стучали о прибрежные черные скалы темные волны. Среди них болтался как мячик голый труп беремен-ной женщины. Огромное брюхо белело в серой воде. Длин-

ные волосы разбросало во все стороны. На лице застыла зловещая ухмылка. Одной руки у нее не было, только кости из плеча торчали... На правой ноге — красный кожаный сапог до колена.

Метрах в ста от берега разглядел профессор ржавый танкер. Вокруг него чернело нефтяное пятно. В середине его плясал синеватый огонек... Еще дальше болталась в воде накренившаяся подлодка. Из полуоткрытого люка высунулся мертвый матрос.

Неподалеку покачивались полузатонувшие шлюпки, рядом с ними плавали трупы. На головах их сидели чайки, клевали. Неизвестные рыбы пенили воду хвостами.

Еще дальше виднелись глинистые плоские островки... На них торчали какие-то мачты с тележными колесами на концах. На колесах этих что-то белело.

На горизонте вставали водяные горы, разверзались гигантские водовороты, с неба спускались нити смерчей...

Слева на безлесном, запорошенном снегом, берегу стояла церковь с пузатым куполом. Церковь горела. От колокольни поднимался в небо столб дыма, длинные огненные языки вырывались из окон. Рядом с церковью профессор разглядел несколько мечущихся фигурок — люди не тушили горящее здание, они пытались спастись от преследующих их чудовищ, ходящих на каких-то длинных палках.

— Ну теперь точно, приехал! — подумал Чесноков. — Море в Москве. Чудовища. Инфаркт или инсульт?

Профессор услышал колокольный звон. Вспомнил почему-то деревушку, в которой провел голодное военное детство. Разрушенную церковь, расколовшийся на несколько частей колокол. Отца калеку. Рано умершую мать. Пожелтевшую репродукцию — Девушки с яблоками на грязной стене. Березки...

Повел головой. Смахнул слезу.

Безнадежно посмотрел направо. Тут вдоль берега стояли заводы. Корпуса тянулись до горизонта. Здания были почему-то не кирпичные, а железные, ржавые или алюминиевые. От заводов несло гарью и ядовитой химией. Они скрежетали, стучали, выли. Из многочисленных труб валил темно-фиолетовый дым.

Недалеко от Чеснокова возвышался железный ящик высотой с девятиэтажный дом. Одна из сторон его была полуоткрыта, как фрамуга. Из ящика как из выхода метро лезли неправдоподобно большие рыбы, крабы, креветки, медузы, морские звезды, осьминоги и прочая морская живность, наделенная каким-то злым духом способностью ловко ходить на ходулях и носить холодное оружие. Алебарды, пики, крюки, топоры, шпаги и кинжалы дополняли их острые плавники, зубы, клешни и щупальца.

Чудовища гонялись за людьми, снующими между цехами, трубами и газгольдерами. Несколько монстров двигались в направлении Чеснокова. Впереди шествовал на маленьких костылях четырехметровый фиолетовый ёрш... Он воинственно раздувал жабры и пускал из зубастой пасти бесесые слони.

Разглядев ерша, профессор задрожал, сжал кулаки и побежал в сторону от обрыва.

Хлопнула хлопушка. Квакнула лягушка. Небо свернулось в свиток. Свиток съел крокодил. Кто-то переключил телевизор на другой канал.

...

Чесноков оказался вдруг в хорошо знакомом ему спальном районе.

Вот и отливающие кафельной зеленью плоские коробки. А рядом полукруг из шестнадцатипятиэтажных красавцев, кооперативов улучшенной планировки... С другой стороны, как и положено, два ряда башен-кигов с синими балконами, детские площадки, школы, поликлиника. Чесноков боязливо обернулся. Вместо моря, горячей церкви и страшных заводов он увидел то, что тут и должно было быть — мирный заснеженный лесопарк, три небольших замерзших пруда и все те же, расставленные архитекторами как кубики, раздражающие своим однообразием, дома.

Нашел глазами дочкину девятиэтажку. Двинул домой.

Проход. Арка. Налево. Вход в подъезд. В тот момент, когда ключ Чеснокова поворачивался в подъездном замке, двухметровая клешня тихо подкравшегося сзади гигантского краба сдавила его грудную клетку. Чесноков натужно взвыл,

схватил клешню обеими руками и попытался разжать ее зубы. Услышал треск собственных ломающихся ребер. Захлебываясь кровью, проревел: «А, черррт!»

Тело профессора морские твари разодрали на части и сожрали еще до того, как в его голове затихла последняя мысль:

— Надо позвонить Пospelову, сказать, что не приду на сове...

...

Выписка тянется иногда дольше самой болезни. Уже темнело, когда измученные медицинской бюрократией Галя и Миша приехали домой. Удивились тому, что домоседа-профессора не было в квартире.

Мишу охватило мистическое предчувствие счастья. Он нежно поцеловал зареванную жену и спросил:

— Галчонок, тебе врач не сказал, когда можно приступить к активному воссозданию потерянного?

— Через две недели, если заживет... Миш, я об отце беспокоюсь.

— Нашла о ком печалиться... Сидит наверно с Пospelовым в «Пекине». Купаты доедает.

— А вдруг что-нибудь случилось?

— Случилось, случилось, только не с ним. Позвони матери и ложись, поспи, я супчик сварю с картошкой и луком... Не ресторан, конечно, но лучше чем в больнице.

Миша почистил картошку и лук, поставил кипятиться воду. Доставая из верхнего шкафчика солонку, посмотрел в окно. Там он увидел то, что и ожидал — темное море, труп безрукой беременной, горящую церковь и ораву ясеневских мальчишек, убегающих от идущих на огромных ходулях глубоководных рыб.

## ДОНОСЧИЦА

Ее звали Гривнева Марина Валентиновна. Маленькая женщина. Сутулая. Личико как у карлицы. Старомодные очки на сморщенном лисьем носике. Колючие глазки. Неприятные рябые руки с короткими уродливыми пальцами. Экзема на шее, локтевых сгибах и щиколотках. Полное отсутствие груди, задницы, бедер. Прямоугольник. И к тому же доносчица.

Уже в детских мечтах она была не учителем и не врачом, а следователем. Допрашивала предателей и диверсантов.

— Марина, — внушал ей отец-военный. — Мы живем в капиталистическом окружении. Все соцстраны с нами только до тех пор, пока мы сильны. Чуть что — изменят. А наше собственное население еще хуже, каждый третий враг народа. А может и каждый второй.

Стучать Гривнева начала еще в школе. Донесла на одноклассницу. Потом завучу — на классную руководительницу. Затем — в роно на директора. Хотела было после окончания десятилетки поступить на юридический факультет МГУ, но добрые люди отсоветовали — без блата пролезть туда было невозможно.

Гривнева поступила на физфак, ее окрыляла мыслишка о разоблачении физиков-вредителей. Училась неважно, но доносила на сокурсников исправно. За это ее распределили не на завод и не в провинцию, а в московский престижный научно-исследовательский институт.

Писала доносы Гривнева всегда ровно, спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая. Подражала классической русской литературе.

...

*За чаем говорили об исполнении советскими солдатами интернационального долга в Афганистане. Младший научный сотрудник Перепелкин называл помощь афган-*

скому народу агрессией, позорной афганской войной. Портит всем настроение. Утверждал, что недопустимо посылать войска в чужие страны и убивать там местных жителей. Старший научный сотрудник Привыкин заявил, — если мы туда не войдем, то войдут американцы. На это Перепелкин заметил, хохоча, что в Афганистане нет ничего кроме гор, пустыни и ослов, что американцы не такие дураки, лезть туда, где англичане за сорок лет войны ничего не добились. Мне кажется, коллектив скорее осуждает операцию в Афганистане, чем поддерживает. Видимо, многие не уверены в том, что официальное объяснение военных действий правдиво. Плохое впечатление на сотрудников лаборатории произвел призыв в армию и отправка в Афганистан сразу двух аспирантов нашей кафедры. Мое замечание о том, что СССР обязан заботиться об укреплении своих южных границ, Перепелкин прокомментировал сатирически — предложил позаботиться об укреплении границ СССР с Северным полюсом и послать на дрейфующие льды войска для подавления возможного путча белых медведей.

Старший научный сотрудник Эстонец-Красный заговорил о недавней высылке в Горький академика Сахарова и его жены. Он сказал, что давно пора дать по рукам этим, пригревшимся на груди народа, змеям, подчеркнул что ссылка в Горький — показатель гуманности и терпеливости советского руководства. Его мнение было поддержано всеми сотрудниками лаборатории, кроме Перепелкина, который, глумливо хихикая, заявил, что у змей нет рук, и что негоже великой атомной державе бояться старого больного ученого и его полуслепой жены. Допускал оскорбительные высказывания о руководстве КПСС и СССР (у стариков пережали реанимационные шланги, вот они и сбрендили, в Афганистан поперли и отца нашей водородной бомбы замариновали). Возмущенный отпор инсинуациям Перепелкина дали следующие товарищи: Парторг лаборатории снс Лакшин, снс Привыкин, снс Эстонец-Красный. Согласно разнарядке, я намекнула, что академик Сахаров находится под каблуком Боннэр, матерой антисоветчицы. Привыкин заметил на это — муж и

*жена, одна сатана. Перепелкин сказал, что в будущем всем будет стыдно за то, что никто не вступается за Сахарова. Лакшин шутливо предложил Перепелкину вступитьяся. Перепелкин покраснел и покинул чаепитие. После его ухода разговор не касался важных политических тем.*

...

Ни семьи, ни любви в жизни Гривневой не было. Но мужчины были, несмотря на ее отталкивающую внешность. Или благодаря ей. Последний ее любовник, парторг лаборатории Лакшин, считался примерным семьянином. Регулярно покупал жене цветы. Участвовал в работе родительского комитета в школе, где учились его дочери.

Лакшин посещал квартиру своей любовницы каждую среду. Солидный седеющий мужчина, доктор физико-математических наук, руководитель семинаров, изобретатель и неизменный председатель избирательной комиссии превращался тут в сладострастного кобеля. Уже в прихожей Лакшин скидывал одежду, завязывал себе на шею бантик, на ноги и руки надевал мягкие болгарские тапочки в форме собачьих лап. Служил, давал лапу. Гривнева надевала безрукавку из мягкого козьего меха. С бирюльками и дырками для сосков. На руки и ноги напяливала, как и Лакшин, собачьи тапочки.

Шумно лакали из поставленной на пол глубокой тарелки красное крепленое вино. Опьянев, гонялись друг за другом по старому ковру, на котором валялись разноцветные шелковые подушечки. Играли в собачек. Проигрыватель аккорд изрыгал марш «Прощание славянки» в исполнении краснознаменного оркестра армии и флота.

Кобель бегал за сучкой, сучка виляла задом, убегала от кобеля, тряся бирюльками. Догнав Гривневу, парторг грубо хватал ее за соски, а она расставляла пошире ноги, чтобы он мог поглубже всунуть свой длинный толстый нос в ее заскорузлую промежность. Во время последующего спаривания отрывисто и натужно лаяли, рычали, выли и тряслись. Да так громко, что соседи начинали названивать. Им не открывали.



Дома Лакшин заискивал перед женой и дочерями. Ему было стыдно. В наказание самому себе стирал для всей семьи. Вручную, хотя у них и была стиральная машина. Тертеркой детское мыло. Замачивал и затирал кровавые пятна на нижнем белье жены. А на партсобраниях особенно яростно осуждал и травил тех, кого велено было осуждать и травить.

Гривневу совесть не мучила. Она принимала душ, листала «Новый мир», а затем уезжала в Фили ухаживать за старой матерью. По дороге покупала продукты. К матери в квартиру входила бодрая, веселая, деловая... Говорила звонко, громко...

— Мамочка, как поживаешь? Ничего, ничего, простынку мы новую положим, сухую, она кусать мамочку не будет... Что? Нет, погода прекрасная, дождь со снегом. Как на работе? Все прекрасно, диссертация почти готова, коллеги — умные, интересные люди, климат в лаборатории замечательный, ко мне относятся с уважением...

Мать Гривневой, бывшая партийная работница, страдала старческим слабоумием. Ее дочь каждый день бывала у нее, ухаживала, готовила, убиралась. Ни за что не хотела сдавать в дом для престарелых. Может быть потому, что мать была единственным близким ей человеком. Собачья любовь с Лакшиным за рамки чувственного не выходила... С коллегами по лаборатории ее отношения напоминали отношения автора со своими героями. Отец умер двадцать лет назад. Брат Аркадий жил в Ленинграде и знать ее не хотел. Пил дешёвый портвейн, вырезал лобзиком скабрёзные картинки и напевал часами похабную песню на мотив Землянки.

...

— Мама, сегодня мыться!

— Нет, не надо, не хочу. Опять Каганович будет подсматривать! И мыло украдет. Сегодня опять меня душил, сионист, убийца в белых халатах...

— Мама, он что, сразу несколько халатов носит?

— Ты его еще не знаешь! Он голый! Здесь, под кроватью! Посмотри, посмотри, усищи видно!

Гривнева демонстративно отдергивала простыню и глядела вниз — мать лежала на диване, залезть под который и кошка бы не смогла.

— Нету усов под диваном, мамочка, все хорошо, не беспокойся...

— Лазарь наверно в стенном шкафу прохлаждается...

— Стенной шкаф был в старой квартире. Нету его, ни в шкафу, ни в холодильнике.

Мать Гривневой знала Кагановича еще по Украине, где Лазарь Моисеевич был первый секретарь, а она работала в аппарате... Каганович был ее идеей фикс. Он подглядывал за ней в ванной, кусал ее за пальцы, бил ночью по голове подушкой, шевелил в темноте огромными черными усами, а по утрам душил.

— Ну, вставай, мамочка, ванна полная. Вода не горячая, приятная. Полежишь, я тебя помою, вытру, будешь сверкать как ёлочная игрушка...

— А Каганович воду не отравит?

— Нет, нет, что ты? Никто воду не отравит. Московская хорошая водичка. Не то, что у нас в Люберцах, вонючая вода. Чистая, голубоватенькая, тепленькая. С хлоркой.

— Каганович всю воду в Москве выпил!

— Нет, мамочка, немножко водички осталось. Вот, головку мамочке вымоем... А если мамочка будет смирной, дадим ей мороженое... Сливочное, по сорок восемь копеечек.

— Не хочу сливочное, хочу орден Ленина!

— Будет тебе орден, будет. И Ленина и Сталина и злого татарина.

— Только не надо орден Кагановича! Он такой противный, все время жужжит и под мышки лезет... Как метропоезд. Вжу-вжу-вжу... И уже под мышками.

— Неет, мы никому не позволим мамочке под мышки лезть, ни Лазарю, ни Моисею, ни дяде Евсею, пусть они другу другу под мышки лазият! Ну вот, теперь вытираться!

...

*Вчера в актовом зале по инициативе институтского кино клуба и работников кинотеатра «Иллюзион» была показана французская картина «Большая жратва». Поч-*

ти все сотрудники присутствовали на сеансе. Затем обсуждали фильм в лаборатории. Эстонец-Красный, который, выполняя партийное задание, жил несколько лет в Париже, вслух порицал картину, а украдкой утирал слезы. Перепелкин рассуждал о закате Европы. Потом прибавил не к месту — нам бы такой закат. А заключил свою речь следующей издевательской сентенцией — хоть один раз в жизни на весь институт добыть бы столько мяса, сколько эти Местрояни за один фильм слопали. Нажраться от пуза. Лакишин уточнил, что много мяса только у буржуев, а пролетарши в капстранах ходят голодные. Сладкоежка и автолюбитель Привыкин поддержал Перепелкина, заявив — а я бы такой тортик попробовал, какой у них там, ой, попробовал бы, и на Бугатти тоже покатался бы с удовольствием. После этого все возбудились и начали хвалить все, что видели и слышали в фильме. Женщины восхищались роскошью обстановки, элегантной одеждой. Эстонец-Красный говорил об архитектурных особенностях виллы Буало и о меланхолической мелодии зимнего Парижа. Секретарша Мочалкина тоже заплакала — так ей понравились пеньюары.

Я сказала, что фильм упаднический, порнографический. Демонстрирует пассивность и распущенность зажиточного класса в эксплуататорском обществе. Перепелкин сделал странное заявление — СССР погибнет из-за того, что порнография в нем запрещена, мужчины всегда будут тайно на стороне той общественной системы, где можно свободно смотреть порнуху. Привыкин сказал — СССР погибнет? И не мечтай!

Не знаю, кому можно в лаборатории доверять. Я знакома со многими сотрудниками уже больше пятнадцати лет и, тем не менее, должна признаться, — я не знаю, что они на самом деле думают, что замышляют. Мне становится страшно от мысли, что они не контролируют себя сами...

...

В пятницу с Гривневой беседовали. Некто капитан Мальков, старый мальчик с лицом барса говорил, не скрывая раздражения: «Поконкретнее, пожалуйста, пишите. Расставляйте

акценты. Ваш любовник, товарищ Гривнева, этот Лакшин, намылился в Израиль. Подал заявление на выезд. Дикое, не по правилам. Через голову прыгнуть решил. Вместе со всей семьей. А вы нам ничего не сообщаете! Может быть, и вы с ним хотите поехать? Жена, дочери и пуделек на поводке?»

Гривнева оторопела. Затем взяла себя в руки и отчеканила:

— Пишу как могу. И прошу не забывать — я сошлась с ним по вашему прямому указанию. О подаче документов на выезд я ничего не знала. Я не гипнотизер. Связь с ним сейчас же прекращаю.

Мальков скривил прыщавый рот, но смягчился:

— Не горячитесь, Марина Валентиновна... Мы вас ценим. А насчет Лакшина... Прошу вас связь не прерывать, а наоборот, особенно внимательно... Приглядеть. Послушать. Лакшин посвящен, как вы знаете, в конструктивные детали важного для обороноспособности нашей страны проекта, у него высокий допуск, мы его, конечно, за границу не выпустим. Он не глуп и это понимает. А заявление все-таки подал. Что за этим кроется? Наивность? Или что-то большое? Может быть, он ищет канал для передачи государственных секретов иностранной разведке. Следы замечает. Или, может быть, уже нашел? Давно нашел. И течет по этому каналу секретная информация из института. А вы нам его возражения на лабораторских чаях цитируете. Перепелкина закладываете. А он и так наш человек.

— Как?

— А так, про принцип двойной бухгалтерии слышали? Прошу вас о нашем разговоре ему не говорить. Работайте и дальше, как раньше. Лакшина попробуйте разговорить. Проследите его контакты. И помните — время у вас в обрез. Не получится разговорами, применим к товарищу Лакшину другие методы воздействия. Санкция получена. Не забудьте в кассе ваши тридцать рубликов получить. Вот бумажка. На втором этаже, сектор И.

...

В следующую среду Лакшина ждал в квартире Гривневой сюрприз. Любовница его была одета в ненавидимое им бардовое платье. Вместо приветствия сказала мрачно:

— Борис, есть серьезный разговор, пойдем на кухню.

Как будто трупным запахом обдала. Лакшин понял, что собачьей свадьбы не будет. Не будет красного вина, «Прощания славянки» и козьей телогрейки с бирюльками. Понял, что Гривнева знает про Израиль. И про то.

В кухне сели на табуреты, Гривнева налила крепкий чай в стаканы. Положила на стол белый хлеб, сливочное масло и любительскую колбасу. Лакшин есть не мог. Взял подстаканник и начал нервно его вертеть своими большими розовыми руками с ногтями лопатой. Читал почему-то еще и еще раз надпись на подстаканнике — «Слава покорителям космоса». Она казалась ему особенно гнусной.

...

— Откуда ты знаешь?

— Не важно.

— Выпустят?

— Нет.

— Другое знают?

— Борис, как ты мог, ты же парторг! У тебе же дети!

— Для детей и старался. Что делать?

— Иди к ним сам.

— Семью не тронут?

— Может быть, даже выпустят.

— А меня?

— Если сам все расскажешь, дадут десять, начнешь вертеться, убьют.

— Значит, не видать мне Яффы?

— Только, если станешь работать на контору.

— Время у меня есть?

— Мало.

...

Приехал Лакшин домой раньше обычного. Лика ушла за покупками. Дочки торчали у подружек. Лакшин открыл нижнюю, запирающуюся на ключ, полку письменного стола, вынул оттуда тоненькую папочку с несколькими листочками и фотографиями, разорвал все в клочки и унес остатки в кухню. Положил их там в кастрюлю и неловко зажёл. Помешал пальцем пепел. Обжёгся. Пососал палец. Достал из холодильника любимый пирог с капустой. Отрезал кусок и, не

торопясь, съел его, потом торжественно открыл на кухне окно и, ни секунды не колеблясь, прыгнул в пустоту, неловко растопырив руки.

Он упал прямо перед их подъездом. Как раз в тот момент, когда к двери подошла его жена Лика с двумя полными авоськами. Лике показалось, что кто-то ударил ее молотком в ухо и обрызгал. Она резко обернулась и увидела черную фигуру на асфальте. С разных сторон двора к фигуре бежали люди. Вдохнула сырой московский воздух, а выдохнуть не смогла. Смахнула зачем-то капли крови с воротника пальто. Села на грязную ступеньку. Хотела крикнуть: «Помогите!» Но крикнуть не получилось, тяжелая грязная улица поднялась и ударила Лику в висок.

...

*К сожалению, проследить контакты покойного Лакишина мне не удалось.*

*Его смерть была спокойно воспринята в коллективе. На похоронах присутствовали родственники и официально уполномоченные парткома института. Кроме того на похороны пришли бывшие однокурсники Лакишина, в том числе отъявленный диссидент Бабицкий.*

*Бабицкий выступал на гражданской панихиде. Из его речи мне запомнились следующие пассажи — «Самый подлый и опасный миф, который вбивают нам в голову с детства, это миф о верховенстве государства. Оно провозглашается идеологами главным субъектом существования. Каждая смерть, и особенно смерть друга, доказывает ложь подобной конструкции. Государства нет. Есть только ты, я, друзья, родные... Есть человек, есть дерево, а государства нет. И каждый, кто внушает тебе, что не ты, и не твой ребенок являются главными носителями бытия, а некая антропоморфная абстракция, — мерзавец. Утопическое государство с идеальным общественным устройством играет роль приманки, смотря на которую, бегут по жизни, как белки в колесе, люди... Мы не колесики в вашем государстве-олигофрене, не его рабы и не его клетки. Мы — единственная цель природы, носители чувства и разума. А коммунистический истукан — только прикрытие для узурпирующих власть скотов».*

*Я рассматриваю высказывания Бабицкого как особо злостную провокацию против нашей коммунистической идеологии и советского государства. Странно, что никто из членов парткома института не дал отпор этой диверсии. Испугались. Или сочувствуют? Надо проверить. Каждого. Персонально. У меня нет на это сил. Помогите.*

...

На сороковой день после смерти Лакшина Гривнева сломалась.

Приехала вечером от матери усталая и злая. Восемь часов на работе, дорога, магазины, хлопоты у матери, еще одна дорога... Недалеко от дома к Гривневой пристал какой-то солдат. Вынырнул из подворотни, схватил за плечо, посмотрел в глаза мученически и попросил, слегка заикаясь:

— Пойдем со мной, тетя... Ппойдем!

Гривнева гневно посмотрела на солдата, оторвала его руку от своего жилистого плеча и выпалила:

— Канай отсюда, служивый, ловли нет! Так выражаться ее научили знакомые с блатными работодатели. Солдат выпучил глаза и проямлил:

— Ккакие они ггордые! Ттёлки! Лладно... И исчез в темноте.

Дома ожидала одна морока. Живот почему-то схватило. Кашу пришлось варить овсяную. Гривнева долго мешала кашу, потом отвлеклась, вышла на минутку. Каша пригорела. Есть было неприятно. Индийский чай из заказа. Печенье курабье. Телевизор даже не включала, скучно, тягомотина... Решила было начать составлять донесение, но ничего важного припомнить не смогла. Только о мелочах говорили. Даже вспоминать было противно. Долго гладила белье. Подумала, что зря не пошла с солдатиком. Никто никогда не хотел ее так, просто... Всех своих любовников Гривнева завоевывала сама, боролась за них, интриговала, совращала... По приказу. В памяти как кит из пучины всплыли почему-то давно забытые строки стихотворения, выученного для выпускного экзамена по литературе. «Жизни мышья беготня... Что тревожишь ты меня... Что ты значишь, скучный шепот... Укоризна или ропот... Мной утраченного дня».

Легла спать в маленькой спальне. Небольшая лежанка стояла напротив окна. Гривнева не закрывала штор, любила, лежа, смотреть на окна соседних домов. Гадала — не покажется ли в небе звездочка. В чужих окнах мелькали темные фигуры, оттуда доносились крики младенца, вопли...

Жизни мышья беготня, — подумала Гривнева и заснула.

Проснулась она от грохота в ушах.

Что-то било, звенело, грохотало. В три часа ночи. Гривнева в ужасе зажала уши руками. Разжала... Тишина. Тихо было в спальне до боли в ушах... Гривнева встала, подошла к окну и сразу поняла, что попала в какой-то другой мир. Мир одного мгновенья, затянувшегося на вечность. В окнах соседних домов — ни огонька. И на улице темно. Фонари не горят. Серый свет, как туман. Висит. Деревья застыли. Все как будто из воска вылеплено. Или из папье-маше. Асфальт в каких-то грязных струпьях. Стены домов облупились. Вот-вот обрушатся и покажут домашние внутренности... Кора на деревьях местами отслоилась и отвалилась... Небо — не бездонное пространство, а серый шатер, старый, дырявый. Через дыры просвечивает не темная голубизна со звездами, а черная зловещая пустота.

Стало Гривневой страшно. Показалось, что сердце остановилось. В ужасе стала она искать на запястье пульс — и не нашла. Решила встать под холодный душ, авось морок и пропадет. Отвернула краны, а вода полилась сухая, как песок. Ринулась в кухню. Открыла холодильник, схватила треугольный пакет с молоком, прыснула в горло, — но ни холода, ни текущего молока не почувствовала. Молоко было как горячий воздух.

Подошла к окну. Впилась глазами в мертвое пространство. И заметила тень. Тень от чего-то большого, от дирижабля что ли, медленно ползла по асфальту.

Мысли скакали в голове как лягушки в банке, пытались выпрыгнуть, но не доставали до краев. Тень? Какая тень, если солнца нет? Дура, вот оно солнце, как же я его раньше не увидела. Или это Луна? Нет, черное солнце. Или черная дыра? Дьявольщина. Все правильно — солнце черное, а тени серые. Где этот дирижабль? Во, во... Летит... Да это... Боженька!... Это же собака огромная. А голова у нее человеческая. И бантик на шее. Лакшин это.



Да, это был ее любовник, старший научный сотрудник Лакшин. Ее верный кобель. Даже тапочки на нем были те. Только не цветастые, а серые. И все тело было серое, с пятнами. Из резины... Надутое.

Дирижабль медленно подлетел к окну Гривневой. Лакшин постучал лапой в стекло. И вытаращил на нее свои мертвые глаза.

— Милочка, крошечка... Кр-кр... Каааак ты без меня? Корраблик воздушный построила? Без корраблика ползать придётся... Ходить-то тут нельзя. Провалиться можно. Земля не держит...

— Что это? Где мы, Борис?

— Мы в нигде... А нигде в нас... Не бойся, маленькая. Я дам тебе свой корраблик. Полетаем над Москвой. Твой барбосик тебя не укусит в носик... У-у-у-умер парторг Лакшин. Дай, дай мне лапу!

Гривнева протянула дрожащую руку прямо через стекло. Стекло мягко поддалось и пропустило. Страшный летающий пес схватил лапой руку и приказал: «Тяни!»

Гривнева потянула и втащила Лакшина мордой вперед в спальню. Прямо через стекло и раму. Лакшин был такой большой, что смог влезть в комнату только наполовину, задние его лапы и хвост остались на улице...

Гривнева спросила: «Я сплю, ответь!»

Голова ответила: «Ты и не просыпалась никогда».

— Что же будет?

— Будем как дирижаблики летать... Наа воздушном океане... Беез руля и без ветрил...

— И я?

— И ты и я и Мальков. Такая разнарядка, кому по делам, кому по вере, а нам — по моррде... Меня, вишь... В команду сфинксов определили. Кр-кр-кр... Кроватку тебе надо сменить. Давно хотел сказать, но вот видишь, заигрался на лягушачьем клавишине, запоматывал.

— Скажи, скажи, что будет.

Голова разозлилась: «Дальше ничего не будет! Сколько можно повторять. Девушка, не хочешь пожевать носки старичка Молотова? Они ладаном пахнут. Вот, в метро людшек полно и все носочки жуют... А старушки крашенные яички кушают. Гопца-гопца-гопца-ца! Поиграем в косточки?»

Тут голова открыла страшный мертвый рот и Гривнева увидела, что под языком у нее лежит белая игральная кость. Кость эта лопнула с треском и из нее вылезла принцесса Турандот. Ее тело из светящегося нефрита, а глаза из нежной бирюзы.

Принцесса Турандот подошла к Гривневой. Положила ей руки на плечи, притянула к себе и прижалась.

...

На следующий день Гривнева объявила шефу лаборатории Шанскому, что она дочь императора Альтоума. Тот был третий калач, начальствовал еще при Берии. Успокоил ее и скорую вызвал.

А через неделю на стол Малькова легло последнее донесение Гривневой.

*Дорогие персидские принцы!*

*Холоден нефрит, а свет — еще холоднее нефрита. Из него можно только китайский фарфор делать. Прошу вас, красьте волосы только в облаках. Иначе у вас заведутся червячки. Я покрасила мои кудри в Москве-реке. И с тех пор меня жрет червь. Слышите, как колокольчики звенят? Это на Ленинских горах лыжники с трамплина прыгают. Меня туда папа водил. Я думала — это белое блюдо, а папа сказал — это Москва. Там с неба падает замерзшее молоко. На земле лежат ириски. А у всех деток леденцы как воздушные шарики. На ниточках.*

*Говорят, на Лобное место пускают только по приглашениям. А приглашения собачка выдает. В царской башне на цепи сидит, дворняга ученая. Говорить научилась и писать. Как проснется — начинает строчить, а кузены читают и нахваливают. Деловые! Славные ребята, эти кузены. С пылесосами ходят. Несмотря на то, что они коты. Красную площадь когтями исскребли! Вот шкоды. Одни бульжники остались. И невесты. Там пирожные прямо с храма продают. От куполов отрезают. Там стены из красного мармелада стоят. А в могилах личинки розовые. В черной норе куколка лежит. Хотите за носик потянуть? В карманчике платочек. Зубки желтенькие оскалила, может и сопельки пустить. Лобик как лобок. А пальчики у нее из пастилы. На щечках волосики нейлоно-*

*вые. А на ногах лаковые сапожки. В обувном у «Прогресса» из-под прилавка продают. Берите, носите. Мне три батона и ситец на блузочку. И полкило кураги. Ну я пошла! Полетела птичка певчая. На обратной стороне Москвы гнездышко свила. Не ходите за мной, мальчики, туда тrefовым королям нельзя. Там лимоны в прятки играют. И боженька на пеньке сидит, мелочь пересчитывает. Пятачки и гривеннички — в лукошко кладет, а копеечки под ноги бросает. Чтобы кукушке куковать не расхотелось.*

...

О дальнейшей жизни Гривневой известно немного. Три месяца в году она проводила в больнице. Во время обходов и процедур умоляла, чтобы ее не мучили. Остальное время жила дома. Когда ей рассказали о смерти матери — даже не заплакала. Только спросила, прилетали ли желтые аисты на похороны.

К Гривневой приходила медсестра. Помогали соседи. Бывшие коллеги по институту ее не навещали. Ни работать, ни писать донесения она не могла. Не буйствовала, домашнее хозяйство вела сама, покупала продукты и за собой ухаживала как умела. Сидела на своей лежанке. Смотрела в окно. Смеялась. Разговаривала с кем-то. Так и прожила почти тридцать лет. Умерла дома во сне.

Наследников у Гривневой не было. Соседи забрали книги. Остальное барахло выкинули на помойку. Не было и людей, готовых оплатить ее похороны. Неостребованный труп Гривневой пять месяцев лежал в морге люберецкой районной больницы. Тело кремировали и похоронили за казенный счет.

## ЧИНГАЧГУК

Всю ночь перед свадьбой Олег нервничал. Ворочался, боролся с простынями и назойливыми мыслями. Свадьба представлялась ему в виде бесконечного, падающего откуда-то сверху, белого полотенца, которое приходилось складывать в штабеля.

Он складывал, складывал...

Штабеля беззвучно и медленно валились. Олег поднимал, поднимал их, задыхаясь от запаха крахмала, методично выравнивал края.

Под утро проклятое полотенце превратилось в огромный белый ковер. Снилось Олегу, что лежит он на нем, голый и счастливый, а рядом с ним растянулась его невеста — самочка-косуля. И он любезничает и балуется с ней на ковре. Держит ее за изящные копытца, целует в породистую мордочку. Вдруг в комнату вбегают страшный косматый старик. Он рычит и дико поводит выдувленными глазами. Замахивается огромным топором. Олег заслоняет невесту своим телом. Принимает удар на себя. Топор рассекает широким закругленным лезвием кожу и лобную кость, входит в мозг. Олег слышит собственный курлыкающий предсмертный крик.

Гадкий мальчишка кинул камень в птичью стаю.

Живые страницы его жизни разлетаются как воробы.

Чирикать, чирикать! Обиженно.

Старик не выносит птиц. Он хватает их на лету и тащит корявой лапцей в пасть. Там горит огонь. На огне — котел с кипящей кровью.

Чирикать! Чирикать! Авось пронесет.

Олег проснулся, поискал глазами на противоположной стене припиленную к обоям репродукцию Ангела с золотыми волосами, нашел, умилился, и только после этого

встал. Засунул простыню, одеяло и подушку в остро пахнущее клеём фанерное брюхо двуспальной кровати. Зашел в туалет. Поразился какому-то особенному, ромашковому цвету своей мочи.

Ромашка. Пряная мать матрикария.

Что ты так разнервничался? Пульс сто. Того и гляди горячим керосином мочиться начнешь!

Старик, тебе не в загс, а в поликлинику надо.

Лег в ванную. Рассматривал там свои сморщенные мужские достоинства, которые его невеста еще и не видела. Гадал, понравится ли он Юле голый. Мечтал.

Вот они усталые, но счастливые, приезжают наконец в их новую квартиру. Он ложится на кровать, а она, ласковая, возбужденная раздевается перед ним, медленно и сладострастно. Садится на кровать, раздвигает бедра и кладет одну его руку на свою трепещущую грудь, другую — на выбритый лобок...

Какую-какую? Опять птичья метафора?

Воробьиные у тебя мозги.

Как это все пошло! Свадьба, платье, невеста, жених. Курицы, петушки. Зачем тебе эта жеманная косуля? Тебе бы в жены — жирную свинью. Обнимать ее, нюхать у нее под хвостом, сосать молоко из ее розовых сосков и хрюкать.

Все просто, как в бане. Ты боишься того, чего алчешь и хватаешься в панике за нечто противоположное. Слабенькое, хрупкое.

Как ножка у вареного воробышка.

Боишься самого себя, хрящегрыз, свиноёб!

Хочешь спрятаться в бульоне?

...

Олег тщательно вымылся, особенно долго тер промежность и шею. Побрился. Подстриг ногти и заусенцы на ногах и руках. Вырвал пинцетом несколько волосков в носу и на ушах. Обрызгался дезодорантом так обильно, что кожу обжог. Надел хрустящую белую рубашку, новый, коричнево-серый костюм, повязал зеленоватый с блестками галстук, посмотрел на себя в зеркало. Увидел фатоватого парня двадцати двух лет, смущенного жениха, дубину стоеросо-

вую, как называла его бабушка, когда он приносил из школы двойки по физкультуре или труду. Не удержался и немного почирикал.

Юлька-то наверно девственница.

Обещалась девичество свое хранить в целости до живота своего...

Приснодева-косуля.

Говорят, косулье мясо надо три дня в уксусе вымачивать.

А награда — полгода потной возни, прежде чем удовольствие получишь.

Девственница-лиственница.

Чиркнуть там разочек топором — и нет проблем.

От этой мысли Олегу стало дурно. Он приблизил лицо к зеркалу, посмотрел на свой угреватый нос, и попросил себя — заткнись, пожалуйста, заткнись!

Пошел в кухню.

Отломил кусок черного хлеба и долго его жевал, запиная розоватой водой из большой стеклянной банки, в которой плавал лохматый гриб Солярис. Посмотрел на часы и зажмурился в отчаянии от неотвратимости свадьбы.

Ты юлькин муж?

Недотепа, мечтающий о жирной свиноматке — муж солнечной Юлочки?

Посмотри на свои ногти на ногах!

Неровные, гадкие, грязные в углах, сколько их не мой, врезавшиеся в мясо.

Разве можно любить человека с такими ногтями? Иди в свинарник!

Муж.

Это слово отдавалось в его голове как удар тупым концом топора в лоб.

Из буквы «м» выползли ноги и голова, голова обросла бородой, вертлявый «уж» превратился в топор и Олег узнал в этом слове косматого старика. Попытался загнать его обратно в слово. Не вышло.

Ловец. Поймал меня. Верхом на свинье.

Олег замычал как бык, которого на бойню гонят.

Зажужжал как шмель.

Зачирикал.

Свадьба. Свадьба. Свадьба.

Две нагие фигурки плещутся в тазу с вишневым вареньем. Раньше киношники для имитации крови использовали.

Сладкая кровь.

Свадьба.

Сводятся-свадятся-свариваются.

Нежная юлина грудь. Вишенки-сосочки.

Собрал Бог пальцами кожу и проткнул дырочку. Палочкой для коврыяния зубов.

Один раз только поцеловал. Застыдилась. Запахнулась судорожно.

Потом! После!

Когда потом? После чего?

После смерти охотник на флейте играть будет. Или делает фанфару из ружья.

Понравлюсь я ей? Нормальные люди это до свадьбы выясняют. А не в тазу с вареньем.

Только идиоты устраивают свадьбу. Опять ты не настоял на своем.

У трусишки что в трусишках? Побоялся. А чего?

А того, что тебе откажут. Испугался Юлечку потерять, прекрасную газель.

А теперь — свадьба-бойня.

Там пороят током бьют. Мясики-мордovorоты. Хрюкнет поросеночек, дернется и все. Закончилось земное бытие. Отлетит душа в сторону небесного свинарника. Встретит ее огромный хряк-вседержитель. Вздохнет.

...

Пора было к родителям ехать. Олег решил такси не брать, пожалел деньги. В автобусе пришлось терпеть многочисленные взгляды пассажиров. Какой-то мрачный тип оглядел его, усмехнулся презрительно, и сказал:

— Пижон! К станку бы тебя! На трубогиб. В ночную смену. Белорубашечники...

Олег еле слышно прошептал:

— У меня сегодня свадьба...

Тип неожиданно помягчел:

— Извини, браток, не разобрал. Сам вот который год маюсь. Как я в Наре телку свааатал. Отказала — долго плаааакал...

...

Откуда это в нас? Непременно оскорбить ближнего. Подставить ножку.

Чтобы в грязь упал.

Чтобы сидел как все в дерьме. В пятом, советском, океане дерьма.

Вот и стали мы все нырятьлики. Аквалангисты в канализации.

Побрей матушке России ноги, подполковник!

Не захлебнись в Сандунах!

...

Родители предложили позавтракать. Олег отказался почти грубо. Мать все поняла, но сына не пощадила.

— Ишь, какие мы нервные. Слова не скажи. Как ёжик. Слышь, отец, мы тоже такие были?

— Я из туалета не вылезал. За что боролся. Окольцевала, змеюга. И намордник надела. Белого света не вижу. Так и знай, сын, всю жизнь твой папа на коротком поводке. Служит Полкан. Где мячик? Апорт! Ах, не слушай ты нас, старых крокодилов, радуйся, твой день сегодня. Твой и Юлечкин! Мать, как ты думаешь, мой оранжевый галстук к маренговому костюму подойдет? Чай не похороны!

— Ах, Владик, надевай что хочешь. На поводке он, видите ли. Разоделся. Перед молодухами щеголять. Все равно выглядишь как старый попугай. В театр ходил в зеленом свитере!

— Как Ив Монтан!

...

Выехали в одиннадцать на трех машинах. Полдвенадцатого подъехали к загсу. Кортёж невесты прибыл, как и полагается, с опозданием. Фата никак не хотела закрепляться на пышных юлечкиных локонах. Молния порвалась на новых сапогах тещи. У тестя обострились боли в пояснице. А девяностолетняя бабушка невесты заявила,



что никуда не поедет, потому что воры утащат ее гжель. Оставить ее одну нельзя. Уговорили соседку до вечера посидеть. Та разохалась.

— Юлечка замуж выходит! Малиночка наша! Да за кого? За этого, длинного, что ее полгода на улице пас? Видали! Неужели кого посolidнее найти не могла?

...

В загсе Олег вел себя как зомби — вставал, куда указывали, говорил, что велели, слушал тетку с широкой атласной лентой через плечо, по комплекции и выражению лица похожую на участницу американской борьбы рестлинг. Слушал и не понимал, что она говорит. Послушно подписал какую-то бумагу с вензелями и звездами. Терял галстук. Хотел одного — чтобы все поскорее кончилось. Чтобы можно было уйти от людей. Приехать домой. Скинуть дурацкий костюм, галстук, содрать с себя кусачую рубашку, открыть форточку, впустить в комнату холодный воздух мартовской Москвы, принять две таблетки цитрамона, почирикать и заснуть.

Заснуть?

А как же — то?

Зачем тогда свадьба, вишневое варенье, локоны?

...

После оформления брака поехали на Ленинские горы, смотреть на Москву. Над городом висела морозная дымка. Метромост, казалось, обрывался в воздухе и не переносил храпящих металлических бегунов с Ленинских гор туда, вниз, в прогорклое московское брюхо, а выбрасывал их в туманное небытие, из которого вырывался поток ревущих, воплотившихся в волги и лады демонов.

Выпили водки и советского шампанского. Сфотографировались. Прокричали «горько».

Олег считал зачем-то снежинки, падающие ему на лоб.

Ну что, это все?

Десять.

Теперь я муж? А Юля жена?

Одиннадцать.

Почему ничего не произошло? Природа не заметила. Ха-ха!

Двенадцать.

Ни Бог, ни черт никак не отреагировали. Всем до фени.

Тринадцать.

Бог — квадратный корень из минус единицы.

Четырнадцать.

А как же птицы летают? Они конформных отображений не проходили.

Пятнадцать.

Вся жизнь — пустоты и мнимости.

Шестнадцать.

Прилетела комета, шмякнулась, вывалилась из нее клеточка. Одна. Может, слетела с ногтя какого-нибудь космического урода.

Семнадцать.

Упала в теплую воду и стало ей там хорошо. Пожрала чего-то и разделилась.

Восемнадцать.

И пошло. Встали с четверенек. Уши, глаза, руки, задница.

Девятнадцать.

А в голове — все еще тот, исконный вопрос, с которого все началось.

Двадцать.

Где тот самый ноготь, с которого мы сорвались?

Москва сорвалась с Ленинских гор.

Двадцать один.

...

Друзья заглядывали Олегу в лицо, пожимали руки, хлопывали по плечу, спрашивали: «Ну что, старик, ты доволен? Готовишься к ночке? Не горюй, не боги горшки обжигают!»

Олег ничего не отвечал. Все думал, думал.

Смотрел иногда в глаза Юлечке, искал поддержки. Но Юлечку не тревожили метафизические проблемы, она думала о платье, о прическе, о новых белых туфельках. Воображение прекрасной газели не бежало как та телега, впереди лошади, а еле поспевало за ней. Ее занимала пузатая лакированная тыква с подарками и сюрпризами — церемониаль-

ная свадьба в ресторане. Возлияние медовухи на алтарь домашних богов. Пожирание соленых и перченых внутренностей жертвенных животных.

Юлечка с наслаждением гладила толстенькое золотое кольцо, плотно обнимающее ее изящный безымянный палец с бело-розовым ногтем и представляла себе радужные картинки.

Вот хорошо тренированные супруги-теннисисты на белом пароходе у Ласточкиного Гнезда. Морской ветер играет ее золотыми локонами.

Счастливый отец везет на санках двоих веселых бутузов.

Белобородый, неловкий в своем красном кафтане, Дед мороз, вручает детям подарки рядом с горящей разноцветными огнями елкой. На вершине елки — сыплющая алмазные брызги звезда. Горные лыжи в Терсколле.

Журнал «Вопросы литературы».

Конгресс в Бостоне.

...

Подруги поддерживали Юлю, помогали не запачкать платье, целовали ей щеки, поправляли фату. Курносая Толстикова шептала ей в ухо.

— Ты, девушка, не дури. Я знаешь, как тряслась! Ничего, пережила. И даже развелась уже. Но ты не разводишься. Олег парень видный. Талант. Только одеревеневший какой-то. Ну, ты его ночью растормошишь. Главное не давай ему пить, а то ни на что способен не будет. Мой Пашка как напьется — орет, не могу, а это самое у него с мизинчик.

Маленькая черноглазая Дивнева лепетала.

— Милая Юлечка, раскрасавица, как тебе белое платье идет — как яблоневый цвет на рассвете. Как Олежка тебе рад будет! Я так за вас переживаю. Оба такие хорошенькие и умненькие. Щечки у тебя персички, ягодки. Милочка, Юлечка, ты сегодня ночью Олежку счастливым сделаешь. А то он печальный такой мальчик.

...

Опьяневшие друзья вздумали поставить жениха и невесту на скользкий мраморный парапет.

Олег отказался наотрез и даже несколько раз ударил кого-то по рукам. А Юлечку не без труда взгромоздили. Встав на парапете во весь рост, Юля вдруг по-новому увидела главное здание МГУ. Оно представилось ей такой же как она, только каменной, дурой-невестой, давным-давно водруженной кем-то на гигантский парашют амфитеатра Москвы-реки и ждущей застрявшего где-то в центре Москвы жениха. Юля пожалела университет. И тут же потеряла равновесие, оступилась и начала падать. Ее поймали и осторожно поставили на землю. Заставили выпить бокал шампанского.

Олег невесту не ловил. Он смотрел в другую сторону, на Москву. Туман рассеялся.

Не дали, а зияния.

Золотистая конструкция на президиуме академии сидит как дурацкий колпак, метромост — бетонный урод, высотки стоят как памятники на погосте.

Стадион Лужники круглится как огромная раздавленная мечеть, а четыре уродливые мачты для прожекторов торчат как минареты.

Не архитектура, а стоматология.

Не дома, а имплантаты, зубы коммунистического дракона, не улицы, а чешуйчатые хребты подземных змеев.

Когда-нибудь прилетит сюда космический старик в белой ночной рубашке и ударит прямо в Кремль своим галактическим топором. Будет тут огромный кратер.

...

Приехали в ресторан. В уютном отдельном зале все было готово для гостей. На столе искрились хрустальные бокалы, тяжело горбились розовые салфетки, закуски источали сомнительные майонезно-уксусные ароматы. По стеклу водочных бутылок стекали капельки росы.

Первый тост провозгласил отец жениха. Пожелав здоровья и счастья невесте, он по привычке перешел на поучения и советы. Говорил, говорил...

Его речь то и дело прерывала плачущая мать Олега.

— Так, так, Владик, скажи, чтобы в доме был муж главой семьи. Напомни про диссертацию. Упомяни про то, что мы внесли первый взнос за кооператив. И лыжи тоже мы купили.

Потом выступил отец невесты, отставник-полковник. Он держался за спину, кричал. Пожелал жениху силы, мужества, здоровья и материального благополучия. Опрокинул в рот рюмочку водки и крикнул. Подмигнул новобрачным. Мать невесты мужа во время выступления не прерывала. Прошептала дочери:

— Будь счастливее меня в браке, родная.

А зятю сказала:

— Упаси Бог тебя от водки и армии! Посмотри на моего голубя, а ведь когда-то был на молодого Жарова похож. На трубе дудел.

Оба выступления закончились громогласным «горько» гостей. Молодые встали и чмокнулись. У Олега уже болела голова, а Юлечка боялась уронить фату и влезть складками платья в салат с печенью трески.

Слово взял друг детства Рудик Цванг. Рудик был пьян и воодушевлен, к выступлению не готовился, надеясь на полноту чувств. Позже Рудик утверждал, что черная меланхолия победила в нем во время провозглашения тоста неразделенную любовь к человечеству, а виноват в этом был не он, а упомянутый не к месту изобретатель опричины.

— Ребята... Ребята, я всех вас люблю. Я люблю Москву, люблю весь земной шар. Всех двуногих и... трехногих... Я простой учитель Цванг. Не слышали о таком? А я был и есть. Математику преподаю школьникам в Нагатине. Где затон. Коломенское там. Да-с. И церковь шатровая. Ее, между прочим, папаша Ивана Грозного выстроил. В честь сыночка своего... Людоода... Итальянский архитектор возвел. Во, страна, сами ничего делать не умеем. Там школа недалеко. Для советской молодежи. Такие скоты... Но, ррребята, остаавим, молодежь в покое. Главное, непонятно, что они еще выкинут. Все уже было. Из окна выбрасывались и отверткой в ребра пыряли. О чем это я? Что, свадьба, да... Какая свадьба? Ах, да... Так вот, коллеги... Кто-нибудь из вас помнит, чему равняется синус трех икс? Забыли? Или никогда и не знали? Напомнить? А квадратный трехчлен вам в задницу не всунуть? Устроили тут судилище... На вашем засраном педсовете. Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи! Кто из вас квашеную капусту ел, наперсники разврата! Чесночищем разит!

Рудика отвели в туалет, дали поблевать, помогли ему раздеться до пояса. Рудик неохотно облился холодной водой, голову подставил под струю. Освежившись, вернулся в зал, извинился перед родителями невесты, съел две котлеты по-киевски, выпил чашечку кофе и весь оставшийся вечер прокрутился в непосредственной близости от полненькой Машеньки Рябчиковой. Заглядывал в разрез ее бархатного лилового платья и умолял:

— Машенька, позволь тебя в родинку поцеловать. Подружески. Как брат или сестра.

Польщенная Рябчикова сжимала губки.

— Вы, товарищ учитель, все шутите. Не целуют братья сестер в родинки. Вместо водки пили бы лучше Цинандали.

Цванг отвечал вяло.

— Я, Машенька, патриот. Невольник чести! Водка это не напиток, это наша Родина. Первый концерт Маяковского. Апофеоз. Евразийство и панславизм. Пан или пропал. Хотя я и еврей. Но у меня русская душа! Для сердца вольного и пламенных страстей... А Цинандали — кот нассал в сандалиии. Кавказская синиль. Позволь, милая, родинку поцеловать. Как дядя тебя прошу. Как папа Карло. Как бедный Вертер. Не хочешь? Но иглы тайные сурово язвили славное чело!

...

Олег ничего не пил и не ел. Он дрожал, тревожился, ежился, хотя в ресторане было душно и жарко. Не обращал внимания на гостей, не слушал тосты, потерял из виду жену, ушедшую к пианино, где неутомонная Толстикова имитировала Эдит Пиаф.

Слышал только стрекот кинопроектора и усиленное каким-то дьявольским усилителем шарканье ногами по паркету. Ему хотелось немного почирикать, но он боялся испугать гостей. Его мучила новая навязчивая идея. Он решил почему-то, что попал в дискретный мир кино, в фильм. И фильм этот, потерял темп, провис.

Свадьба на целлулоиде.

Едят, пьют, но все почему-то катится вниз.

Как шарики.

В овраг.

А рядом со свиарником, помешанный старик с топором ходит.

Тощий конь и мертвый ворон.

Расшаркались все. Паркет менять придется. Шаркайте, шаркайте!

Черви и пики.

А старик в печке гербарий сжѐг. И сушеные грибки не пощадил.

Кадык почесывает волосатый.

...

К Олегу подошел его бывший одноклассник, дипломат Илья Покровский.

— Ты чего приуныл? На Рудика не сердись, он от чистого сердца. Сейчас многих достало. Говорят, его в армию хотели насильно загнать после педа. Офицером. Представляешь, Рудика в форме? Смирно! Фуражки снять! Яму рыть отсюда и до ужина. Говорят, его мать пианино продала, чтобы откупиться. Помнишь, белое, Петроф.

— Помню. Рудик, душа-человек. Пятьдесят рублей оторвал от сторублевой зарплаты.

— Тебя предсвадебный стресс доконал. Бледный ты. Не жрешь ничего. Хоть бы фрикасе попробовал. Во рту тает. Когда еще такую вкуснятину добудешь? И не торчи тут до конца. Через часок бери Юльку и айда домой. В постельку. Хочешь я тебе такси поймаю?

— Отец заказал микроавтобус к десяти. Загрузим подарки и рванем. Юлька ни за что раньше со свадьбы не уедет. Слышишь, как заливается? Научили на филфаке, спасибо. Крутит меня, Илюша, как будто грипп подступает. Башка трещит. Мысли поганные одолевают.

— Понимаю. Я вчера в мавзолее был. На работе заставили — ты, говорят, по-французски можешь, вот алжирцев сам и поведешь. Приехали, бя, опытом обмениваться, друзья Советского Союза. Чиновники и банкиры. Холеные все. На кой им черт Ленин? Да еще и мертвый. Ксиву мне дали — делегация! Поехали. Федоров, конечно, рафик зажалил, на метро двинули. Три остановки. К одному алжирцу пьяный

пристал. Ваше, говорит, черножопое сиятельство, разрешите, спросить, Вы зачем к нам приехали, мух ловить? Ты зачем с пальмы слез, негр? Алжирец морщится, просит меня, переведи, мол, что человек, говорит. Я что-то наврал... А к другим мальчишки прилипли — подавай им жвачку и значки! В мавзолей нас пустили без очереди. Минут десять всего ждали. К саркофагу подошли. Алжирцы посмотрели, кивнули, вроде бы честь отдали, и на выход. А я задержался на минуточку, хотя какие-то гэбилы шептали назойливо — проходите, не задерживайтесь. Приворотило. Лежит, понимаешь, этот мертвый татарин под стеклом. Как панночка. Вот-вот глаза откроет. Не поверишь — молодой какой-то. Живее всех живых. Крови напился, бя...

...

Часам к восьми свадьба была в самом разгаре. В одном углу все еще неистовствовала неуженная Толстикова. В другом углу зала танцевали. Донна Саммер, Блонди, Анна Ленокс...

Плотный юлечкин дядя, заводилом закрытого института, занимающийся взрывчатыми веществами, оба локтя положил на праздничный стол, а голову держал в опасной близости от тарелки с яйцами с красной икрой. Голову размякшего дяди поддерживала рука его жены, работающей во взрывоопасном институте бухгалтершей. Напротив них сидел тоже крепко выпивший дядя Олега, Виталий Александрович, профессор химик, специалист по полисульфидным жидким каучукам.

Взрывчатый дядя говорил дяде полисульфидному.

— Ты Витька и я тоже Витька. У тебя жена Галка, а у меня Ленка. Полисульфидные каучуки! Ты бы сказал прямо — пробки! Для бутылок, банок и еще кое для чего!

Профессор отвечал.

— Ты, динамит, поосторожнее! Без пробок вся водочка вытечет, что тогда делать будем?

— Пусть, миленькая, течет. В рюмочки. Давай, за молодых! По-стариковски!

— Ты меня не состаривай. Мне только пятьдесят второй пошел, еще как могу взорваться! Три раза в день. А-ах, хороша ханка, душу греет, организм очищает!



— Ты прав, каучук. Ты мне вот что скажи. Куда Олежку распределять будем? К тебе, на кафедру, или ко мне, в ящик. У меня зарплата пожирнее, но придется погоны надеть.

— Не надо ему в казарму, не видишь что ли, московский парнишка, мягкий. Его место в академическом институте. Пусть поработает. Пообщается с умными людьми. Оботрется. Не созрел еще для жизни, а вишь, женился, лопух!

— Тебе чего, моя племяшка не нравится?

Тут дядя-динамит попытался врезать профессору-каучуку по скуле. За что получил довольно увесистую оплеуху от собственной супруги. Неудачно качнулся и влез таки широкой мордой в тарелку с яйцами. Был препровожден в ресторанный туалет. Долго там проповедовал, стоя перед писсуаром. Вернулся в зал с раскрытой ширинкой.

...

Перед самым концом свадьбы вспыхнули было еще два незначительных конфликта.

Бывший Юлечкин одноклассник Колпаков вспомнил, что другой одноклассник, Хлебный зачитал несколько лет назад взятую на недельку «Лолиту».

— Ты что, совсем дурак? — орал Хлебный. — Я тебе эту похабщину тогда и вернул, на фиг она мне нужна?

— Нет, зачитал, — уверял Колпаков. Ты «Лолиту» зажил и Ритку, когда меня в комнате не было, лапал!

— Дурак ты, твою жирную корову все лапали, кроме меня. Жопа как у слона, а ножки, как у моей бульдожки.

...

Тут Колпаков и Хлебный стукнулись случайно головами и оба растянулись на полу. Расхохотались и помирились. Колпаков обнимал Хлебного и увещевал.

— Хлебушко, не сердись, не отдал и ладно. Некогда мне литературу читать. Дело надо делать. А Ритка мне последний раз три года назад звонила. Когда на выезд подала. Шут с ней. Укатила... Что же, Хлеб, все уезжают. А мы с тобой тут и порем.

— Не реви, Колпак... Уезжают и ладно. Локти будут на Западе кусать. А мы и тут проживем, в Совдепе. Скоро Леня дуба даст, может, что и изменится, — утешал друга Хлебный.

Второй конфликт завязался между представительницами прекрасного пола. Поэтесса Минаева приревновала своего увальня Славикова к давнишней конкурентке, поповневшей и раздавленной с школьных времен, но все еще привлекательной, Лизе Ситроен, переводчице с польского и чешского.

Мужу Минаева прошипела, страшно сверкая глазами:

— С тобой я дома поговорю!

А обидчице пообещала:

— А тебя, гадина, в сортире утоплю! Дылда, прелое мясо!

И кинулась на Лизу, выставив вперед кроваво-красные когти. Та предпочла ретироваться. Минаеву отвлекли, рассмешили, она успокоилась. Но потом поймала-таки мадам Ситроен в туалете. На беду, растащить соперниц было некому. После боя Минаева долго расчесывала растрепанные темные волосы, изрядно потерпевшие в схватке, а дебелая красавица Лиза припудривала носик, за который ее умудрилась укусить удалая поэтесса.

...

Олег и Юлия приехали домой около одиннадцати. Разгрузили подарки, отволокли их в квартиру. Разбирать не стали, бросили в прихожей. Полумертвая от усталости Юлия сбросила платье, освободилась от фаты, приняла душ, поцеловала мужа в щеку, легла в постель и заснула.

Олег долго сидел на кухне. Потом встал, подошел к окну, отдернул повешенную два дня назад занавеску и тяжело посмотрел вверх домов на темно-фиолетовое небо.

Вот небо. Для меня оно вроде фиолетовое, а для собаки серое.

Для меня верх, а для лунатика низ.

Или цвет, например, выдумка, утопия, также как и звук и вся остальная мура. Цвет не существует без человеческого глаза и мозгов. А звук — без уха.

Бык не видит красного.

Абсолют?

Сами придумали.

Главная скрипка не страдивари, а человеческое тело.

Добро и зло — самообман. Временное соглашение.  
Удобства. Программа.

А космос плочет и на добро, и на зло.

А мы все мечтаем...

Не расплескаться бы, не засохнуть.

Дома, вот, твердые, а мы из воды. Течем как реки.

Любим формы, потому что сами бесформенные.

Балдеем от металлов.

А еще больше любим слова. Просторы метафизические.  
Семантические поля.

Тысячи цветов. Подсолнечник-прогресс, розочка-циви-  
лизация.

Ах ты, Вася-василек!

Для нас хорошо, а для других — погибель.

Крокодилу наши сапоги не по ноге.

А эстетика и этика вазелином пахнут.

Никогда других не пойдем. С их колокольни все иначе.

Гадал вот, мечтал, а Юлька взяла и заснула.

То, что хорошо для нее, плохо для меня. И наоборот.

Как это прикажете понимать?

...

Олег отошел от окна, сел в коридоре на табуретку, начал  
лениво перебирать подарки.

Кинопроектор защелкал и остановился.

Порвалась лента.

По экрану расплозлось злоещее лиловое пятно.

Олег взял в руки небольшой декоративный топорик  
Новгородский сувенир, с изображением монумента Тысяче-  
летие России и золотой узорчатой гравировкой по краям  
лезвия. Подарок дяди-динамита. Глупее и бессмысленнее,  
кажется, никто ничего не подарил. Если бы не четыре зеле-  
ненькие пятидесятирублевки, прикрепленные клейкой лен-  
той к топоричу, можно было бы даже обидеться. Олег ото-  
драл деньги, положил их на обувной шкафчик.

Или подарок не так уж и глуп?

И фильм получит, наконец, драматическое завершение?

Может быть, излишне кровавое, но это дело вкуса.

Олег изобразил перед зеркалом команча меланхолического — подпер топориком падающую голову. Потом выпучил глаза, топорик схватил зубами, а руками растянул уши.

Превратился в апача придурковатого.

Затем изобразил последнего могоканина. Опечалился.

Потом сделался патриотом великой России — возвысил прыщавое чело, напряг мускулы, нацелил топорик на упрямые лбы подползающих со всех сторон врагов.

Глубоко вздохнул и преобразился в Чингачгука.

Раскрыл рот, спустил трусы на колени, зажал топор бедрами и выставил лезвием вперед, как вставший член.

Гуськом вошел в спальню и застыл рядом с кроватью.

Юлечка зажгла лампу, посмотрела на мужа и завизжала.

## АЛКОНОСТ

Слесарь Володя Ширяев покончил с собой. Выстрелил в рот из самопала. В Тропаревском лесу. Недалеко от тамошнего прудика. Среди березок и осинок.

Ширяев не скрывал то, что хочет убить себя. Показывал собственноручно выточенное дуло. Тяжелое, граненое, как у старинных револьверов. Изготавливал его Ширяев почти год. Не торопясь работал. Без истерики.

Решение свое он вынашивал долго, чуть ли ни с детства. Иногда обсуждал со мной подробности. Раздражался. Как будто я виноват в том, что его жизнь не удалась. У кого она удалась?

Мечтал он уйти из жизни в тихий весенний день, когда зазеленеют первые листочки, и теплый ветерок прогонит наконец бесконечную московскую холодрыгу. Под шелест листвы и пение птиц.

Я ему не верил. Думал, дурачится. Кокетничает. А самопал мастерит просто так, из озорства. Или на продажу.

Я был тогда молод. Боялся думать о смерти, даже радовался втайне, когда умирал кто-то другой. Раз рядом ударило, то может и в следующий раз пронесет...

Когда он умер, я не обрадовался. Ширяев был единственным человеком в нашем институте, с которым можно было о живописи поболтать. Полезные советы он мне давал. Где купить бумагу, ленинградскую акварель или как положить на дерево сусальное золото.

О его смерти мне сообщил шеф наших мастерских, Козодоев. Позвонил, попросил зайти в свой кабинет. Так он называл маленькую комнатку, отделенную от зала со станками тонкой стенкой, в которой поблескивало предательское окошко с синенькой занавесочкой в белый горошек. Через него он надзирал над своим хозяйством. Отодвигал занавесочку... Если на них не смотреть, утверждал Козодоев, поти-

рая крупный угреватый нос, они вообще ничего делать не будут, только пить и тырить... А к вечеру передерутся. Со смертельным исходом.

Захожу к нему, спрашиваю, зачем позвал. Козодоев закашлялся. Как будто пудель залаял.

— Ты понимаешь, какая штука паршивая получилась, шут этот гороховый, художник, Володька хромой... Застрелился вчера.

Тут забросили мне в голову стальной кубик. А воздух перестал всасываться в легкие, превратился в клейкую вату.

— Ну ты че? Одурел? Утри слюни и слушай. Хромой в лесопарке застрелился. Череп ему разворотило. Самопал рядом валялся. Гоняли меня на опознанку. Бывшей жены его, Верки, телефон не нашли. Говорят, она в Питер подалась. Чтобы своего Саврасова больше не видеть... Грачи прилетели, бя! И больше никогда не улетят. Фамилию сменила. Жены нет, никого нет. Козодоев, как всегда, всех коз один доить должен. Да... Мастер он был хороший. Трудно будет замену найти. Молодые не умеют ничего. Левша. Самопал сделал — хоть в музей носи. Менты забрали. Что с ним случилось?

— Мало ли что. Все люди — темный лес. Жалко Володю. Пил по-черному. А рисовал хорошо. Душа, видно, страдала.

— Душа-душа! Нет у человека души по Марксу. Только тело да классовая борьба. Хромой что-то вроде дневника оставил. Писатель, бя... Ящик его взломали. Наши. Рабочая косточка. Еще вечером. Даже казенные напильники и надфили унесли. Банку сорокалитровую с соляркой — и ту уперли. Как узнали, не пойму. Штангеля утащили, а тетрадку не тронули, на хуй она кому сдалась, душа твоя. Во, смотри. Я тут полистал, некогда мне эту белиберду читать, забирай тетрадку, выброси или сожги... Не показывай никому, а то до ментов дойдет... Или до пиджаков... Я так понимаю, хочешь стреляться — стреляйся, а других не марай, у нас жизнь тоже не малина. А то шушок пошел... Будто Володька не для себя самопал хитил. Ты, Димыч, мне как старшему товарищу скажи, ты с Ширяевым никаких таких, особенных, дел не имел? Может, затевали что? Мне твоего слова достаточно, я людей знаю. Может, кого другого завалить хотели? Там Ленинский близко. Правительственная трасса...

Козодоев пристально посмотрел на меня своими пустыми серо-голубыми глазами. Напрягся. На его коже у висков проступила розово-голубая жабья сетка. Кто-то из наших рассказывал мне, что Козодоев был в прошлом чекистским палачом. Ходил слух, что он на расстрельном полигоне в Зотово кого-то шлепнул, из известных, чуть ли не самого генерала Джанковского, того самого, бывшего шефа отдельного корпуса жандармов, помогшего железному Феликсу организовать ВЧК. До полутысячи человек будто бы в день расстреливали. Семьями...

— Каких таких, особенных, дел? Завалить? На Ленинском? Николай Палыч, иди ты на хер! Я с ним о живописи говорил, два раза он для меня образцы вытачивал по чертежам, по разрядке, которую вы же и подписывали... Говорят, его жена домой не пускала.

— Не пускала? А ты слышал, что он ее костью по роже хватанул? Чуть не прибил. Она его тогда пожалела... А сама до сих пор с косою мордой ходит. Ладно, свободен... Художники, блин.

Я сел на лабораторский диван и открыл ширяевскую тетрадку. От нее осталась только потертая выгоревшая обложка. В нее он вкладывал листочки разного формата. Хотел, видно, автобиографию оставить. Но сбился. Писал, наверно, бухой.

### Записи Ширяева:

Отец погиб после войны. Мать прижимала палец к губам. Шептала:

— Молчи, Володенька. Твой папа служил в НКВД. Его убили враги народа. При исполнении специального задания. Детей он спасал. От изуверов.

Доставала из шкафа обувную картонку, в которой лежали фотографии, сломанные часы с крохотным компасом на потертом кожаном браслете, серебряный орден Красной Звезды с отбитой рубиновой эмалью на правом верхнем луче, старая отцовская рубашка и несколько патронов от пистолета ТТ. Мать часами разглядывала фото-

графии, гладила орден и часы, перебирала как четки длинными пальцами патроны, а рубашку прижимала к груди. Нюхала ее и плакала...

Я глядел на патроны, на их красноватые, стальные, мягко закругленные пульки. От этих закруглений у меня чесалось под коленками. Я думал, что когда-нибудь враги народа выстрелят в меня из пистолета ТТ и убьют. И положат меня в землю. К отцу.

...

Хромать я начал еще до школы. Матери сказали, что у меня развивается болезнь Пертеса. Я это иностранное имя выговорить не мог. В больницу меня положили. На ночь специальный протез надевали. Резали два раза, чистили что-то в костях. Долго-долго лежать пришлось. О чем я только тогда не думал. Больше всего меня одна мысль мучила — почему другие ребята по двору бегают, смеются, играют, а я должен в кровати лежать. Кто так придумал, что жизнь несправедливая? Все мое тело от боли ныло, в костях злой старик сидел и маленькой пилочкой пилил. Единственная радость для меня была — порисовать. Мать мне бумагу давала. Я любил танки рисовать. И самолеты. Целые сражения разыгрывал. И старика с пилой тоже рисовал. Как его Чапаев танком давит.

В школу на два года позже других пошел. Самый низкий был в классе. От физкультуры меня освободили. Потом заросла кость. А лет в тридцать опять началось. Болит и дергает. На рентген гоняли. Асептический некроз определили. АНГБК. На фоне злоупотребления алкоголем. Резали. А через три месяца сказали — не помогла операция.

...

С побуревшей фотографии смотрел чубастый парень в офицерской гимнастерке — отец. Насупленный такой. Серьезный. Карманы оттопыренные, пуговицы со звездами. Кобура на поясе. Полосочки на погонах. И на рукавах. Запомнила мать эти голубые полосочки. Говорила — отец частенько с работы приходил с красными рукавами. Мать их терла, терла. Потом сушила, гладила. Не хотели канты голубенькими становиться...



Ах, как хрипеть хочется! Целый день старик кости пи-лит! Всю комнату сегодня разнес. В прах. И соседям доста-лось. Участковый приходил. Кононов. Стращал тюрягой. Говорил — пора тебе к уркам, они тебе очко намылят... Я только хрипел. Пена из пасти шла. Участковый дуровоз-ку вызвал. А там доктор Левинсон. Старый знакомый. Вко-лол обезболивающее и уехал. Кононов обозлился. Воблий глаз.

...

Верка разревелась. Стоном стонала. Почему не женишь-ся? Мать ее заела. Галина Вячеславовна. Старая манда. Бан-ка с огурцами. Ведьмачья душа. Пищит-трещит. А в глазах — игла кощеева. Сталина, говорит, на вас нет. Сталина счита-ет. Только не молится ему. Портретик на кухне повесила. Шепчет ему что-то. Я два раза снимал и выбрасывал, а она опять покупала и вешала. Мне назло. На Курском вокзале еврей продает. Рядом с ателье. Раньше вишенками торговал. А теперь Сталиным торгует.

...

Ситыч опять подкатывался. Раскисший, дряблый. Если его не ударить, не отвяжется. Пришел, спросил, есть ли у ме-ня олово. Я дал ему баночку с отдачей. А он заегозил — Во-лодечка, хроменький, хочешь растаять? Как олово? Я буду твоим паяльником. Приходи к нам, к саваофу Андриюшеньке на раденье. Попрыгаем, поскачем вокруг девяти углов. По-пробуешь темного мужского меду. Станешь лучиком, лучи-ком живым... Ситыч думает — если я не хрякнул его монти-ровкой по черепу — можно мне любые гадости говорить. Что за народ. Ты не бойся, убеждал, мы нежные... Там, под срач-кой, железа убистая, кончишь быстрее Христа-Ивана. Я монтировку поднял, он ушел. Не понимаю ничего. Ситыч женат, девка у него и парень. К Андриюшеньке... Или он от скуки бесится? Или прикальвается.

Еще говорил — человек помер, а душа вытягивается из тела. Как макаронина... Отрывается и летит. А чтобы грехи на земле оставить, надо под самого Христа лечь. Пидоровы басни.

Политинформация сегодня была. Эстонец-Красный проводил. Помянем, говорил, верного ленинца, борца за то, за се, за хер знает что, Михаила Андреевича Суслова. Личная скромность этого выдающегося партийного деятеля. Да блевал я на его личную скромность. Спирохета бледная. Мне от этой его идеологии одна грязная стружка досталась. Тронешь ее рукой — без глаза останешься. Потом Маринка сливки разливала. Вот ведь вошь квадратная! В крысиной норе сыр ищет. Ситыч мне рожи строил, зазывал. А Драч встал и ушел. Его спросили — ты куда? А он громко так сказал — а поссать можно рабочему человеку?

О пружине думал. Так она у меня в мозгу изгибалась и разгибалась, что я головой качать начал. И языком цокать. Как будто курок оттягиваю и отпускаю. А потом захрипел... Зашипели на меня. Парторг Порзов. Глаза выпучил как водолаз. погоди, придешь ко мне в следующий раз дрель просить. Будешь яйцами в стенке ковырять.

...

Тосковал я об отце. Сочинял истории для дружков. Будто бы отец был главный советский разведчик. Вызывает его маршал Рокоссовский и говорит:

— Не могут наши взять Берлин, нет у них карты с военными тайнами!

Отец прилетел в Берлин. Переоделся в немецкую форму. Пошел к Гитлеру... И сказал:

— Давай карту. Нужна для обороны от Красной армии.

Врал я, врал, и сам своему вранью верил... Даже Верке про отца-разведчика рассказывал. Загибал, что без той карты не взяли бы наши Берлин. И про то, что отец Гитлера убил. И в землю закопал. И надпись написал.

Не хотела мать калеку расстраивать. Не было ни детей, ни спецоперации. Свои отца и расстреляли. Справка о реабилитации в ее бумагах лежала.

Тяжко! Суслов-смерть кости пилит, и душу сосет. Где теперь мои друзья? Половина уже в земле. Остальные — вон, у продмага, как олени пасутся. Пятачки шибают на бутылку.

Верка сделала аборт. Я ее отговаривал, а сам радовался. Хриплый ноль. Как жить? Сыночек мой, прости меня. Не вины мать, она слабая. Может, Бог спас тебя от меня? Я бы измучил тебя, перегрыз бы твое белое горло. Лакал бы кровавую пену...

Приходил Драч. Про свою бабу рассказывал. Которая на двадцать лет его старше. С грязными ногами ходила. Не могла старуха ни мыться, ни ногти стричь на ногах. А он брезговал. Ногти в мясо впились. Умерла она два года назад. Драч говорил, умерла она ночью. А он спал. Проснулся, а рядом покойница. Рот открыт. Зубы черные. А на левом глазе таракан. Прямо на зрачке. Вроде пьет. Усами туда-сюда поводит. Драч психанул, лицо прикрыл ей, ноги развел и шишку вхреначил. Но ебать не смог. Хорошая была старуха. Кормила его.

...

Со смертью матери кончилось мое спокойное житье. Квартиру нашу забрал завод. Школу бросить пришлось. Определили меня в ремеслуху, дали место в общежитии. Как сироте.

Пробовали меня там на зуб товарищи. Колобок и Слюня, два главных хулигана. Колобок спереди подходил. А Слюня сзади с фонарем подкрадывался. Колобок духарился, пары пускал. За руки хватал. Слюня сзади на спине кожу резал. Прямо через рубашку или пальто. Хорошо, у меня в руке клюка была. Получил от меня Колобок подарок — прямо в носопырку, а Слюне по уху попало. Помирились после.

Убили их потом. Не на того налетели. На Авиамоторной. Начали свой номер с одним проворачивать. Как только Слюня фонарь вытащил, к ним дружки подскочили. С Синички парни. Повалили Колобка и Слюню на землю и забили ногами до смерти.

Через три года я училище закончил, по специальности слесарь-ремонтник авиационных двигателей. Всех пацанов в армию отправили. А меня не взяли. Из общежития выселяться надо. Куда идти? Ебимороз.

...

Устроился я тогда на подземный завод. Двигатели для ракет делали. В Лужниках. Тут в футбол играют, плаванье,

физкультура. И не знает никто, что рядом — завод подземный. Побольше стадиона. Люди там маются, как кроты. Слепнут в темноте от неонки.

Жил, как лимита, в заводской общаге. Через пять лет уволился с завода. В мастерские меня взяли. При институте. Палыч помог.

Тут хоть окна открывают. И плана нет. А на заводе план из людей как из ковра пыль выколачивали... Чтоб они сгорели все.

...

Вот Ленин. Освободил рабочего человека от капиталистов, а крестьянина от помещика. А Усатый маленько перебрал. Хрущ вообще дурик — кукурузу за полярным кругом выращивать собрался. Жиртрест. Жирные, они всегда вонючие и глупые. И гонористые. Напарник был у меня еще в училище — Филькин. Фамилия, вроде нормальная, русская, а на лицо хохол или румын. Как персик рожа круглая. Носище. А глазки поросячьи, недобрые. И прыщи на морде. Его ребята дразнили: «Фарнос красный нос, понюхай... У свиньи под брюхом».

Ладонки потные о халат вытирал. Станок за собой никогда не чистил. Мастер меня ругал. Ты старший, ты должен на напарника воздействовать. Я воздействовал. Руку один раз ему завернул. Понюхал Фарнос и Колобка с Слюней. Поймали они его в туалете. Визг стоял, как на бойне. Всю жирную его спину Слюня изрезал. Фарнос неделю в больнице лежал, а затем ушел из училища. А Слюне чуть срок не дали. Выручил его директор. Подмаслил кого надо.

И вот недавно встретил я Филькина на Кузнецком. Сразу заметил — Фарнос пиджаком заделался. Одет прилично. Фельдеперс. Узнал, поздоровались, поговорили. Сказал мне, что в МИДе работает. А я не скрыл, что слесарь. Посмотрел он на меня как на собачье говно и сплюнул. Я захрипел... Разняли нас.

...

Под землей душно. Вонь. Гнилые корни, мыши, черви и кроты. Все потеет и срет.

Там в гробу, труп матери лежит. На Кунцевском кладбище. Кости наверно остались, волосы, ногти...

Мать умерла, когда я в восьмом классе учился. Неожиданно. Не болела, не жаловалась. Приготовила обед. Кислые щи и жареную картошку. Присела на кухне на минутку отдохнуть. И больше не встала. Так и осталась сидеть на стуле. Голову уронила на руки. Врачи после сказали — разрыв аорты. Я в это время футбол по телевизору смотрел. Звал ее:

— Ма, иди, пенку будут пробивать! Ну иди! Галимзян Хусаинов бьет!

Мать не приходила. А я, чтобы лучше пенальти рассмотреть, глаза почти вплотную к водяной лупе приблизил, обнял наш КВН обеими руками и чуть не сбросил его с тумбочки, когда вратарь парировал... Лучи перед глазами крошились. Пошел в кухню маме рассказать, а она мертвая сидит.

...

Я вот чего понять не могу. Почему евреям можно уезжать, а нам, русским, нельзя? Почему несправедливость такая? За них все горой стоят. Парламенты. Комиссии всякие. Все только и смотрят — как бы жида не обидели. Они за золотым тельцом и в Америку и в Израиль и даже в Южную Африку, к расистам, едут. Греки едут в Грецию. Немцы в ФРГ. Паршивые корейцы в Корею. А русский Ванька что, взаперти должен сидеть? За что? И никто за него не заступится.

Почему у нас в лифте, на какую кнопку ни нажми — лифт на третий этаж едет. Сколько просили, жаловались. Ни хуя, деревня...

Еврей еврея продвигает. Бабка за дедку. А русский с русского три шкуры спустит. И обосрет ближнего с ног до головы. Несчастливая наша нация. Нету в нас к себе уважения. Вот, даже в космос с нашим русаком чеха запустили, Ремека. На нашу станцию. Зачем он там нужен, сучонок чешский? Я так понимаю. Если ты чех — живи у себя в Чехословакии и на своих ракетах летай, жмотина. Что они все к нам едут? Цельный университет для них. Патрис Лумумба. Рассказывал недавно Драч. Пришел оттуда негр в ресторан на Ленинском. В новой высотке. За столик сел, как человек, официанта не спросил. Заказал что-то. Ему принесли. Он сожрал. Потом встал и за другой столик сел. А там русская девушка. Стал

негр к ней приставать. И так и сяк. За грудь ее лапнул. Целоваться полез своими губищами. Она простая такая девочка, застеснялась, раскраснелась... Не знает, что делать. А все это американец видел. Встал, к негру подошел, и хрясть его по черной моське. Тот на пол упал. А американец ему еще по почкам врезал. И по еблищу. Чтобы не выёбывался.

...

Ходил в музей. Пушкинский. Видел там одну картинку, душу она мне обрадовала. И ведь нет на ней ничего такого... Ни красок французских, ни красот итальянских. Так себе — пейзаж зимний. Хаты стоят, наверно голландские. Церковь простая, но не наша, из мягких форм, а как бы граненая, европейская. Речушка замерзла. На ней ребятишки на коньках востроносых гоняют. Деревья голые, одни веточки, как длинные пальчики. На них галки сидят. Или вороны. Не разобрал. В туманном небе две утки летят. Но не утки меня проняли, а тишина и покой. Мир. Ладно там все. И дома и деревья и люди — все друг с другом согласные. Зла там нет. А добро не сладкое. Морозное. Свежее.

Постоял, посмотрел. А все-таки не хватает чего-то. Русской тоски не хватает. Я люблю, чтоб картина слезу прошибала или, чтобы в пот от нее бросало. Вот Саврасов. Тот русскую душу понимал. Или Суриков. Снег-тоска.

...

С Веркой у нас сначала все путем было. Расписались. Выделили нам комнатуху как семейным. Верка там уюты развела. Телевизор купили. Слоников. Шторы повесили. А в остальной квартире срач! Двенадцать человек на сорок три квадратных метра. Людишки наши, заводские. Один был страшный. Звали его Софон Пастин. Язва. Как пьявка впибался. Как меня дома нет к Верке лез. Я прихожу со смены, а она заплаканная сидит. Я с ним и говорил. И бил его несколько раз. И бить-то его противно. Врежешь ему по рылу, он окровавится и на колени встает, причитает. Убей, кричит, меня, убей, Вова-свет, жить мне противно, сам я себе противен, убей, освободи мир от меня... Шестьдесят два года, старик, видишь, седой. А как увижу молодуху, кровь вспенивается... Извинялся. Пить зазывал. Надоумил меня самопал

сделать. Ты, говорит, Володя, рукастый, сделай мне самопал... Отдам тебе припрятанные пятьсот рублей. Всю жизнь копил. Маланья о них не знает, дети не знают, всегда с собой ношу. Делай в тайне. А то заложат тебя как травку кирпичами... Сталь найди крепкую. Поблагороднее. У лопастиков попроси болванку. За двести грамм чистого они тебе весь вентилятор приволокут. В литейном можно дуру вылить. А дальше точи. Маслят на Птичьем купим. Есть кадр один. А когда сделаешь, дашь мне. Пущу себе пулю в лоб. Вот тебе крест.

Так он пел, пескарь брюхатый. А к Верке опять пристал. Избил я его после этого до полусмерти. И напился. Повязали меня. Дали год. Вторая судимость. А Верка к своей мамаше жить ушла. Я вернулся, а жены нет. И Пастина нет. Его в цеху пришибло. И вот ведь случай как сыграл — сорокакилограммовая лопасть ему башку расклинила. Как будто кто огромным ножом резанул по кумполу и до брюха. Срыгнул кровянку дед Софон.

Верка вернулась. А после опять убежала. Какой я муж.

...

В цирк ходил. На Вернадского. Профком билет прислал. Оторвался. Принял на грудь для согреву. Не так много, чтобы на тигров и львов броситься. Но достаточно для того, чтобы с инопланетянами разговаривать. Я и разговаривал.

Вначале жонглеры-тарелочники набежали. В красных трико с перьями-хвостами. Не люблю жонглеров. Жонглируют, жонглируют... До тошноты. Тарелки кидают. И пять и десять и черт знает сколько. Рядом сидел странный такой. С собачей головой. В лапах куриных, почему-то вилку держал. И нож. Серебряный прибор. А на коленях тарелочку. И аккуратно так с нее мормышку кушал.

Жаловался:

— Этот номер, кхе, кхе, сатирический. Против нас направленный. Вот мы, мол, вас как. Вы к нам прилетели, а мы вас и на шпаге крутим и на носу носим и под купол цирка легонько подбрасываем... Ты, Володя, на своем крюке тарелочки не крутишь? В свободное время...

Спросил, заплакал и опаловую слезу на тарелку уронил. А слеза эта прожгла тарелку и на пол упала. Как камешек. И за сиденья закатилась. Пытался я достать ее костью. Пыхтел, пыхтел, ничего не вышло... Видно ее утка-подколенница склевала... Аппетит у нее в последнее время разгулялся!

Потом на манеж белые кони ворвались. И казак Запашной с хлыстом в руках вышел. В белых сапогах вышел с отворотами и золотыми коронами по самое не могу. Как же они хрустели! Как у прапорщика скулы, когда он кукурузу жрет. И пуговицы на гимнастерке мягкими пальчиками крутит.

Сапоги хрустят, кони белые по манежу мчатся, собако-головый мормышку ест... Я говорю ему:

— Ты, Белка-Стрелка, червя бы лучше взял, артемию жаброногую или мохнатоусого дергуна... Все лучше чем латунь и железки лузгать.

А он отвечает:

— Я — вегетарианец. Потомственный и почетный. ученик Шивананды. Слыхал?

— А что твоя Шиговнанда говорит, к примеру, о водяре?

Ничего поганец не ответил, только залаял, хвостом заюлил, лизнул меня в губы вонючим языком, и убежал...

После коней на манеж клоун вышел. С кошкой. Задавал ей вопросы о Мао Цзедуне. А она подробно так отвечала. Жалко, говорила по-китайски. Ничего не понял. Крикнул я тут, так громко как мог:

— Ты, котиха жирная, по-русски давай. На хуй Мао, ты расскажи нам, почему мы с острова Даманский ушли?

Тут ко мне бобры подлетели. С красными крыльями. Как бабочки. Под руки меня — и под купол цирка подняли, на трапецию поставили. Стою я там, вниз гляжу, на манеж, на людей. А вокруг меня воздушные гимнасты. Не летают, не прыгают, только воздушные поцелуи раздают. Вот, думаю, допрыгался, надо публике номер показать. Чтобы задрожали и заплакали. Надо сорвать аплодисмент...

...

Положу граненое дуло на мореное дерево. Патрон можно будет в него как в трубку вкладывать. Конструкцию упро-



щает. Курок с бойком оттяну большим пальцем и отпущу просто. Пружину можно в рукоятке спрятать. Никаких спусковых крючков не надо. Не очень удобно, конечно, но не для войны я самопал делаю, а для прекращения глупой моей жизни. Потренироваться, жалко, не смогу. Только четыре патрона у меня. Как бы дуло не разнесло. Надо его покороче сделать. Сантиметров восемь хватит. А вот нарезочку нелегко сотворить. Ладно, пусть будет гладкоствол. Лишь бы в височной кости пуля не застряла.

...

Приезжаю я отдыхать. В пансионат, что ли. В нем коридор длинный. Вхожу в комнату. Ух, большая. И пустая. Ни шкафа, ни койки. По всем стенам — зеркала, зеркала... Взгляд в ломаную бесконечность улетает. А на потолке много-много ангелов нарисовано. Да так ловко, не поймешь — ангелы это или картина. Церковь что ли? Слышу не то стон, не то курлыканье... Вижу — на другом конце комнаты, у окна, мальчик-инвалид лежит. Голый. И курлычет. Подхожу к нему. Хочу по головке погладить. А он ко мне на руки тянется. Беру его. Он меня за шею обнимает. И плачет. Хочу я его куда-то нести. И случайно в зеркало поглядел. Вместо себя огромную обезьяну увидел. Испугался, сбросил мальчишку. А он как макака, прыжками, от меня убежал. А на руках у меня вроде кровь. Жирная как нефть. Я руки об зеркало вытер. Загнал в палец стеклянную занозу.

Захожу опять в какую-то комнату. Знаю — жить тут придется. Грустно мне поэтому. Потому что коек в комнате очень много. И народу порядочно. И все слепые. С бельмами. Кричат что-то. Руками размахивают. Сажусь я на койку, а меня слепой — цап за воротник! Кричит — занято! А другой меня — по губе. А третий — ногтями грязными в глаза. Бью я слепых палкой, бью, а не попадаю. А они пинают меня то в бок, то в пах. Как пчелы налипли. Снимаю я тут огромные, с метр, наручные часы и начинаю их часами бить. Часы у меня из рук выскальзывают, на пол падают и долго-долго по кафельному полу скользят. И подпрыгивают на швах. И все слепые, как замороженные, прислушиваются. Тук-тук-тук... А заноза зудит.

Иду я по дороге в лесу. Иду, иду, дрожу. Вспоминаю мучительно, где же я живу, но вспомнить не могу. Мозги трещат. Куда идти? Кто я такой? Забыл! Все забыл, ничего не знаю.

...

Ездили мы капусту убирать. На автобусе. В можайский район. Далеко. Весь день катались. На поле часа четыре корячились. Снежком сеяло прилично. Кочаны тяжелые, скользкие. Сочная капуста уродилась. На зубах хрустит, белым соком прыскает. Наши бабы их и поднять не могли. Двадцать килограмм кочан! Намерзлись. В туалет не сходишь. Полю ни конца ни края. У меня кости разболелись. Хоть падай. В теплом автобусе жизнь раем показалась. Начали тут все курить. А я не курящий. В задох пошло. Окна открыли. Толян спирт достал. Спирт есть, капуста есть, стаканы есть и белый хлеб. Все остальное еще на поле срубали. А воды нет, спирт разбавить. У Привыкина литр молока был с собой. Налили мы молоко в трехлитровую банку и туда же литр спирта. Ну и гадня получилась — белесая, грязная. Комья вроде творога в ней плавают. Как ее пить? Белый хлеб в это пошло макали и ели. И я попробовал. На втором куске проныло. Закусывали капусткой. Ядохимикат!

Где-то у Можая Сидорова песню затянула. А за ней и другие бабы. Зачем вы девушки красивых любите... Непостоянная у них любовь... А у Зои Ситыч с Перепелкиным сшиблись. Я к тому времени уже лыка не вязал. Мне сон снился про уральские горы. Будто я там камень нашел большой. Желтый, прозрачный. Проснулся я, а камня нет. Захрипел с досады. Сломал Перепелкин Ситычу передний зуб. Ситыч после фикса показывал.

...

Мозги сегодня весь день одна мыслишка сверлила. Может испытать? Участкового продырявить или Димыча. Освобожу мир от этой жопоморды. Придет он ко мне в мастерскую, скворцом зачирикает. О том, о сем. А я ему так отвечаю — заткнись, жид жирный. У русского человека от одного твоего вида харкотина в глотку бежит. Так тебе в рожу плю-

нуть хочется. Он обомлеет. Обидится. На толстых его губках обида затрясется. А я железной рукой свой самопал из кармана вытащу и ему в его жидовский глаз и пальну.

Или, придет ко мне Ситыч. Начнет приставать. Заглядывать застенчиво. Обласкивать, обскакивать как козел. Скажу я ему — ладно Ситыч, согласный я, снимай штаны, смазывай очко. Выдрючю наперед тебя. А после и сам жопу подставлю. Обрадуется он, сраку откроет, а я ему туда семь свинцовых миллиметров захуярю. Чтобы через все тело пуля прошла и в языке его бескостном застряла.

Или Верку найти и постращать ее, подлогу?

Вера, Верочка, где ты, моя голубка? Тошно мне без тебя. Пропаду.

...

Было мне сегодня видение. Открыл я утром глаза. А на стуле у моего стола баба Акулина сидит. Фотографии разглядывает. Из баночки леденцы таскает. Вместо того, чтобы сосать, грызет их как семечки. Посмотрела на меня и сказала:

— Кончай представление, внучек. Прыгай!

А я как будто опять на той трапедии стою. Ну в цирке.

Вдохнул я и прыгнул вниз головой. И вот, лежу я в ручейке. Омывает меня прохладная водичка. Кровь от меня полосочкой змеится. Сказочные деревья склонились надо мной — веточками колышут золотыми, листиками серебряными шуршат. Смотрю я на деревья сквозь мертвые глаза и радуюсь. И вижу в лучах хрустальных птицу Алконост. Спускается ко мне чудесная птица и обнимает меня нежными руками и стеклянными крыльями. Кладет головку свою мне на грудь...

## МОНСТР

Около пяти лет назад берлинские газеты сообщили о жестоком убийстве бездомной, обезображенный труп которой был найден в Марцане, на берегу речки Вуле. Женщину так и не смогли идентифицировать. Следствие подозревало поначалу местных неонацистов и сатанистов. По счастливой случайности анализ ДНК крови и спермы, обнаруженных на грязных простынях, в которые было завернуто тело, выявил настоящего убийцу бездомной, Николая П. (имя изменено), 1944 года рождения, жителя Марцана, позднего переселенца. Психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Суд учел возраст обвиняемого и другие смягчающие обстоятельства и приговорил его к шести годам заключения. Николай П. вышел на свободу после отсидки половины срока. В настоящее время живет где-то под Штутгартом.

Николай П. был моим соседом по подъезду. Может быть поэтому полицейские через общих знакомых неофициально попросили меня помочь переводчику — сделать расшифровку и перевод на немецкий язык записи его показаний.

Близко я его не знал... Только приветствиями обменивался. Таг-таг, халло-халло.

Обычный опустившийся русский старик, непонятно для чего приехавший двадцать лет назад в Германию. По-немецки говорить он не умел и не хотел. Вдовец. Неопрятный, пьющий, озлобленный. Вечно сипел что-то себе под нос. Я держался от него подальше...

Привожу тут несколько отрывков из расшифровки.

...

Вы на магнитофон записываете? Ну пишите, пишите, голубчики. Устроили тут гестапо. Измываетесь над стариком!

Не знаю с чего начать-то. Ну да, вот... Стиральная машина у меня сломалась. Многовато засунул в нее белья. Пожадничал. Сам понимаешь. Порошок пожалел на две стирки. Три простыни, пододеяльник, наволочку, пять маек, шорты, еще чего-то и еще... Прыгала, прыгала, в режиме отжима, как ошалелая, гремела-гремела, затем грозно так икнула, захаркала и заглохла. Через открывшуюся автоматически крышку поползли наружу пузыри с радужными разводами. И завоняло жутко в ванной комнате. Недостираным бельем и горелым кабелем.

Ужасно неохота возиться с чертовой машиной, искать давно потерянную гарантию, звонить, договариваться... поэтому я сломанную машину потихоньку — тяжелая! — вытащил на улицу, ночью, разумеется, и волоком, волоком, оттащил ее подлую подальше от нашего дома, перешел через речку Смородину по Калинову мосту и спрятал. Под ракитовым кустом. Даже белье не вынул, так вместе с бельем и выкинул гадину. По дороге машина противно булькала и пускала пену. И воняла. Обрезанные ножом шланги волоклись за мной как щупальца дохлого кальмара...

Речка-то конечно по-другому как-то называется. Я ее Смородиной зову, потому что вокруг нее красной смородины кустов — видимо-невидимо. На Калиновом мосту медная табличка с именем немца какого-то, а ракитов куст — это вроде как ива плакучая.

Как бросил машину, испытал облегчение. Теперь — меня ее дальнейшая судьба не касается. Нате вам с кисточкой. После нас — хоть потоп!

Вы скажете: «Что же ты, бывший директор школы, в Германии мусоришь? Заплатил бы за утилизацию машины положенное, и все было бы хорошо. Увезли бы ее аккуратные рабочие в синей униформе. А еще лучше — купил бы новую машину, а старую бы у тебя за это бесплатно забрали бы. Русская ты свинья!»

А я так отвечу: «Заплати... Купи... А пошли бы вы куда подальше со своими советами. На хххеррр идите, суки-советчики! Да, я тут никому не нужная русская свинья, а на родине был уважаемым человеком, ко мне в очередь стояли... но если мудаки-тевтоны меня приняли, обустроили и

поят-кормят, то буду им — вам — назло всю оставшуюся жизнь все портить и мусорить. Я еще и не на это способен! Я могу и вокзал взорвать. Весь Берлин поднять на воздух! Горько будете плакать, ссуки! Вы меня еще узнаете! Я, блядь, еще вам всем покажу, что такое русский интеллигент! Погодите, вас всех наш Путин в сортирах замочит! Чтоб больше не выросло! Под корень будем рубить нацию! Броня крепка и танки наши быстры! Небось забыли уже, как ваши фрау под русскими солдатами выли. Вспомните. Разжились тут... Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход! А то все советы дают. А я сrrрал на ваши советы! Сrrрал! Пидарасы зажравшиеся!»

...

Бабы нету у меня, чтоб стирала, вот ведь как. Один я на белом свете. Дети меня знать не хотят. Вот недавно дочка моя, старшенькая, аптекарша, посмотрела на меня укоризненно, покачала своей умной головкой и сказала:

— Ты, папа, монстр.

А какой я монстр? Что это вообще такое — монстр? Не знаю, но чувствую, что-то нехорошее. Может быть это рыба какая кусачая или зверюга лесной. Надо же родного отца так назвать! И ведь не выпорешь и не приструнишь. Взрослая, самостоятельная. У самой уже детки есть. Живет богато, не то, что я. Пальцем тронешь — засудит.

Монстр!

Вот сосед мой, Мирко-серб дочку свою, пацанку двенадцатилетнюю, Славицу, выпорол по жопе ремешком. Не для боли, а для воспитания только порол. Потому что она воровка. Одноклассников обворовывала в школе. А Славица — на следующий день к школьному врачу обратилась. С жалобой на родного отца. У Марко рука тяжелая, следы на детской коже остались. Синяки. Врачиха их сфотографировала и протокол оформила. И в югендамт. На другой день Марко повестку в суд вручили. Тетка из амта притадилась. Славицу-дуру забрала из семьи в интернат. А Марко чуть не посадили. Жена его, Снежана, на суде лягнула:

— Он и меня бьет, изверг!

А это неправда. Не бьет Марко жену. Вы бы посмотрели на них! Марко — метр с кепкой. А Снежана эта самая — это

тот самый монстр и есть. Франкенштайна напоминает из кино. Руки — грабли, ноги, как у лошади, а морда как у саблезубого тигра.

Это она его бьет, а не он ее. Я — свидетель. Разбудил меня однажды стук в дверь. Под утро было. Бешено стучали. И ор стоял на лестничной клетке серьезный. Я потихоньку, на цыпочках — мало ли что — к двери подошел, посмотрел в дверной глазок. Вижу, окровавленное лицо мелькает. И еще какой-то силуэт. Как будто мельница ветряная. И молотит-молотит крыльями. Открыл дверь, а там Марко... избитый. Вошел.

— Закрывай, закрывай дверь скорее, — кричит. — Иначе она сюда ворвется. Стерва эта, Снежанка-тварь. Изуродовала меня.

И показывает мне свои рваные раны...

А из коридора Снежана орет:

— Я убиху те, копиле...

Я соседа отвел в ванную, принес ему туда вату, водку и пластыри. Он раны промыл, водки выпил и пластырями заклеился. А я чайку заварил. Достал сухарики с изюмом. Любимые. Марко еще выпил и рассказал, за что его жена уродовала. Оказывается — за дело. Потому как бабу чужую грязную в дом притащил. И в койку ее. Снежана и Славица на Балтике отдыхали. На два дня раньше приехали, чем оговорено было. Потому что пацанка приболела. Простудилась на море. Засопливила. Приехали, а Марко в семейной кровати с какой-то синюхой. Ну Снежана и начала махать граблями. Чуть не прибила дурака. А синюху пыталась с десятого этажа в окно выбросить, но та отбилась и слиняла.

Я ходил к Снежане, убеждал простить Марко. Простила.

Дураки все.

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за врагом следим...

...

Ну вот, у меня значит белья скопилась — гора. А машины стиральной нету. И денег нет на новую. А подержанную брать не хочется — брезгаю.

Вспомнил я тут, что — остановок десять от нас трамвайных — прачечная есть. Засунул свои тряпки в сумку пузатую

и поволок. Идти мне надо, ты знаешь, через парк. Ну, рядом с вами, с полицией. А там — лавочки. И вот... волоку я свою сумку и вижу — все лавчонки пустые, конец октября уже, сифонит всюю, а на одной — женщина сидит одинокая. Смазливенькая. Лет 35. Цыганка, что ли? Глаза — лазурь. А сама — смугляночка. Дрожит бедная, как осиновый лист, в короткой юбочке. Но ножки длинные в черных чулочках так кокетливо протянула. И коленками — вправо-влево шурует. А чулочки — дырявые.

Обожгло меня как кислотой. Хотя сразу мысль закралась в голову — может это та, с которой Марко... Но я мысль прогнал.

А как иначе то? Я ведь еще живой. Хоть и в бобылях. Тестостерон в крови кипит. Подошел к ней, разговор начал. А она — на рот показывает и на уши — глухонемая, мол. Ну это нам не помеха. Положил я сумку с бельем на лавочку. Присел к цыганке поближе, обнял даже. А она — ресницами своими длинными хлоп-хлоп... и ротиком алым полуоткрытым меня завораживает. И коленками дальше... того. Ножки еще шире расставила, проказница. Так что тело ее сахарное, там, где чулочки кончаются — полосочкой виднеется. И волосики видно круглявые. Ну, сурьма тебе на язык, чувствую — совсем приворожила.

Говорю ей:

— Пойдем, пойдем со мной!

А голос-то у меня не так как прежде, медный таз, а так, петухи залетные... Срамота, конечно, но все равно ведь ничего не слышит краля-то. Знаками показал, не удержался, поцеловал в смуглую щеку. Как будто розу чайную губами тронул... Холодные лепесточки. Мокрые.

За руку ее взял, стал тянуть.

А она... неохотно поднялась со своей лавки... посмотрела на меня так, что у меня все запало внутри... кивнула... сумку мою с бельем на плечо повесила, вроде как покорность свою так проявила и пошла со мной. Я сумку хотел сам нести, но она еще раз на меня глянула... и я оставил сумку ей.

Славабо, у подъезда нашего не было никого, а не то меня словоохотливые соседки потом вопросами бы изгрызли, как мыши — сыр. Шут бы их взял, сплетницы



паршивые, в России не наболтались, приехали сюда болтать, только гной от них... Да и мужики у нас не лучше. Ходит тут один еврей, наблюдает за всеми, хмурый такой... Недобрые глаза у него.

Но если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

Зашли в дом.

А в лифте... прижалась моя краля ко мне грудью. Сквозь одежду почувствовал — соски у нее как иголки. Колют прямо до яиц. Я дрожу. Еле ключом в замочную скважину попал. Ты не поверишь... Старый баран, а как будто волны хмельные по телу. Бьют и бьют. И в океан уносят.

А на морде у меня — огненные знаки выступили. Как будто черт меня своим копытом припечатал.

А между ног — хер клюшкой торчит.

Ввел ее в квартиру, дверь запер, а сам поскорее — в ванную, отлить и холодной водой морду вымыть. Цыганка моя тоже в туалет запросилась. Головкой кучерявой трясет и глазками посверкивает. Курлычет что-то и на дверь в туалет показывает. А у меня на двери — мальчик писающий. Картинка забористая...

Как вышла, не стал тянуть, потащил ее в кровать. Одежку по дороге с себя сорвал. А она — под одеялом разделась. Обхватила меня худенькими бедрами... и поплыло все, закружилось, как на карусели и полетело в тартарары.

В себя я пришел уже вечером. В кровати под простыней.

Цыганки моей рядом со мной не было.

Ванну что ли принимает?

Я недавно новый экстракт купил. Апельсиновый. После такой ванны — кожа оранжевая и немножко ананасами пахнет.

Встал, подошел к двери в ванную комнату, приоткрыл, заглянул в щелочку. Стирает бедная, мое барахло. Руками трет. И ножки у нее без чулок — худенькие, плохонькие, как у больного подростка. На спине — ребра видны. Представил я себе, как она по Германии бродит. И под любого ложится. Лишь бы накормил. Это меня прямо пронзило, сердце заколо даже.

Да, господин хороший, тут бы мне и воспользоваться... перестать пить и жизнь мою паскудную изменить... Может быть, пожили бы с ней годок-другой, как люди, в мире-согласии.

Но я ведь не еврей, не немец, а русский человек! Как сердце отпустило, соскочил с катушек. Затмение на меня нашло. Под руку нож подвернулся. Помрачение сознания...

Гнев меня обуял. Аффект. Или белая горячка. Не знаю. Ты специалист, ты и разбирайся, как и почему.

Что, что ты свои глазенопа на меня выпятил? Спрашиваешь, за что убил? Загубил невинную душу? Удивляешься, да? Удивляйся, удивляйся, урррод рыбоглазый! Пожалел я ее! Тебе этого никогда не понять, падла фашистская! У тебя души нет, пидарас!

## ОХОТА НА ВЕПРЯ

Интереснее симфонии, картины или романа — то, что от них остается в нас через месяц после концерта, посещения галереи или чтения. Это — их последствие, эхо, их новое существование в отрыве от оригинала. В сознании зрителя или читателя, в его воспоминаниях, иногда — и в его реальности. Или в его судьбе.

Полузабытое художественное произведение воскресает в нашем сознании и получает свое особенное, гибридное «тело», начинает новое, ни на что не похожее, «бытие».

Далеко не всегда радостное, светлое. За удовольствие надо платить.

Прекрасная мелодия повторяется и повторяется в нашем измученном черепе.

Забывтый ландшафт встает и встает перед закрытыми глазами... и никуда от него не деться.

Бывает и еще хуже — неприятный герой из наспех прочитанного романа или из невнимательно просмотренного фильма поселяется в нас как тропический паразит, и завладевает нами. Превращает нас в своих носителей. В рабов. Иногда и в двойников-подражателей. Всегда недоделанных, гротескных, ущербных.

Иногда это проделывает не сам герой, а только его физиономия... голос... реплика... улыбка. Или его колыт.

Сквозь наши слабые защитные мембраны в нас проникают и пытаются овладеть нами изнутри и сущности похуже Джеймсов Бондов или Мэрилин Монро — мерзавцы-политики, попы, vip-персоны из мира масс-медиа, дизайнеры и другие жулики...

...

Моцарт — сладкий и чудесный — ожил не только в «Степном волке» Гессе и в душах бесчисленных его поклонников, но и во рту кондитера Пауля Фюрста в Зальцбурге. И

получил новое, марципановое тело, одетое в серебристо синий костюм из станиоли. Моцарту еще повезло — он стал конфетой, а мог стать, как Бетховен — сенбернардом или как Шопен — аэропортом.

Достоевский и Свидригайлов прохаживались в конце восьмидесятых среди небоскребов Манхэттена. Джентльмены хоть куда. В цилиндрах. Потом ФМ зашел в казино и уже никогда не вышел оттуда. И Свидригайлов нашел свой особенный клоак и погряз в удовольствиях несколько более утонченных. Оба фантома были оживлены писателем Д. перед его безвременной кончиной.

Возлюбленная и натурщица Эгона Шиле, голубоглазая Валли, известная по многим работам художника, не только вошла в наше коллективное бессознательное своей щемящей улыбкой и не менее щемящими изломами экспрессивного тела, но и воскресла в кино, а затем, в двухтысячные годы, появилась в новой роли — инфернальной художественной «реститутки», угробившей достопочтенного мистера Леопольда, коллекционера живописи.

Тема эта, разумеется, необъятна.

...

Когда мне надоедает возиться с нетленкой... когда одолевают навязчиво напоминающие о себе литературные герои, когда надоедает слушать их призывный шепот, их мольбы, когда нет больше сил наблюдать откалываемые ими коленца, выкинутые ими фортеля и кунштюки... я покидаю свою кишашую милыми чудовищами прозаическую лабораторию и бездумно погружаюсь в «чужие воплощения», и иногда... даже отдаю долги, выполняю взятые в прошлом обязательства. Так и случилось этой весной. Проглядывал я свой худенький архив и натолкнулся на статью-заготовку о первой встрече с творчеством графика-писателя Бруно Шульца. В то время — в начале девяностых — у меня еще не было компьютера, писал я шариковой ручкой на бумаге. На пожелтевших страничках отпечатались мистическими кольцами следы от чашечек кофе со сливками.

Я набрал текст в формате ворд... начал поправлять, дополнять... увлекся. Позже не без труда нашел недостающие источники... часами рассматривал картинки, раз пять прочитал тексты... что-то писал, посмеиваясь.

Погружение в мир Шульца растянулось месяца на два. Сам собой возник не совсем серьезный текст-коллаж... без особых претензий... страниц на сорок — «Фуражка для лемура».

Отослав его главному редактору «Мостов», я наивно полагал, что глава «Бруно Шульц» для меня закончена.

Думал так: «Через пару лет — Бог даст — прочитаю Шульца еще раз в ванне... посмотрю картинки. Может, что-нибудь в голову и взбредет».

Книги Шульца убрал с рабочего стола, всунул их с трудом на книжную полку... между каталогами Феликса Нусбаума и Альфреда Кубина. Расслабился.

Но не тут то было.

...

Началось все с письма из Джобцентра (Биржи труда).

Терпеть не могу эти письма в гадких серых конвертах! Никогда! Никогда не было в них ничего полезного. Только гнусные угрозы и приглашения на бессмысленные беседы. Никогда немецкая Биржа труда не предложила мне приличной работы! Только пыталась загнать на какие-то ненужные курсы переквалификации, какие-то идиотские «европейские мероприятия». Все свои работы я нашел сам, без помощи этих надсмотрщиков.

Вскрыл письмо. Приглашение! Только не на Биржу, а... сюрприз... к ихнему врачу, доктору Отто Дратогу. В районе Веддинг принимает этот самый Дратог. Наверное венгр или югослав. Решает работоспособен безработный или нет. Эксперт.

Письмо — пять страниц с параграфами. Текст приглашения — полстранички. Все остальное — угрозы на тот случай, если я вздумаю ослушаться приказа и манкировать экспертизу. Первый штраф — урезывание трети пособия. Второй — еще одной трети. Третий — лишение пособия. Это значит — без всяких преувеличений — голодная смерть бездомного под забором. Поеду, поеду я к вашему эскулапу... и не надейтесь...

Господа! Прошу вас перестать качать вашими умными седыми головами! К социальной системе Германии я отно-

шусь с уважением. Когда работал, аккуратно вносил в нее свою скромную лепту. Стараюсь бешеных псов не дразнить, играю по правилам. Понимаю, что Джобцентр — это Гестапо в мирное время. На беседы с последней моей «бераторшей», фрау Шепер хожу регулярно. Мы с ней в основном о политике болтаем. У нее жизнь тоже не того... зарплата низкая... забот много. Дети взрослые, но не без проблем. Внуки вечно нездоровы. Муж давно пропал. Уехал на заработки в Мюнхен, а вернуться забыл. И алименты не платил. Хвори одолевают. Помочь мне она не может и это прекрасно знает. Как помочь безработному за шестьдесят? Старается часто не тревожить. Но раз в полгода — вызывает на беседу. О России меня спрашивает. Задает примерно такие вопросы:

Что же этот ваш Путин делает? У него, что, в голове редька растет? Не понимает, что ли, что большая война может начаться? Что вообще с русскими происходит? Народ как народ вроде... зачем они на Украину напали? Крым оттяпали. Вzbесились? Какой еще такой «фашизм» в Киеве? Это у нас был фашизм...

Я пытаюсь ей отвечать, объяснять, что мол «русские-советские» всегда такими были, а не только сейчас, что настоящий «фашизм» — не в Кремле, а в постсоветских головах, только чувствую, что она мне не верит. Она, хоть и «веси», но к России и русским привыкла относиться лояльно. А тут вдруг почувствовала исходящую от путинской России угрозу мировой войны. И испугалась.

Во время нашей последней беседы, госпожа Шепер попросила меня перевести на немецкий надпись на плакате, который держала милостивая славяночка на фотографии в Шпигеле: «Мы готовы даже сдохнуть, чтобы Путину помочь».

Я перевел, но она мне не поверила.

...

Сегодня одиннадцатое, четверг. Надо ехать в Веддинг. На три часа назначено.

Жарко. Двадцать восемь градусов. Парит. Где-то грозы идут. А в Берлине только духота. Засуха. Вся трава высохла.

Чуть не полчаса решал, какие штаны надеть — короткие или длинные. Решил надеть средние. В них все-таки полегче. Задувает немного под брюки.

А футболку какую натянуть? Черная — выглядит солидно, но Солнце до смерти запечёт. В светло-зеленой легче, но в ней я на курортника похож. Еще не хватает соломенную шляпу надеть или ласты с маской... Чертов Драгос может подумать, что я над ним издеваюсь. Напишет в заключении что-то не то. А что «не то»? Не знаю. Врачей с детства побаиваюсь. Они бо-бо делают.

Надел серую фирменную футболку, бежевые брюки, кепку песочного света, такие же туфли на толстой подошве и отправился.

Не успел на улицу выйти, как начались странности.

Откуда ни возьмись — порыв ветра. Холодного. Ноябрьского!

Я, сам не знаю почему, побежал. Задохнулся. Потемнело в глазах, как перед обмороком. Откуда-то сбоку послышалось резкое: «Хальт!»

Но никто ко мне не подбежал. За руки не схватил, не выстрелил.

Улица была тиха. Ни ветерка, ни дуновения.

Солнце въедалось жаром в бетон, жгло руки, слепило глаза. Над головой — опаловое марево. Воздух плавился и слоился над горячим асфальтом. Фата-морганы висели над дорогами.

На углу нашего дома, у прохода, под огромным тополем, там, где обычно вьетнамец томился, член банды, промышленной продажей скверных сигарет-подделок — стоял кто-то другой. Я разглядел его, подойдя поближе. Узнал.

Это был Додо!

Едва ли не самый колоритный персонаж Шульца.

Горбоносый, с густыми черными бровями и усиками...

Нижняя губа капризно вздернута, большие, выразительные, но лишённые глубины глаза, смотрят печально... темный котелок, пальто с плисовым воротником, трость с медным набалдашником. Только из его хорошо выглаженных, со стрелкой, узких брюк вылезали не ноги в изящных узких ботинках, а покрытые струпами птичьи лапы с неприятными когтистыми пальцами.

Додо кивнул мне, как кивают старым знакомым, и сказал по-немецки:

— Ну что, Гоша, поиграем в салочки? Держу пари на трех попугаев, что вы меня не догоните.

Очертил, не дождавшись ответа, синим мелком вокруг нас круг на асфальте, отбросил в сторону тросточку и котелок и побежал как страус.

Он бегал... внутри круга. Хаотично меня направление. Потом вдруг остановился, забил локтями по бокам, как курица крыльями, осалил меня и прокудахтал:

— Салочка, салочка, дай колбаски, дай колбаски! Я выиграл, хочу призы! Только не вздумайте совать мне цукаты и наперстки, я хочу кубок из обсидиана с гербом и серебряные ложки!

Тут я заметил, что он не только ужасно похож на птицу. Он и был птицей. Большой странной черной птицей. С могучим клювом. И смотрел он на меня огромными круглыми глазами изумрудного цвета.

Да что это я говорю? Додо не был птицей! Даже чучелом не был. Он был вьетнамцем, стоящем на стрёме. А я почему-то держал его за руку. Вьетнамец весь сжался, побагровел от возмущения... готовился видимо к бою... но я отпустил его, извинился и отошел.

— Хальт! Штеен бляйбен!

Опять этот ужасный злобный голос. Или уже два?

Я побежал. Страх подгонял меня.

В спину мне дул ледяной ноябрьский ветер. Сзади себя я слышал цокот подков на сапогах моих преследователей.

Сам не знаю, как очутился в трамвае. В голове у меня как будто гремел гром... перед глазами плясали три попугая с серебряными ложками в клювах. Выглянул в окно, в надежде увидеть ИХ, но никого не увидел. Улица, ведущая от трамвайной остановки до моего подъезда была пуста. Только вьетнамец все еще маячил под тополем. Что-то беззвучно кричал в свой мобильник и жестикулировал. Видимо рассказывал своим товарищам про бежевого толстяка, который ни с того, ни с сего схватил его за руку.

...

В трамвае все было как обычно. Кондиционеры источали прохладу. Электронные табло исправно показывали оста-



новки. Свободных мест было много. Хмурая марцанская публика ехала в центр Берлина. По делам, за покупками или просто пошататься по городу.

Три приклатненных паренька явно не голубых кровей разговаривали между собой на русском языке. До меня доносилось только: бля-бля-бля. Выражение лиц пареньков было такое, как будто они собираются кого-нибудь убить и расчленить тело.

Турецкая мамка в пестром платке и черном платье, обтягивающем ее корпулентную тушу, говорила что-то на своем наречии наглому раскормленному сыну и худенькой, с выражением покорности на красивом лице дочери лет четырнадцати. Тоже в платке. Я видел, как маленький негодяй пинал сестру грязным ботинком в ногу... и щипал ее за грудь. Сестра не защищалась, а матери агрессия сына видимо доставляла удовольствие... на ее жирных, щедро накрашенных губах играла какая-то грязная полуулыбка.

Несколько кряжистых рабочих-поляков ехали на свои стройки. Играли в компьютерные игры, тыкали корявыми пальцами в поблескивающие мониторы смартфонов.

Трамвай катился по рельсам мягко, как велосипед по асфальтовой дорожке в лесу. Я и не заметил как задремал.

Проснулся я от холода. В реальности, которую никак нельзя было принять за салон берлинского трамвая. Общее с трамваем было только одно — я ехал. Ехал в грузовом деревянном вагоне без окон с полукруглым потолком. Щербатые стены вагона были покрыты изморозью. Пол — усыпан опилками, как цирковая арена. Я, как и другие пассажиры, сидел на сложенных вчетверо мешках, и заду моему было нестерпимо холодно. Обитатели вагона были одеты в старомодные пальто, шляпы, шляпки, шубки, а я был все в тех же бежевых брюках и серой футболке.

Решил, что галлюцинирую и зажмурил глаза, надеясь, на то, что все само собой исчезнет, как исчез несколько минут назад Додо. Не исчезло. Наоборот, стало еще хуже, потому что включился мой слух. Старый вагон невыносимо скрежетал, трещал... а пассажиры стонали, хрипели, выли. Я заметил, что все они измучены... многие ранены... больны...

безумны. Их лица и руки носили следы чудовищных пыток, у некоторых были отрезаны уши или носы. В вагоне невыносимо пахло кровью, мочой и испражнениями.

Я кое-как отодрал зад от мешка, встал и пробрался к раздвижным дверям, стараясь не наступить на несчастных, умоляюще заглядывающих мне в глаза и протягивающих ко мне руки, на которых не хватало пальцев. Попытался открыть двери. Не вышло. Нашел в стене небольшую дырку, оставшуюся от сучка, и посмотрел наружу.

Там ничего не изменилось. Липы цвели. Прохожие вытирали потные лбы. По улицам мчались мерседесы и оппели.

В отчаянии я изо всех сил дернул ржавый рычаг... и он вдруг легко, как во сне, поддался... дверь неожиданно быстро отъехала в сторону и меня выкинуло из жуткого вагона в солнечную марь.

...

Я стоял на перроне берлинского с-бана (городской электрички). На станции Грайфсвалдерштрассе. Подошел поезд кольцевой линии, и я осторожно вошел в вагон, поминутно оглядываясь... боялся, что и тут встречу с чем-нибудь ужасным. Сел на сидение у окна на теневой стороне.

Публика на кольцевом с-бане отличалась от марцанской. Лица уже не излучали хроническое недовольство жизнью. Было много студентов, пестрого шумного народа в наушниках, съехавшегося в Берлин со всего мира, туристов, от которых веяло приятной праздностью и озабоченных их турецкими делами турок. Попадались красивые женские и умные мужские лица. И берлинского «моба» тоже было предостаточно.

Напротив меня сидели два типичных представителя этого сословия. Муж и жена. Жена толстая-толстая, а муж — худой-худой. Физиономии — как у диких зверей. У нее — как у разжиревшей, опустившейся и вконец обленившейся кабанихи, а у него — как у волка, который лет пять не ел. Яростные их глазки горели каким-то особым серым, холодным огнем, какой встречается только у потомственных алкоголиков или дебилов...

Когда я много лет назад показал рукой моей тогдашней подруге на восточноберлинскую толпу на одной из остановок

с-бана и спросил, как же это могло случиться, что люди так выродились, превратились в железо-бетонных кретинов (так они выглядели, клянусь)... она ответила:

— Ты еще не видел западноберлинский люмпен — среди которых и твоих бывших соотечественников кстати навалом, они еще хуже наших.

Позже, когда жил в Западном Берлине, убедился в правдивости ее слов. Западноберлинский моб, в который так ловко вписались и «контингентные беженцы из бывшего СССР», действительно был в чем-то даже хуже восточноберлинского. Потому что гонора у западноберлинцев значительно больше. Совершенно, кстати, необоснованного.

В Берлин люди едут делать карьеру, покорять мир, доживать оставшиеся годы, бездельничать, тусоваться в недрах музыкальной поп-сцены, выживать и жиреть в национальных конюшнях, воровать...

Блестящий Берлин двадцатых испарился. Исчезла и столица Третьего Рейха. Пропал и элегантный послевоенный Западный Берлин, его уничтожило Объединение.

А новый город-молох превратился потихоньку в фильтр для всегерманского сливного бачка. В урбаническую сетку, на которой копошатся миллионы маленьких хамов.

И еще в Берлине — астрономическое число турок, курдов, арабов-палестинцев и прочих достойных жителей Магриба, справедливо полагающих, что жить в Европе легче, чем в пустыне... людей самих по себе, возможно, и симпатичных, но в немецком, откровенно ксенофобском окружении — обозленных, циничных...

И еще — с полмиллиона выходцев из бывшего коммунистического Востока, людей нахрапистых, но с мозгами, разжиженными коммунизмом, эти люди не горят желанием работать, но страстно алкают что-нибудь урвать...

Разумеется, разумеется, есть в Берлине и милые интеллигентные люди... но в с-бане они, по-видимому, ездят редко.

...

Так вот, еду я еду... и все вроде в моем вагоне, поезде и мире хорошо. За окном солнышко светит, бабочки порхают и птички поют... студенты качают ритмично головами, укра-

шенными длинными разноцветными косичками, туристы внимательно рассматривают карты, решают в какой ресторан они сегодня пойдут, все остальные уставились в свои мобильные телефоны-компьютеры.

Сидящая напротив меня хавронья вдруг недобро улыбнулась, ощерила свою ужасную пасть и показала неровные желтые зубы... Маленькие ее глазки вспыхнули. Жадно прошептала что-то в замшелое волосатое ухо сожителю. И оба они вытаращили зенки на нечто, находящееся сзади меня. По вагону прошелестело эхо, или недоуменный вздох. Затем я расслышал невнятный стон, какое-то шарканье. Дунуло холодным сквозняком. Пришлось повернуться и посмотреть. И я увидел.

Увидел и подумал — ага, опять началось, и тут же зажмурил глаза.

По проходу между сидениями вагона очень медленно полз на четвереньках голый худой мужчина лет пятидесяти.

Я в Берлине навидался всякого, не хочется и перечислять, но такого еще не видел. В правой руке он держал связку розог и вежливо раздавал их пассажирам. И они, как будто загипнотизированные его жалобным, но упорным взглядом, брали розги и стегали ими его по спине, ягодицам... и по голове. Кто слабенько, для хохмы, а другие энергично, с огоньком. Розги свистели, распарывая воздух. Некоторые даже вставали со своих мест, шли за ним и стегали. Тощее его тело быстро покрывалось ранками, как будто кто-то рисовал на нем алые линии фломастером.

Вот... несчастный подполз ко мне и подал мне и моим соседям розги. Я не взял, а они взяли и тут же начали хлестать. Волк старался попасть по лицу, а кабаниха — по половым органам...

Мученик повернул косматую голову и посмотрел мне в глаза. Взгляд его был бессмысленен и мутен, лицо — как у распятого Христа на классических изображениях... но, несмотря на маску страдальца, на этом окровавленном лице невозможно было не заметить гримасу порочного наслаждения.

Подъехали к Веддингу. Я быстро вышел из поезда. Спустился по лестнице и потопал по солнечной стороне Люнарштрассе. Через десять минут открыл металлическую дверь и вошел в ничем не примечательный доходный дом на Тегелерштрассе. На двери красовалась табличка: «Доктор Отто Драг. Врачебная экспертиза».

Вошел и попал в неожиданно просторный, квадратный в плане зал. Никакой мебели, кроме стоящих вдоль стен пластиковых стульев в этом помещении не было. Потолок украшала старинная лепнина с барельефом. На барельефе была изображена охота на веоря.

Кроме меня в зале находился еще один человек, видимо, так же, как и я пришедший на медэкспертизу — мужчина небольшого роста, одетый в черное. Сидел и, опустив голову, смотрел на белый кафельный пол.

На противоположной от входа стене я разглядел крохотную, как в «Алисе в стране чудес» дверку с надписью Регистратура.

Чтобы пройти, пришлось нагнуться. За дверью был коридор. Подозрительно длинный. Справа и слева двери. Пахло лекарствами.

В начале коридора, справа — что-то вроде стойки бара. Но на широких полках стояли не сверкающие этикетками вина, коньяки и ликеры, а водяные часы различных видов. Вместо барменши тут хозяйничала молодая женщина в белом халате. Говорила она по-немецки как-то странно, как будто прикаркивала. Халат ее то и дело распахивался, обнажая интимные детали ее красивого загорелого тела. Мне показалось, что она с удовольствием демонстрирует мне себя. Бесстыдница.

— Здравствуйте, господин Ш. Мы вас ждали. Покажите ваш паспорт и вашу медицинскую карту. Так, прекрасно, теперь давление измерим. Да-да, повышенное. 190 на 125. От волнения? А что вам волноваться? Никаких причин нет. Да не смотрите на меня так. Тут жарко. А вентиляция сегодня не работает. Кстати, у вас тапочки с собой? Больничная одежда? Полотенца, простыни? Как, зачем? Экспертиза может затя-

нуться. До завтра или дольше... Это зависит от вас. Для одного — и анамнеза достаточно. А другим кардиограмму надо делать, компьютерную томографию... А кому-то надо и опухоль удалять. Или камни. Тут у нас на любой случай оборудование и специалисты имеются. Тут и тестируют и оперируют и даже грязелечение проводят... Почему медперсонал не видно? Так они все в операционных... в процедурных кабинетах. У нас даже электрошок есть и специальные камеры имеются... Для непослушных... И массаж, и фитнес-студия, и СМ-салон, и морг и гордость наша, свой, санаторский миниатюрный передвижной крематорий... Во дворе стоит... выглядит как автобус без окон, а внутри... Сконструирован по проекту одного астронома на базе телескопа-рефрактора. Экологически чистая машина. На крыше — солнечная батарея. Ездит себе по Берлину, от Цоо до Алексы... До двадцати трупов в день переработать может. Экспортная модель, российская армия покупает сотнями. Самообслуживание... Ну, не бледнейте, может быть, для вас все это и не понадобится... прошу вас перейти в комнату ожидания, господин доктор вас сам вызовет.

Я покинул регистратуру и опять очутился в квадратном зале.

Признаться, меня бросило в жар от откровений этой бабы в халате. Операция по удалению? Электрошок? Крематорий? А не сделать ли мне ноги, пока на операцию не положили и не кремировали?

А как же угрозы Джобцентра в письме? Это посерьезнее шульцевских кошмаров. Отнимут пособие — сдохну под забором как собака. Нет, надо с доктором поговорить. Может быть, он разумный человек... поймет...

И тут как молния сверкнула в голове догадка — эта каркающая баба в регистратуре, это же та самая краля, которую Шульц много раз с хлыстом в руках изображал... Украинка со скулами... А доктор Дратог... Сатанинская фамилия... Как же я не догадался... это же Готард наоборот. И клепсидры на стене. В Санатории я. В другом времени. А в том, настоящем Берлине, меня возможно как раз сейчас хоронят.

Сел на стул. И поневоле на того, другого, пациента за-смотрелся. Тот так и сидел, опустив голову и глядел на кафель. Неожиданно дверь в регистратуру открылась и оттуда послышался тяжелый бас: «Господин Шульц, прошу вас пройти в кабинет».

Маленький человек встал, печально глянул на меня (это был он, он, Бруно Шульц!), не нагибаясь прошел через дверной проем и зашагал куда-то по бесконечному коридору, похожему на внутренность длинного автобуса.

В комнате ожидания стало холодно. Стены ее начали сжиматься, а потолок опустился.

Я лег на кафельный пол. Скрестил на груди руки и закрыл глаза.

## КАПРИЧОС

Третий мадридский день.

Сегодня я провел в залах Босха только часок с небольшим, а потом бродил по роскошным коридорам Прадо. Шел... и пытался как-то отреагировать на вызов хертоген-босского мастера... противопоставить его мощному образному напору хоть что-то мое... собственное... выстраданное... мое.

Тщетно.

Мысль отступала... Фантазия бездействовала. Я был разбит наголову, разгромлен. Солдаты мои разбежались. Личность моя напоминала пазл из тысячи фрагментов, которые глупые дети растащили по огромной квартире.

Часа два я ходил по Прадо и собирал себя по кусочкам. Вроде бы собрал. Но думать так и не мог. Жить не мог. Потому что дьявол-Босх умудрился завязать узлы на подвижных нитях моего сознания. И «швейная машина» моего существования (прогоняющая мысли сквозь ушко реальности) сбоила.

Не надо было мне так открываться! Почерствее надо быть. Пожестче...

Узлы эти необходимо было во что бы то ни стало развязать. Или разрубить. Чтобы на самом деле не превратиться в андрогинную куклу со средней части триптиха «Сад земных наслаждений», застрявшую в предсуществовании, или в одного из демонов с правой части, мучителя душ и тел грешников, не обладающего однако ни телом, ни душой... Ведь я точно знал, в кого меня превратит Анубис-Босх, если я не смогу ему помешать. В беса, поднимающегося по лестнице в адский бордель во внутренностях человеко-дерева. В того... со стрелой в заднице.

...

На картины почти и не смотрел, потому что — они не красота, не безобразие, не развлечение... никакие они не



портреты, не ландшафты, не мадонны, не распятия — а только и единственно ловушки для странствующих по нижним мирам невротиков. Для идиотов вроде меня. Сооруженные и расставленные мастерами ловитвы. И их красоты и перспективы — и другие наркотизирующие снадобья — для того и доведены до совершенства, чтобы дичь поглубже засунула в них свою шею. Чтобы нырнула в заворазивающий клейкий мираж... Тогда они захлопываются как цветы-плутонианцы и начинают свою жертву сосать... добывают так особую, сверхфизическую энергию, чтобы жить своей вампирической жизнью.

Пока время, солнечный свет, жучки или невежды-реставраторы не уничтожат их самих.

Не позволил ни Рубенсу (прелое мясо которого терпеть не могу с детства), ни Тициану (это уже лучше), ни Тьеполо, ни Тинторетто, ни Эль Греко, ни Веласкесу увлечь себя, загнать внутрь картины и сожрать с потрохами... хватит с меня и Босха.

Брел себе и брел...

Как по минному полю.

...

У одной картины, однако, остановился. Только посмотрел на нее, и... не смог заставить себя идти дальше. Заворожила-таки. Поймала, как дионея кузнечика.

Поздний Гойя. «Молочница из Бордо». Какая свободная живопись!

Океан.

Воздух.

Свет.

Дыхание и трепет жизни.

Тут же влюбился в эту Молочницу по уши.

И босховские узлы тут же исчезли. Стоило ей только посмотреть мне в глаза.

Швейная машина застрекотала и начала шить... Челнок привычно засновал... и ткань жизни побежала в даль как лисица, ушедшая от охотников.

Перед этой картиной меня — как Достоевского перед эпилептическим припадком — посетило что-то вроде озарения или видения.

«Молочница из Бордо» вдруг открылась как дверка сейфа, за ней показалась камера с полукруглым окошком... и тут же садануло оттуда нездешним светом... промелькнули и тени... и кто-то позвал меня... птичьим голосом.

Я увидел большую руку и неприятную, зубастую мордочку гнома... руку он протягивал ко мне (и она становилась больше и больше!) и шептал по-щеглиному: «Мы хитренький народец, оле оле оле... Компре ву? Продаем хорошее настроение оптом! Заходи к нам, дружище, покажу тебе кое что на филейных частях монашенки. Не прогадаешь! У нас весело. И Брамбила и Нестор тут. Не надоело тебе с этим брабантским жмотом якшаться? Он же мухомор, а не художник! Укошмарил тебя. И винцом угостим настоящим. Наваррской лозы».

В левой его лапе сверкнул заполненный бордовой жидкостью бокал.

Нестор, гаденький карлик, показал мне хлеб, смоченный в вине, съел его и всунул в беззубый рот большой палец. Зачмокал. А жуткая старуха Брамбила сделала неприличный жест и поиграла кокетливо ножкой сорок шестого размера с грязными ногтями, обутой в засаленный сандаль.

Брабантским жмотом? Это он про Босха?

Зажмурил глаза и зажал руками уши... а потом... ошарашенный и «в смущении великом» отошел от «Молочницы» и побрел потихоньку к выходу. Коленками назад.

Решил, что у меня уже «началось», и что скоро «капец».

Зашел в книжный магазин.

Посмотрел мутными глазами на книжные полки и собрался было уходить — ужасно хотелось принять прохладный душ, успокоиться и вздремнуть часок — как вдруг увидел корешок здоровенной книги.

LOS CAPRICIOS DE GOYA

Книга была не новая, видимо продавцы взяли ее у знакомых на продажу. Издана в Барселоне, в 1977 году. Бумага — превосходная. 40 евро.

Раскрыл наугад...

И тут же услышал звуки борьбы... сопение и стоны дерущихся...

Две голые старухи дрались не на жизнь, а на смерть.

Картинка в книге была живая!

Кудлатая одолевала Косматую. А слева и сверху к ним подползали темные клякастые и когтистые чудовища. Им явно хотелось поучаствовать в сваре. А потом уволочь обеих ведьм в преисподнюю.

Вот... ведьмы повернули свои страшные головы ко мне... и впились в меня тяжелым взглядом голодных варанов. Протянули ко мне окровавленные руки с застрявшими под ногтями седыми волосами...

Кудлатая сморгнула.

Косматая рыгнула.

Одно из чудовищ высунуло лапу из книги и цапнуло меня когтем за палец.

Другое расправило черные крылья... оно явно собиралось вылететь...

Захлопнул книгу. Слышал, как нечистое воинство заскрежетало зубами...

Зацарапало когтями.

Заклекотало.

Все понятно! Действительно «началось». Спятил, и не заметил.

Вспомнил булгаковского киевского дядю и буфетчика из «Варьете».

Глумящийся воробышек, танцующий фокстрот. Да-с. Кот-шапочка. Гелла...

Подал продавцу сорок евро. Он кивнул... улыбнулся...

И тут же непонятная сила рванула его в сторону... и бросила назад.

И вот... продавец вдруг перестал быть похож на себя...

В сером монашеском одеянии, с метровым шприцем в руках, с раскрытым хрипящим ртом, из которого вылезали непропорционально большие передние зубы...

Продавец заревел: «Клизму заказывали? Оголи ягодицы, парень! Хочешь жить — получай клизму. Свежий раствор. Хвоя с инсулином. Немножко обожжет внутренности, зато потом все болезни убегут. Специально для вас, сеньор! Держите, держите, мерзавца!»

Последние слова предназначались для него, непонятно откуда взявшихся, дружков и подруг, обступивших меня со всех сторон... Они стянули с меня шорты... и мой зад почувствовал прикосновение холодного наконечника.

...

Морок исчез также же неожиданно, как появился.

Ставший самым собой продавец открыл кассу. И она прозвенела приятной электронной мелодией. Я заплатил и двинул с добычей под мышкой к выходу из музея. Инстинктивно императив настойчиво шептал — скорее, скорее на свежий воздух. Пока ты в обморок не брякнулся и тебе клизму не поставили.

По дороге к выходу попытался, как советовал мне когда-то мой тренер по плаванию, продышать легкие. Безрезультатно. Мало кислорода в Прадо. А азотом легкие не прочистишь. Возбужденные встречей с прекрасным туристы дышали глубоко, как гишпопотамы, а вентиляция работала плохо.

На улице успокоился.

Солнышко светило так радостно.

Гитарист наяривал фламенко.

Несколько изможденных нищенков проводили меня ненавидящими взглядами.

Вороны искали орешки на сухом газоне.

Молодые испанцы с вожделением разглядывали голые бедра туристок из северных стран.

...

Не доходя до перекрестка, видел удивительную сцену.

Двое мужчин тащили на себе ослов. Ослы гордо смотрели на толпы туристов, осаждающих Прадо, и на памятник Гойе. А бедные терпили потели, кряхтели, но шли... шли... со своей тяжелой живой ношей...

Их черные глаза с длинными густыми ресницами, казалось, ничего не видели... не хотели видеть.

И... фу, какая гадость... один из ослов, здоровенная такая скотина, так и не смогший удобно устроиться на спине тащившего его мужчины... имитировал половой акт... как кастрированная собака. Внушительный его зад неприлично дергался.

Странные в Испании национальные обычаи!

Или это был рекламный трюк для художественно подкованной интернациональной публики?

Ни туристы, ни прохожие никак не реагировали на разъезжающих на спинах мадридцев животных. Камеры не щелкали. Глупые девицы не делали с ними «селфи».

Привыкли?

К чему привыкли? К тому, что люди таскают ослов по улицам Мадрида?

Тебе-то что? Ты-то никогда никого не таскал...

Ни жен, ни детей, ни свою старенькую мамочку. Бросил всех...

А себя самого всегда умудрялся пристроить у кого-нибудь на спине. Да еще и... Так что молчи себе в тряпочку.

Молчу, молчу.

...

Заскочил в крохотную лавочку на углу, там продавали всякую мелочь.

На прилавке стояли несколько пластиковых стаканчиков с зеленой жидкостью. Бесплатная реклама...

Не задумываясь, выпил один стаканчик. Жидкость была терпкой, крепкой и пахла мятой и жареным миндалем. Ликер? Это как раз то, что мне надо. Выпил еще два стаканчика. В голове слегка зашумело, но по телу пошла приятная волна.

Нашел на не очень чистой полке непрозрачную пластиковую бутылку с изображением коров и надписью «Leche» (оказалось — это молоко) и полкило белого хлеба, вынул из холодильника две стограммовые упаковки местной, неестественно красной колбасы с светлыми прожилками жира (другой не было) и несколько банок яблочного сока.

Немолодая полненькая китайка-продащица приняла у меня деньги и улыбнулась как-то странно. Затем... еще более странно... посмотрела на мой живот.

Мякнула и расстегнула несколько перламутровых пуговиц на розовой блузке.

Показала мне глазами на корзинку под ногами... в корзинке лежали куклы, похожие на младенцев...

Обычная реальность — как занавес на сцене — беззвучно отошла в сторону и на ее место незаметно встала другая. И началось что-то непонятное... опасное... и соблазнительное.

Карнавал? Цереалий? Цам?

Над нами пролетели два мерзких нетопыря и целая стая сов.

Неторопливо прошли по воздуху несколько элегантных дам и кавалеров в полумасках.

Пробежал детина-дебил в юбке.

За ним двое громил пронесли корчущуюся в их крепких руках девушку.

Пролетела странная влюбленная пара. Он был ранен и умирал. Она в отчаянии обнимала его. Вслед за ними пролетела окровавленная шпага...

Горбатый урод провел по воздуху юную красотку. За ними последовали ее отец, мать и тетка. Все они плакали.

Последними мимо нас проплыли играющая на гитаре (на бесструнной стороне) обезьяна и ее благодарная публика — два льстеца и умиленный до слез осел...

Опять «началось»?

Китаянка быстро вышла из-за прилавка и защелкнула замок на входной двери. Убрала висевшую в окошке картонку с надписью — OPEN.

Потом мягко, как кошечка подошла ко мне (мне показалось, что у нее два лица — человеческое и кошачье), сняла блузку и бюстгалтер, задрала мне майку... замурыкала... погладила мой живот... одной рукой влезла мне в трусы... а пальцами другой сжала мне сосок...

Человеческое лицо ее исчезло, осталось только кошачье... она по-звериному улыбалась, показывая острые зубы и лиловый юркий язычок, и мурлыкала еще громче.

Я смутился. Не оттолкнул ее, как следовало. Одервенел.

...

Что привлекло ко мне эту чужую женщину-кошку из другого мира?

Неужели пузо, которого я так стеснялся?

Или она увидела, когда я расплачивался, толстенькую пачечку пятидесятиевровых бумажек у меня в портмоне? И захотела сделать интимный цап-царап? Напустила на меня морок и...

Морок мороком, а дело свое кошечка делать умела. Через минуту я уже был на высокой золотой горе и готов был прыгнуть с обрыва в голубую реку... и превратиться в сверкающие брызги...

Во время оргазма я испытал метаморфозу. Стал моложе лет на тридцать...

Ощутил, что парю в воздухе. Голый. А рядом со мной парила моя китаяночка.

За нами стоял огромный баран и смотрел в небо своими бараньими глазами.

А на земле под нами... кошечка заигрывала с рысью... рядом с ними лежали кувшин, череп, веретено и трупик какого-то неизвестного мне зверька.

Ведьма залезла своей лапой мне в голову... через дырку шириной в кулак... и вытащила оттуда камень, который мне мешал всю жизнь. Мне не было больно, мне было хорошо...

И вот... я блаженствую в воздухе... тело мое поет и радуется и назад, в ту, настоящую реальность, не хочет.

Недалеко от нас парят другие... Две ведьмы, старая и молодая оседлали длинную метлу. Молодая вцепилась старухе в волосы... Куда они летят?

Толстая-претолстая голая «мама» с ногами, пораженными водянойкой...

Голову ей холит и щекотит ее «сестричка», а две «доченьки» держат «маму» в воздухе... Одна — сосет ее левую грудь, другая, та, на шее у которой покоится «мама» — широко раздвинула бедра... в заскорузлом ее паху — растопыривший крылья филин (символ того-сего в нудном мире искусствоведов). А сверху... лихо парящий котяра с солнечным зонтиком.

Солнца однако не видно...

Целая свора воющих ведьм летит на плечах ведьмака, поджавшего ноги и широко раскинувшего свои мускулистые руки-крылья...

...

Мы уже на земле. На «полянке». На Брокен не похоже. Скорее это знакомое мне место в Иудейской пустыне. Недалеко от Иерусалима. Вокруг нас — ведьмы, черти, демоны...

В середине поляны — на большом кварцевом валуне стоит, вульгарно отклячив зад, большой черный козел. Он тут главный. Вокруг него собрались сотни ведьм и колдунов. Они приветствуют его поцелуем в анус. Козел отвечает им зловонными ветрами.

В руках у них корзины с мертвыми младенцами. Они — единственная пища дьявола.

Два особенно ужасных существа (у одного — тело человека, а морда птицы, с громадным клювом, и ноги тоже птицы, у другого — свиноподобное лицо с исполинскими уша-

ми, растущими из макушки) сидят верхом на полуослах-полумедведях... Демоны эти, чем-то похожие на членов советского Политбюро ЦК КПСС, совершают свой променад...

Ведьма и ведьмак с ослиными ушами «подмазывают» нетерпеливого козла, рвущегося в дорогу...

Старая уродка-ведьмачка рассказывает подружкам о том, сколько ей удалось загубить невинных душ.

Юная ведьма — как пионерка моей юности — дает торжественную клятву... сидя на человеке с ослиными ногами.

Лыбящаяся ведьма в фартуке использует голого мальчика как поддувало, а ее приятель ведьмак сосет у младенца кровь из члена...

Привязанная к мужчине женщина уже и не бьется. В волосы ей вцепилась когтями крупная судейская сова в очках.

Великосветские львы глодают еще живую девушку-птичку...

Демоны-монахи распивают вино.

Эль Коко пугает детей, в спальню их матери крадется ее любовник.

Девушка пытается вырвать зуб у повешенного разбойника, она верит, что колдунья приготовит ей из него приворотное зелье.

Разбойники отдыхают перед новым нападением.

Пьяница не может натянуть штаны. Его дом горит.

Продажные женщины ошпиывают кавалеров как петушков.

Жадные толпы народа ожидают сожжения еретиков в длинных конусообразных шапках.

Мать в ярости лупит сына по голой заднице тапочком. Он разбил кувшин.

Голоногие красавицы со стульями на головах призывно улыбаются смеющимся кавалерам...

Черт смиренно стришет когти другому черту большими кривыми ножницами.

Человек с ослиными ушами кормит ложечкой двух «шиншил» с закрытыми глазами и с замками на ушах.

Крылатый демон изо всех сил дует на закрывших уши руками монахов.



Главный ведьмак сурово выговаривает своих подчиненных.

Три безобразные ведьмы прядут нити судьбы.

Врач-осел сидит у постели умирающего.

Толстопузый полицейский корчит из себя важную персону и запугивает бедняков.

Компания поклонников слушает речь попугая.

Задремавшему великану-жениху читают ложную родословную невесты.

Семидесятипятилетняя красotka смотрится в зеркало. Поправляет бант.

Восьмидесятилетний скупец трясется за свои денежки.

Отчаявшаяся босоногая женщина в застенке не замечает крыс у ее ног.

...

Очнулся я в своем номере в отеле. На кровати.

Как я сюда добрался?

Куда делась кошка-китаянка?

Было у меня с ней что-то?

Ничего не помню.

Купленные в лавочке продукты стояли на столе. Рядом с ними лежала книга из Прадо. В голове моей не было дырки... а тело... опять стало дряблым и старым.

Все хорошо, нормально, замечательно...

Я принял душ, поел и попил. Открыл книгу.

Картинки в ней больше не оживали. Почитал о «Капричос» в интернете.

Оказывается, эти занимательные изображения — не более чем критика испанского общества конца восемнадцатого столетия и его нравов. Борьба художника с несправедливостью и злоупотреблениями властью имущих... и с предрассудками народа.

Как скучно!

Какое мне дело до общества и его предрассудков?

Интересно, чем опоила меня эта чертова азиатка?

Надо проверить деньги в портмоне...

## ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

### 1

После полета хожу весь день дурной, между сном и явью. О Калифорнии рассказывать еще труднее, чем фотографировать океан. Две недели жил в «Морском Ранчо» — это такая на десять миль растянувшаяся коммуна богатых людей. Деревянные виллы на берегу океана или в секвойном лесу. Утопия социальная и географическая, прохладная. Температура не поднимается даже летом выше 17 градусов. Дожди, туманы. На другой стороне огромной чашки с водой — Япония, Китай и Россия.

Синий океан, пестрые цветы на склоне, обрывы, черные гранитные скалы. Ветер. Очень поэтичное место. Прогулки вдоль берега располагают к размышлениям. Думаешь, думаешь...

О беспредельности, не о беспределе.

О равнодушии природы к человеку.

О единственном нашем даре — милосердии (во всем остальном так дальше крабов и не пошли).

Потом жил три дня в Сан-Франциско.

Красивый город на холмах, только я уже староват и для красот и для холмов. Ходишь как вошь по верблюду — вверх-вниз. Не то, чтобы не понравилось. Просто меня больше интересуют люди, чем мосты, музеи или архитектура. А гигантские здания банков приводят в ярость.

Людей я видел только двух типов — туристов и бомжей. От тех и от других тошнило, потому что в них узнавал себя. Давал бомжам доллар и просил показать настоящий «американ смайл». Понимали. Показывали.

Ночью Сан-Франциско это нечто. Тут темпераменты не европейские, фантомы иной природы. Бразилия? Африка? Пляшущие и поющие динозавры-негативчики, нанюхавшиеся кокаина, наглотававшие экстази... Могут и башку разбить, если под копыта попадешь.

Потом улетел во Франкфурт. По дороге проклинал себя, самолеты и особенно салат из креветок, которым зло объелся, несмотря на вегетарианство.

Я старше вас. Мне тысячу лет. Лет семь назад я перестал жить. Но плотояден, распутен и неприятно толст. Для вас не опасен. Типичен. Вы таких и в Иерусалиме и в Одессе видели не раз.

— Подсказать я вам ничего не могу — сам не знаю ни черта. Я не писатель и не провидец. Пишу от нечего делать. Рад, что к вам приходят мужчины и деньги. Ко мне не приходят ни те ни другие. А события и тем более — прекрасные остались в другой жизни. Рад, если голова не болит.

Можете ли вы прислать по электронной почте фотографию? Было бы интересно посмотреть на вас. Моя небритая физиономия смотрит с первой страницы интернетной страницы.

## 2

У вас хорошо работает интуиция — я действительно болен. Глаза воспалились. Как будто два красных плавающих моста кто-то вставил в череп. Был сегодня у врача, торчал в приемной часа полтора. Пациенты напоминали оркестр, готовый к концерту, но почему-то так и не начавший музицировать. Сидели, вздыхали, взъерошивали волосы, крятели, вставали, уходили, приходили, рассуждали о ценах, о глаукоме, опять вздыхали. Всех куда-то вызывали, всем что-то мерили, просили посидеть, потом опять вызывали, выдавали какие-то бумажки, кое-кто получал очки, кого-то отправляли в высшую инстанцию — к доктору. В голосе медсестры слышалось благоговение... Наконец и меня позвали. Доктор оказался очень маленьким, породистым, умным и красивым. Лазил мне в глаза оптическим аппаратом, все сразу понял, утешал, одобрял, обещал.

Пой, пой, красавец, — думал я, — пой что хочешь, можешь и станцевать, только помоги, без глаз я крот. Крот с окровавленными мостами в глазах.

Выписал антибиотик.

Вышел от врача. Пошел к оптику. Оптик мой похож на ученого осьминога. Его глаза сверкают как изумруды. Предлагая товар, обвивается вокруг шеи щупальцами и засасывает.

Мои глаза пылали как фари. Чтобы их потушить, купил черные очки. 120 евро. Идиот. Идиот в квадрате — заказал новые очки для компьютера. Еще 200. Оптик радостно суетился, встал на руки и прыгал.

Притащился в квартиру подруги. Укатила на дачу.

Сегодня ночью мы поссорились. После моего оргазма. Она сказала мне, что я эгоист, что она не намерена терпеть. И свалила. А я весь день решал, не перетащить ли мои пожитки ко мне (я снимаю маленькую квартиренку). Но так и не решился. Мой эгоизм отступает перед ленью.

Два слова о моих фотографиях. Полуголая женщина — это моя подруга. Мужчина на фоне магазина — ее брат, писатель и тромбонист. Старушка — это ее 96-летняя мама, года два назад умершая. Старик — бывший солдат вермахта, написавший мемуары, которые никто не хотел публиковать, потому что в них описывалось, как немцы расстреливали собственных раненых солдат при отступлении из Украины. Молодой человек в очках — программист. Уехал в Испанию и остался там жить. Сошел с ума. Пишет старым друзьям имейлы, в которых грозит разрезать их на двести пятьдесят шесть частей. Почти все остальные мужчины — саксонские художники. Коза, лошадь, деревья, дома, прохожие, Эльба в черном Дрездене, испепеляющий полдень в Плауне, все дрожит в мистическом экстазе существования, смертной радости бытия...

Ненавижу дизайн. Не умею его делать. Это и по безобразному оформлению моей книжонки чувствуется. Хотел ее издать как записки. Всего я издал девять подобных опусов. Безумное тщеславие. Но и это прошло.

Слышу взрывы — это палят берлинцы. Празднуют футбольную победу над бедной Коста Рикой. Погодите радоваться, роботы-бомбовозы! Вынесут вашу команду славные и легкие французские или бразильские ребята.

Обнимаю вас как кота в мешке, пользуясь безнаказанностью слов и снов.

Спасибо за фотографии, любезная Солоха. Не обижайтесь, я в час волка становлюсь грубым.

Странное ощущение — наткнуться на следы еще одной непрожитой жизни. Как на иголку в клубке.

Я пишу не о вашей, а о моей несостоявшейся жизни, которая вся, как кино, промелькнула у меня перед глазами. Дон Жуану было, как известно из текста Пушкина, достаточно одной узкой пяточки, чтобы представить себе всю женщину, — от гребенок до ног, а мне достаточно увидеть ваше прекрасно развитое ушко. Не говоря обо всем остальном.

Вот бегут по пляжу четверо веселых курчавых жиденят, я стою в просторной льняной рубаше, в шортах, у меня порыжевшая борода, на лысине вязаная кипа. У вас оранжевая ленточка в волосах, глаза — то черные как ночь в Гефсимании, то синие как армянская черепица. На ваших губах морская средиземноморская соль.

Мы едим крупный черный виноград. Снимаем с ягоды кожу, а потом кладем под язык. И целуемся с ягодами во рту.

Простите... Берлинская ночь сера, одинока. Отчаянье подкатывает к горлу и застревает в нем. Потом опускается в живот. Там и остается, сосет червем, не уходит... Трудно перегнать этот яд во что-то путное. А другого пути нет. Ну разве что, съесть что-нибудь. Вот я и ем.

Чужая жизнь, чужая женщина. Скорее всего — твоя же дальняя родственница. Очень похожи. Не может быть, чтобы никто из моих предков-рабиновичей не был ее прапрадедом или внучатым дядей.

Неудавшийся фотограф, никому не нужный писатель, доморощенный интерпретатор Дюрера приветствует вас, королева лесов, подрядчиков и стройматериалов!

Постройте леса вокруг моего черепа, отремонтируйте мою душу, найдите субподрядчика для моих силлогизмов! Вы королева, жена короля. Маленького немецкого короля

строительных лесов из чудесного пригорода Ньюркиной горы. Из долины Ангела. Где семьсот лет назад невесты Христовы лицецерели в мистическом озарении его светящиеся стопы...

Кажется, ваш король не голый.

Надеюсь, он выпускает вас из своего королевства хотя бы иногда одну. Или вы, милая Суламита — наложница, держитесь на коротком поводке в обмен на жизненные блага? Или делаете глиняные кирпичи для фараона, как наши предки в египетском плену?

Ах мерзавец, — подумала она, — мы еще и не знакомы, а он уже ревнует, в душу лезет, вопросами мучает. И в постель со мной хочет. Вот так всегда с нашими. Скажешь пару теплых слов, а он пристанет, как банный лист. Не надо было ему адрес давать... Испоганит все, прилипнет, не отвяжешься... И что я дура ему еще писала, сама напросилась, комплиментов на его писанину понавешала... А он уже и про мужа все знает. Бедный мой Гюнтер. Честный, красивый. И что мне не сидится. Захотела на свою задницу приключений! Опасно! Да и толку чуть. Будь прокляты эти русские, эти художники-дармоеды, эти всюду позасевшие псевдогении, ноющие бездельники!

Как видите, королева, я уже пишу за вас, потому что вы не соизволиваете. Сам себе пишу от вашего имени. Не сердитесь.

Опять ночь. Села как птица на ветку сосны и вращает в темноте безумными совиными глазами. Круглые диски ночи. Ртутью залитый мир. В ее парах задыхаются спящие. Их храп — полуночный лепет отравленных. Разговор обреченных с глухонемым Танатосом.

## 5

Я ни одной своей подруге не был верен. Любил их честно и примитивно. Слишком примитивно, может быть. Самое главное происходило во мне самом, туда я женщин никогда не пускал. Попробовал, пустил, обжёгся несколько раз и с тех пор замкнулся. Никаких границ в сексе не знал и знать не хотел.

Вы пишете — искусство, природа, эротика. Все эти понятия стали слишком высокими для меня. Искусство в современном мире превратилось в черный метаболизм или грязный капустагик. Про природу даже говорить не хочется, так ее испоганили, а эротика, это для сильных, не боящихся смерти.

А вы, стало быть — «домина», любезная Солоха! Не прикажите ли купить кожаные доспехи с наручниками? И плеточки-семихвосточки, нежные, для филейных мест! И цветных свечечек для капанья воском на соски и яички.

Вы что, всех нас, за ржущих от похоти, перед женщинами пресмыкающихся, жеребцов почитаете? Таких несчастный Бруно Шульц рисовал. Если у вас нет его графических альбомов, настоятельно советую купить — это еще эротичнее чем спятивший на костлявых бедрах собственной сестры Эгон Шиле.

Вы меня хотите заразить своей легкомысленностью? Меня? Самого легкомысленного из всех легкомысленных? Если бы вы жили в Берлине, я после этого вашего заявления сразу бы к вам приехал или к себе позвал и попросил сейчас же, непосредственно, заразить. Чем угодно. Ваше счастье, что я уважаю вашу частную жизнь и даже звонить вам никогда не буду.

Как звучит ваше настоящее русское имя?

## 6

Милая Жанна, вот и кончился наш, так и не начавшийся роман. Мило и грустно. Стену одиночества не так легко разбить. Да и стоит ли? Буковки, строчечки, смыслики не способны пробить брешь в вселенской хандре. Только телом, его теплом, соединением кровей достигается понимание, постигается жизнь.

Вы хотели общения, светских разговоров, сдобренных эротическими ароматами, а столкнулись с болью, уже много лет запертой в черном ящике. Ситуация хорошо знакомая из русской литературы. Литературе этой пришел конец. Наплевать! Многому пришел сейчас конец. Постараемся не виз-

жать. Природа не имеет ушей, чтобы слушать наш визг, не имеет глаз, чтобы увидеть наши слезы.

Все время пытаюсь понять, что же меня так грызет? Подступающая старость со всеми ее ужасами? Болезни? Смерть? Да, конечно, это в первую очередь. А что еще? Душевная пустота? Да, и она.

Неудавшаяся жизнь? Ну да, отчасти. Но все это грызет любого. Что же еще? Не знаю. Наверное еще и то, что к старости понял, что не знаю толком ничего, ничего не умею, все потерял.

Мучил всех, кто ко мне приближался. Трусил всегда. Избегал долгой и тяжелой работы. Закончил университет по специальности — математика ни черта в ней не понимая. Десять лет морочил голову сотрудникам института, говорил с апломбом... Оправдывал себя тем, что, вот, мол, непризнанный гений, страдает. Бесконечно морочил голову себе и другим.

Пытался убежать от в глубине моего существа сидящего зверя садизма, космической распущенности, безумия. Зверя, похожего на летучую мышь с собачьей головой, догнавшего меня наконец на пятидесятом году жизни.

Зверь вкрадчивый и осторожный, когда мы сильны духом, и осатаневающий от лютости, когда мы духом слабеем. Его приход ознаменовывается приступами тоски, черной меланхолии. Она, эта дюреровская сука отпирает ему дорогу в нашу душу, а потом и в нашу жизнь. Добро пожаловать!

Сегодня днем заснул и мне приснился странный сон.

Будто я в комнате. Высокие стены увешаны фотографиями в черных рамочках. Мебели нет. В комнате я не один, а с другом. Он умер двенадцать лет назад. Но во сне — мы все еще вместе. Беседуем.

Говорю другу:

— А я могу летать!

И взлетаю. Медленно. К потолку. Смотрю на него сверху. Мне хорошо видны фотографии, висящие у потолка — снизу их нельзя было рассмотреть. На фотографиях — моя жизнь.

Мне хорошо в воздухе. Легко. Лечу плавно, сохраняя вертикальное положение тела.



Слетаю вниз, беру друга за руку и медленно взлетаю вместе с ним. Он смотрит на меня спокойно. Улыбается. Парит со мной под потолком. Мы медленно кружимся в странном вальсе. Вдруг я вспоминаю во сне, как тяжело он умирал от рака легких, задыхался.. А я побоялся приехать тогда в Москву, чтобы с ним проститься.

Умоляю его:

— Прости меня, прости!

Но он меня не слышит, улыбается в полете, и мы кружимся, кружимся под потолком...

## АНАПА

Деревяшкин — лейтенант-пограничник  
Мартын — солдат  
Фонвизин, Неподдельский — пенсионеры  
Аркадий Вишняков, Зинуля — студенты  
Фомина, Лукина и Матвеева — уборщицы  
Бумерангов, Лианозов, Химкин и Митя —  
соседи по палате в психдиспансере  
Антра — существо непонятное и многоликое, что-то  
вроде живой колонны  
Сестра

### Картина 1

*Деревяшкин и Мартын в будке пограничников  
рядом с огромным прожектором.*

Деревяшкин (говорит по телефону). Так точно, товарищ комендант. Карлики, но в действительности диверсанты. Понял. Из воздуха появятся. Рогохвосты. Внеземные. Да. Жала, сверла, яйцеклады. Возможны взрывания с целью изъятия органов. Каких? Понял. Так точно, выполним! Не позволим. Бдительность поднимем. Уставы подтянем. Взбодримся. Гайки закрутим. Да, понял... Пресечем. Вплоть до применения табельного оружия. Дадим отпор марсианской военщине. Да, понял, молчать. И не миндальничать. Есть! (Кладет трубку.) Мартын, твою душу-мать, ты куда делись? Тут такие дела творятся, голова кругом идет, а ты пропал. Нет, чтобы позаниматься, уставы подтянуть... Или в прожекторе лампы поменять... Разболтались все...

*Незаметно появляется Мартын. Босой, без гимнастерки, загорелый.*

М а р т ы н. Я, товарищ лейтенант, купаться ходил. Вода теплая. Освежает. Потом ел. Потом опорожнялся. К службе всегда готов. Хотите, в магазин сбегая... Туда, по слухам, седлку должны завести. И три семерки.

Д е р е в я ш к и н. Слушай Мартын, не до семерок тут. Мне этот страус австралийский звонил, Буручага. Надо же с такой фамилией человека в комсостав взять! Все они там, в управлении, по фазе сдвинулись. У меня, говорит, сведения имеются, что сегодня в полночь в районе Анапы марсиане высадутся — голубые карлики и скорпионы. Вида жуткого. Сидячебрюхие. Вооружены сверлами и яйцекладами. Кровососы. Со спецзаданием! Мы должны подготовиться и обезвредить. Понял? Появятся из воздуха. В Анапу прибывают с целью просочиться, так сказать, и раствориться среди курортной публики. А потом с подложными документами — в Москву. Кремль взрывать. Но возможен саботаж и в районе... И взрезывания граждан для добычи внутренних органов.

М а р т ы н. Взрезывания? Карлики-диверсанты с яйцекладами? Страна чудес, понимаю. Но такого отродясь не слышал! Представляю заголовки в Правде... Диверсия в детском курорте. Агрессивный блок НАТО при поддержке голубых карликов вырезал почки анапскому обкому...

Д е р е в я ш к и н. Ты не разглагольствуй! И не миндальничай! Приказано, не размышлять... Кто его знает. Тридцать лет назад тут на пляж чудо-морское выкинулось — не дельфин, не осьминог, а Левиафан волосатый. Его пограничники пристрелили. А тушу собаки сожрали. Может, это первый марсианин и был. Наше дело — светить проектором и смотреть, а если что увидел — наряд посылать. Потому как рядом — государственная граница. Купальщиков гонять будем, бабочек ночных попугаем... Тут надо родину от пришельцев защищать... А они всё кадрятся.

М а р т ы н. Так точно, товарищ лейтенант, кадрятся... А родину мы защитим... От карликов и скорпионов. (Тихо в зал.) Догоним и еще раз защитим. Сидячебрюхие рогахвосты! Ну, шиза! Спятили военные. Марсиане! Веселый городок Анапа. А Буручагу давно пора в Австралию выслать... К страусам... Или на Марс... И с ним все погранвойска. Срочно

в магазин. Три семерки. Иначе не выстою, упаду и окочуюсь... Тут-то ко мне скорпионы и подползут. С режиками. Проснусь, а ни почек, ни печени, ни хуя. Тра-ля-ля, Мартын Игнатьевич. Ку-ку! В крематорий пожалуйста. Советская армия кремацию оплатит.

## Картина 2

*На кухне коммунальной квартиры. Фонвизин, потом Неподдельский.*

Ф о н в и з и н (пьяный). Вы все тут суки, бляди и говно... А я, между прочим, майор! Служил, служил... Дослужился. Сто десять ре. Это, стало быть, по три рублика шестьдесят шесть копеечек в день. Если в месяце тридцать дней. А если тридцать один, то и того меньше! А квартира? Липездричество, телефон... Которого нету... Нету телефона. И звонить некуда. Детей не завел, друзья все перемерли. Думаете, я конченный человек? Да? Правильно. Я конченный. А вы? Только начинаетесь, что ли? Мы все кончаемся. Кончаемся, кончаемся... А кончить не можем! Вот я, например, служил. Служил родине и устарел... И на сто десять... На домино. Пусть забивает козла, старый хрен... Прошла жизнь. Слышу, слышу, как мыши грызут мои кости... Каждую косточку чувствую... Хрям-хрям... Хрящики разгрызают и обсасывают. Погрызут, обсосут, а потом лапками морду чистят... Грызуны! Гры-зу-ны, вы все! С гнилыми зубами. Советская стоматология! (Открывает беззубый рот.) Ни одного зуба не осталось — все испортили. Харкотину на вас жалко, а то бы плюнул! (Пугает зрителей первого ряда.) Что, товарищи, перебздели? Вот и я бздел всю свою жизнь... И на службе и дома... Жену похоронил двадцать лет назад. По гарнизонам мотались, жидья не было. На гарнитур копили. Потом померла Полина. Двадцать лет без бабы. Гарнитур так и не купили. В коммуналке живу... А вот и дорогой соседка, (Тихо.) чтоб ты околел побыстрее.

*Входит Неподдельский, старый, с претензией на интеллигентность.*

Неподдельский. Наше вам! Как пошла?

Фонвизин. Ясным соколом. А ты, доцент, опять на кладбище ходил? (В сторону.) Чтобы ты в море упал и утонул, что ли!

Неподдельский. Был, был. На старом.

Фонвизин. Какой черт тебя туда носит? Что ты там потерял? Потерпи немного, оба там ляжем. (Тихо.) Надеюсь, не рядом...

Неподдельский. Там жена, там товарищи, однополчане...

Фонвизин. Так ты же не воевал! И женат не был...

Неподдельский. Не воевал, не женат, ты откуда знаешь? Я на Дальнем востоке японца сдерживал. А ты в погонах по тылам ошивался...

Фонвизин (вдохновенно врет). По тылам... Да я... В СМЕРШЕ служил. У нас везде передовая была. Мне сам Бабич орден вручал... Исай Яковлевич... Я на врагах народа психику попортил! Антисоветский элемент вычищали беспощадно. Предатели везде позасели. Как тогда, так и сейчас... Вот, посмотри на них (Показывает в зал.). Все присягу на верность партии и правительству принимали... А если немец придет, опять к Власову побегут... Или к дяде Сэму на харчи. В Вашингтонский обком. Партибилеты — на стол! Над кем смеетесь? Хамелеоны.

Неподдельский (умиротворенно). Это ты правду сказал, майор. Тут я с тобой согласный. Ненадежный элемент вокруг. Чуть что и партию продадут и родину. Зажрались! Я тут селедочки принес и хлебца... Хлеб теплый еще... Ставь чайк, погужуем... Мне тут такое рассказали, закачаешься! Слухи по Анапе ползут... Диверсанты сегодня ночью к нам пожалуют... Двадцать лодок по пять бойцов. С книгами, брошюрами и листовками. Разбегутся как крысы по Союзу. Вербовать будут. Ячейки вражеские организовывать. Организация белогвардейская есть — Антарес. Во Франкфурте штаб-квартира. Недобитки там и наши новые. Реваншисты. Ядов привезут — чемоданы. Чтобы активистов травить. Антисоветчины у них — вагоны. Порнографии — штабеля. Недовольство у несознательных подогревать будут. Мне Яша рассказал.

Ф о н в и з и н. А не наврал? Ты же их знаешь... Скользкий народ. Любят каштаны чужими руками из огня таскать... Заведут нас, а сами...

Н е п о д д е л ь с к и й. Яша хоть и еврей, но советской власти преданный. Ему Буручагина баба проболталась. Дело серьезное. Батальон снайперский из Москвы вызван. На пляже прямо и разместят. Белогвардейскую и эмигрантскую сволоочь отстреливать будут. Посмотреть охота, ты пойдешь?

Ф о н в и з и н. Что, я? Я конечно. Я первый. Мне и винтовки не надо. Я их голыми руками передую. Контра проклятая... Слушай, доцент, а мне пенсию за подвиги не повысят?

### Картина 3

*Вишняков и Зинуля прогуливаются по пляжу.*

В и ш н я к о в. Так что Зинулечка, воздухоплавание — это тоже русское изобретение. Был еще в 1731-м году самородок такой, подьячий Крякутной, он — фурвин сделал, надувной баллон, то есть, надул его — дымом поганым и вонючим и по Рязани летал, за что его хотели — сжечь или живым в землю закопать...

З и н у л я. Он рвался в небеса, к звездам. А его — в землю.

В и ш н я к о в. Он смылся тогда из Рязани. А другой русский самородок, Никитка, тот крылья для летания смастерил, да сдуру самому Ивану Грозному решил свое изобретение показать... Есть же смельчаки на свете. Ему голову отрубили, а труп свиньям на съедение бросили. Уважили изобретателя.

З и н у л я. Лебединые крылья души... Как ты думаешь, Аркадий, душа может летать? Я так часто летаю во сне... Лечу, лечу через пространство, как будто сквозь туманность Андромеды... И не в вакууме, не в пустоте, а в светящемся эфире. В синеве, как в кристалле, умылись, лебединые крылья души... Красиво?

В и ш н я к о в. Супер! Крылья умылись в кристалле! Как утки в озере. Порошок есть такой стиральный, — Кристалл... А так замечательно... Знаешь, что я сегодня краем уха слышал? Будто бы сегодня ночью тут на пляже марсиане высадутся!

З и н у л я. Что ты говоришь, Аркадий! Боже, боже мой! Я знала, я чувствовала... Поверь мне, я сегодня такой странный сон видела. Будто я летаю, летаю... И вдруг со всех сторон налетают на меня осы. Черные страшные осы... Целый рой... Я подумала во сне — это мои тайные желанья... Они жалят и жалят меня в соски... И сосут... А я — та самая ось... Помнишь, у Оси...

*Пауза.*

В и ш н я к о в. Говорили, марсиане для того присланы, чтобы нам, землянам, тайны мира открыть, вразумить так сказать... Чушь конечно. Но что-то во всем этом есть... В тупик мы зашли. Буксуем. И погалим все... Ты посмотри — в Черном море рыбы нету... Плавают какие-то желтые безглазые ящерицы... Сам видел... Был на рыбзаводе, хотел бычков взять. А рыбаки мне и говорят — нету бычков. И кефали нет. Только дрянь какая-то попала в сети. Вот, говорят, возьми на память, покажи там в Москве кому-нибудь, пусть придумают чего... Пока мы все не сдохли...

З и н у л я. Как это интересно! Тайны мира! Я думаю, это не марсиане, это элохимы из туманности Андромеды, спиральные, выющиеся, светоносные существа... Я всегда чувствовала, что они среди нас... Выются, невидимые... О вы, невидимые люди, очистите наш мир, придите к нам на пир, падите мне на груди...

В и ш н я к о в (тихо, в зал). Целую неделю только об этом и мечтаю, но не дает, колбаса копченая, только стихами мучает. Одна надежда на марсиан... (Громко.) Эврика, Зинуля! Давай сегодня ночью тут костерок разведем, посмотрим на небо. Вдруг они и впрямь прилетят... Отсюда далеко видно... Даже если в Джемете приземлятся, увидим. Только бы нас пограничники не застукали...

З и н у л я. Давай, Аркадий... Я напишу им стихи...

## Картина 4

*Фомина, Лукина и Матвеева возвращаются с работы.*

Л у к и н а. Да, соседка поведала. Карлики. С жалами, хоботами и когтищами. И с рыбьими хвостами. И скарпиёны ядовитые. С тысячи кораблей, как песок посыпятся... В полночь.

М а т в е е в а. Наказание господне... За грехи за наши смердящие...

Ф о м и н а. А не брехня? Мало ли чего набрешут?

Л у к и н а. Ну вот, опять Фомина не верит! Про Митрохина не верила, что черт, про бабу Челябину не верила, что беременна, про Тихонова, который вилку проглотил, говорила, что не пройдет в горло, а прошла, так что брюхо резать пришлось... Соседка, она хоть и неверующая, но все-все знает... Что тебе еще надо, чтобы по радио объявили? Так там про такое не говорят. Там врут, как воду льют.

М а т в е е в а. Наказание... Господи, помилуй нас грешных... Защити в годину лютую...

Ф о м и н а. С кораблей... Как песок. Кто же им даст к границам подойти? Наши солдаты все видят. У них бинокли есть... Всю ночь в прожектор светят. На самолетах летают. Сюда мышь не проскочит. А ты говоришь, карлики-скарпиёны.

Л у к и н а. Говорю карлики, значит карлики. С хоботами. Страшные уроды — мамоны, сорочины, маланцы-обрезанцы, сатанилы и вельзевулы... С хвостами рыбьими акульими, жабрами травлеными и плавниками осклизлыми, ершачьими... Скарпиёны тысячами полезут. Жалить будут граждан. В шей...

М а т в е е в а. За грехи. За грехи наказание. Спаси нас, несчастных! Помилуй и защити нас, пречистая дева Мария. Сестры, сестры... Близится Страшный суд! Покайтесь, ибо смерть близка. Просвети нас, господи, не оставь в темноте неведения! Испугались мы знамениев антихристовых... Нету в нас покою. Близится, близится Страшный суд! Покайтесь и



осмелеете. От греха откажись и услышишь пение птиц райских. Очисти плоть, раба божья. Помышления скверные изгони из сердца как тараканов из избы...

Л у к и н а. Налетят на нас ночью антихристовы дети как саранча. Упыри, храпоидолы, вельзевулы и мамоны. Землю отравят... Море в камень превратят. Чем мы провинились, что нас ждет? (Матвеевой.) Знаем, что тебе открыта правда-истина. Наставь, успокой, пролей на нас свет веры... (Плачет.)

М а т в е е в а. Не плачь, сестра. Не поддавайся бесовскому обольщению и отстанут от тебя храпоидолы. Как лист осенний отвянут и на землю упадут. А ты их метелочкой, да в костер... Пусть горят в огне земном. Потому как мысли плотские — это бесы живые. Растерзают они твою плоть, коли волю им дашь. А коли верой их стреножишь, надеждой их обессилишь да любовью их осветишь... Полетят они тогда как искорки в небеса к престолом всевышним. И в ангелов превратятся. И к тебе в белых одеждах воротятся. И будет твой дом чист, а помыслы светлы. И просветлеешь как звездочка в небе... Смотри, смотри!

*Гром. В небе появляется красноватая звезда, она увеличивается и пролетает мимо... Грохот таковой, как будто что-то взорвалось.*

Л у к и н а. Вот они, вот они... Карлы марсианские... Упыри с хоботами... Вельзевулы и мамоны.

М а т в е е в а. За грех, за грехи...

Ф о м и н а. Может, метеорит это? Тьфу ты...Было в старые времена... И явился знамение змиево на небеси, звезда превелика, лучи имущи аки кровавы, посем бо быша нашествие поганых на русскую землю...

Л у к и н а. Это что же, турки на нас нападут? Или чечены с ингушами?

М а т в е е в а. За грехи наши тяжкие... Басурмане набегут. Заполонят все. А нас на север выселят...

Ф о м и н а. Надо бы на Высокий берег выйти, сестры. Кажется, там рвануло.

*Уходят.*

## Картина 5

Летний вечер. Просторная палата психдиспансера в Анапе. Лианозов и Химкин лежат на железных кроватях. У зарешеченного окна неподвижно стоит Митя. Смотрит в небо. Входит Бумерангов, маленький человек с прекрасной эйзенштейновской головой. Растерянно кивает обитателям палаты. В руках у него справочник по астрономии. Он нерешительно подходит к свободной кровати и садится на нее.

Б у м е р а н г о в. Тут свободно?

Х и м к и н (Бумерангову). Умный человек, а вопрос задал глупый. Тут, как видишь, решетки на окнах. И двери на замке.

Б у м е р а н г о в. Понимаю. Я Бумерангов. Можно мне эту кровать занять?

Х и м к и н. Занимай, занимай, не стесняйся. Тут все свои. Я — Химкин. Вон, тот — Лианозов, а стоит Митя... Пари держу, ты ученый. В дурдом приволокся с справочником. Как же ты, светильник разума, сюда попал? Перепил? Или тещу прикончил. Был тут один... Я, говорил, старых баб ненавижу. И мать и бабу не люблю. А тещу — при первой возможности задушу. И задушил.

Л и а н о з о в. А что потом было?

Х и м к и н. Потом и жену задушил.

Л и а н о з о в. Тоже неплохо...

Х и м к и н. Только не до конца. Они потом опять вместе жили.

Л и а н о з о в. Еще лучше.

Б у м е р а н г о в. Я никого не убивал. Хотя меня вчера обвиняли в том, что я кровь у людей на пляже выпил.

Х и м к и н. Бывает... В соседнюю палату, вон, студента притащили. Фурвин! Фурвин дайте, — кричит. Улететь хочу. Говорят, маньяк сексуальный. Девушку за груди кусал. Как генерал Власов. А в женское поэтессу доставили. Ведьма, вроде. На пляже колдовала... А ты стало быть, человеческую кровь потрещаешь?

Л и а н о з о в (Бумерангову). Не сердись ты на Химозу. Он не кусается. Расскажи про ведьм... Залежались мы тут... Оторвались от жизни...

Б у м е р а н г о в. Ну да, вот... Средневековая история. Засиделся я вчера на песочке в Джемете. Стемнело. Слышу — собаки залаяли. И огоньки позади меня какие-то замелькали. Ко мне приближаются. Погранцы? Так точно. С собаками, а впереди — два ветеринара с медалями. Хватайте его, орут, он диверсант, саботажник! Мне и слова не дали сказать. Солдат какой-то бухой по зубам треснул. Руки мне заломили. И потом тоже, на все мои вопросы — молчок. Я думал, приедем в часть, расскажу, кто я такой, за моим паспортом пошлют, удостоверение проверят, извинятся и отпускают. А старперов с медалями оштрафуют. Как бы не так. Допрашивал меня комендант Буручага. Параноик стопроцентный. Ты, говорит, марсианин-масон. Ни много, ни мало. Не смотрите на меня так...

Х и м к и н. А мы и не смотрим... И не такое слышали.

М и т я. Ты великий магистр, я тебя узнал. Хомячков принесите. Срочно! Свеженьких...

Б у м е р а н г о в. Буручага кричал: «Нам все известно. Старший научный сотрудник он! Видали мы таких сотрудников... Органы все про тебя знают... Им и прошлое и будущее — как твоя ладонь. Без телескопов... Насквозь смотрят... Знаем мы, понимаешь, точно, что ты не земной человек, а пришелец. Что ты мне своим паспортом в морду тычешь? Паспорт как паспорт. Только не твой... Видели в кино — штучки-дрючки. Тело у тебя астрофизика Бумерангова, а суть скорпионья. Выкладывай все... Рассказывай, где вы свое поганое гнездо свили? Каких еще советских людей погубили? В кого вселились, кровососы космические? Жогом буду жечь, когти из пальцев вырву, все ты мне расскажешь!» И ногой меня в живот. А потом держали меня три солдата, а комендант мне кожу электрическим утюгом жёг. Что смеесть? Вот, смотрите... До сих пор саднит. (Задирает рубаху, показывает ожоги на груди.) Через полчаса признался я во всем. Буручага сказал — пиши сам, все как есть, чистосердечно... Я написал, что прислан с Марса на Землю с задани-

ем взорвать рыбзавод. Высадился в Джемете. По пляжу бродил в виде скорпиона, искал людей. Выл и клешнями скрипел. У всех встречных высасывал кровь. Влез в тело Бумерангова. Установил телепатическую связь с подпольной ложей в Варваровке. Соломоновы ключики спрятал в специальном тайнике. С виду вроде камень-валун. А откроешь — чудеса техники, рация марсианская. Собираюсь проникнуть на винзавод в Абрау, отравить там шампанское... Навели меня дельфины в утришском дельфинарии. Буручага прочитал и от удовольствия закричал. Всему поверил, идиот. Запер меня в железном ящике. Там духота... Жарко. У меня сердце схватило и спазмы в горле начались. И в штаны делал. Под утро другой следователь со мной беседовал, багровый такой, как будто десять лет из запоя не вылезал. Прочитал он мое признание, нахмурился и сказал: Издеваешься, сволочь обоссанная. Над органами издеваешься. Жаль, времечко наше прошло, разодрали мы бы тебе за твоё творчество сраку. Ну ничего, опомнятся, вспомнят... Там и поквитаемся. Посидишь в дурдоме месяцок. Будешь жаловаться, рот зашьем свинцовой ниткой. И машину вызвал. Отвезли меня сюда. Вымыли, переодели. Доктор со мной беседовал, Рубинштейн. Сказал — галлюцинации. Никто меня, мол, не арестовывал, в марсианстве и кровососании не обвинял, в железный ящик не сажал, показалось мне все это. Намекнул, что лучше месяц тут, чем назад к Буручаге.

Х и м к и н. При Брежневе тебя бы тут за полгода в инвалида превратили. А сейчас — помучают и отпустят... Перестройка. Были тут и Сулов и Андропов, Жуков и Ворошилов, был даже Сталин, маленький такой армяшка, все кричал: «Вызовите Берия! Арестуйте политбюро!» Но марсиан вроде не было... А масоны — все тут как тут. Все врачи ихнего племени. Рубинштейн, Соколов, Непомнящий... Еще недавно лютовали. А теперь присмирели. Приноживаются...

Л и а н о з о в. Не злوبيсь, Химоза, электрошок не подействует... Ты, академик, почитай нам свою астрономию, какая никакая, а развлекуха...

Б у м е р а н г о в. А про что?

Л и а н о з о в. Открой, где открылось и читай...

Б у м е р н а г о в. Антарес. Ан-та-рес. Красный сверхгигант. В тысячу раз больше Солнца. Двойная звезда в созвездии Скорпиона. Есть такое насекомое на небе.

Х и м к и н. Знаю, знаю, над морем висит... Вот бы туда слетать, а? Только на Ту-104 долго добираться. Хотя, по дороге можно в подкидного...

Б у м е р н а г о в. Будь Антарес на месте Солнца, достал бы до Юпитера. Вокруг звезды пылевая туманность. Светит в десять тысяч раз ярче Солнца, а масса всего в десять раз больше солнечной! Разряженная звезда. Плазменный пух. И спутник недалеко летает. Карлик голубой. Жизни там нет. Условия не те.

Х и м к и н. Это ты, астроном, загнул. Мы же тут живем. Думаешь, там условия хуже чем в Анапе? Не поверю. Там живут... Антары. С тремя глазами и тремя руками... (К Мите.) Понимаешь ты это, Митяй? Ты тут в грязной палате торчишь, о хомячках мечтаешь, а там, далеко, между оранжевой звездой Антарес и ее голубым небесным компаньоном парит в пространстве планета чудесная... На ней обитают трехглазые люди... Одним глазом смотрят на Антарес, другим на компаньона, а третьим на тебя, Митяй, смотрят. И думают — а не слетать ли в гости к двуногим, двуглазым друзьям... Давненько не бывали мы на черноморском побережье! Подумали, сели в летающие тарелки и фьют... Уже тут, у нас, на психодроме. Так что встречай сегодня ночью гостей. Все твои желания исполнят. Жвачки дадут. В Париж отправят.

М и т я (волнуясь). Не хочу в Париж. Там магистры... Они клизмы ставят... Пусть лучше построят в палате, желтый домик... Я буду в нем служить. Гномиком.

Х и м к и н. Построят, Митяй, надейся и жди... И гномиком служить будешь... До подполковника дослужишься.

Б у м е р н а г о в. От Антареса отходит туманность Темная трубка... Как катетер от желудка...

Х и м к и н. Катетер? Проходили. Хватит. Хрен с ней, с наукой. Париж, Марс, Антарес это мелко. Не по-нашему. Скажи мне лучше, ученая голова — есть ли жизнь после смерти? Ждать чего или нет. Типа — загнулся и все, пиздец полный и окончательный?

Б у м е р н а г о в. Вы Химкин, представьте себе... Дохлого петуха... Видели наверно на базаре. Оживет он? Нет. Его ощилят и в суп. С лучком... И все дела. И с человеком также. Раньше мертвецов ели. А теперь сжигают. Или в землю. Вон, справа за главным корпусом, труба. Знаете, что это за сизоватый дымок над ней вьется?

М и т я (неожиданно). Там домик. Там санитары людей жгут. А рядом газон. Там живут божьи коровки.

Х и м к и н. Коровки... Я почему спросил... Со мной вот что случилось. У меня от первой жены дочка. Жалею я ее. Поступала в историко-архивный в Москве. Не прошла по конкурсу. Библиотекаршей устроилась в Новых домах. Живет тут недалеко. Муж ее руки распускал. Приехал я один раз к ним. Проведать. И не узнал свою дочурку. Прикрылась платком и плачет. Все лицо он ей разбил, гад. У меня в животе засосало, а затем рвануло что-то в башке. Светом все залило перед глазами как при сварке. Схватил я полено, в садик выбежал, а он там на коленях стоит, свинью кормит. Я ему поленом по затылку... Хрясть!!! Что было силы в руках. Он упал сразу. Застыл. А потом кровянка показалась. Как красная слюда. Дочь в голос, а я сел на землю. Сижу как глухой, ничего не слышу... А свинья из загона вышла и давай кровь лакать. На суде меня невменяемым признали. Принудиловка. Отлежал я свои три года. Но до сих пор — как что не так, все перед глазами электричеством заливаает, и из жизни меня выносит, как машину на повороте — в обрыв, в пропасть лечу. А там меня мертвый зять ждет... И свинья рядом хрюкает... А ту свинью уже пять лет как съели. Ты говоришь — петух. Откуда он, черт, вылез? Его сожгли и похоронили. А он — вишь, в голове у меня поселился...

Б у м е р н а г о в. Да... Я думал, вы тут косите от чего. А вас и вправду лечить надо... Лианозов, а что вы тут потеряли?

Л и а н о з о в. Я от Химкина не далеко уехал. Жил всю жизнь как лопух. Сам посуду — поступил я в политех. Хотел ракеты конструировать. Поступил, а с него бронь и сняли. Год учился, а потом в армию забрили. В Афганистан. Нет, я не воевал, я шоферил. Начальника возил. А он только туда, где не стреляли, ездил. Чтобы он свою толстую жопу под пу-

ли подставил? Да ни за что. Он только свои делишки обдывал. Козел. В армии я был полтора года. Демобилизовался. Пошел дальше в институт учиться. А башка не варит. Бывало, учебник откроешь. Глазами по строчкам — зырк-зырк, а в голову ничего не лезет. Непонятки. Так я и не кончил. Ушел с четвертого курса. Зато жена осталась. Стала инженером. Не по ракетам — по сельхозмашинам. Только работать не хочет. Все красится. И пьет. А я так и работаю шофером. И частным извозом подкалымливаю. Недавно вот тридцать два стукнуло. Вершина позади... Вниз поехало. И весь путь открылся. Раньше были вроде горы, холмы... А теперь... Овраги. Дальше степь. В степи раскрытая могила. В ней черный гроб... Я думал, думал, а потом решил, все темные вещи в окошко... Полегчало. Я ведь даже читать не могу. В каждой букровке, в каждой палочке черная гадина сидит... Со страницы прямо в глаз прыгнуть хочет. Чтобы мозги высосать... Ну я и книги тоже все... Тут жена из отпуска вернулась. А в квартире ни телевизора, ни стульев, ни книг... Она давай визжать и в скорую названивать. Диагноз мне поставили — прогрессирующее слабоумие. А инвалидность не дали.

Х и м к и н. Сто раз говорил, зря ты так, Лианоз. Вещички, они, навсегда пригодятся...

*Разговор прерывает резкий, назойливый, как будто школьный, звонок. Все вздрагивают в ужасе, прячутся под одеяла как дети.*

М и т я (укрывается одеялом, пыхтит, бормочет про себя). В желтом домике магистров нет. Там вата. И хомячки...

В палату входят медсестра с металлическим шприцем в руках. Шприц блестит как кинжал.

С е с т р а. Инъекции!

## Картина 6

Гремит гром. По сцене бегают оранжевые и голубые огни. Сумерки. На темном небе висит огромная оранжевая звезда Антарес, в стороне от нее — малень-

кая голубая. Небо напоминает рисунки подростков на космические темы. Внизу — длинное, сюрреалистическое пространство между двух, уходящих в бесконечность «китайских стен». Впереди лежит Химкин. Недалеко от него Лианозов. В глубине сцены стоит Антар. Раскат грома.

Х и м к и н (потягивается, встает, оглядывается, ошарашен). Во как рвануло! Аж кишки все перетрясло. Планетарий, что ли, в Анапе построили? Тра-ляля-ляля... Тарарара-рарара... Тра-ля-ля-ляля... Во как! Дышать могу, а воздух в легкие вроде и не входит... Стены какие-то... Небо не нашинское. Но Лианозов тут. Наверное, я в дурдоме на койке лежу и мне все это мерещится. После инъекции бывает... (Замечает Антара, подходит к нему.) Ага, вот и абориген! Хороша галлюцинация, ничего не скажешь... Вот ведь филин... (Громко, Антару.) Ты, что, замороженный? Очень ты мне Митяя напоминаешь из нашей палаты. Тоже стоит. И кукует.

Л и а н о з о в (встает, трогает стены). Ну дела... Стены в палате построили...

А н т а р. Извините, господа, карты сданы, прошу ставки делать. Шампунь Фантазия. Прошу вымыть руки и шею. Деревянный будет сегодня денек. Ха-ха-ха!

Х и м к и н. Грамотно излагаешь. Послушай, шампунь Фантазия, а что там, за стенами?

А н т а р. За стенами — стена. За стеной стена, а за стенами — стены. Вот так, дружочек. Будем березки спиливать...

Х и м к и н. Все березки давно спилены. Не отодвигай смысл в сторону. Что нам тут теперь, между стенами бегать, что ли? Как Чингиз Хан? Есть выход?

А н т а р. Выхода нет. Ходи пешком. А я ее королевой съем. Милый мальчик слишком много кушает. Он съел корову, а на быке поперхнулся. Потому что корова пчелиная, а бык цветочный... Не ломай голову. Пой песенку — У моей свинки хрустнуло в заду...

Л и а н о з о в (поет монотонно, качается). У моей свинки зеленые ботинки... Красивые ботинки у моей зеленой свинки...



А н т а р. Умница ты моя, сделай из тыквы ракету и лети на Луну. У Луны никогда не бывает насморка, не то, что у нас, широконосых белохвостиков... (Химкину.) Ну что, сверхчеловечек, вынуть тебя из философского холодильника?

Х и м к и н. Вынь, вынь, сделай одолжение, товарищ космонавт, пока я копчик не отморозил...

А н т а р. В домике живут Король, Дама и Валет. Спроси Валета, а ответит Дама. Не горюй, сделай байпас и начинай все с начала. Как девушка...

Л и а н о з о в (неожиданно капризно). Не хочу в могилу! Там черный гроб...

А н т а р. Правильно, не умирай. В рай попасть очень трудно. Нужен блат. Ведь они гласные, а мы согласные... Короткие звуки. В нас нет тягучести. Пожили и хватит. Надо и честь знать. Зябликов выньте из ушанки. Заслонку закройте, а то дует. Поняли, блаженные? Игра простая. Родился — умер. Умер — родился. Замри-отомри...

Х и м к и н. Я уже замер. Дышать трудно. (Хватается за горло.) Выкачали воздух... Сестра! (Падает.)

Л и а н о з о в. Не хочуууу! (Падает рядом с Химкиным.)

А н т а р. Разгадайте загадку. В домике живут Дама и Валет. Сколько в Короле скопилось Оль? Перестаньте кривляться, мальчики. Собирайтесь, поедем в Сукко. Там нас девочки ждут... В Голубой долине... Мясистые, румяные. Профсоюзные... Как дяди Володина задница. Хрю-хрю-хрю...

## Картина 7

Очень странный берег реки. На берегу сидит Бумерангов с удочкой. Рядом с ним стоит Антар.

Б у м е р а н г о в. Ты мне честно скажи, какой из меня марсианин? Они что, с ума посходили?

А н т а р. Они никогда на нем не сидели. И сейчас не сидят. Как дятлы. Постукают, постукают по бревну, а потом личинку в клюв.

Б у м е р а н г о в. Ты меня не мучай. Говори прямо. Ты Бог?

А н т а р. Так я тебе и скажу. Держи карман. Да и не все ли равно? След давно простыл. А они слышат звон, да не

знают где он. Поехали бы лучше кататься. Колесики застучат, застрекочут. Пружинисто так — чок-чок-чок... Блошиная кавалерия.

Б у м е р а н г о в. Перестань ёрничать. Я знаю, что ты Бог. Это не меняет дела. Учти, если у меня клонет, я все разговоры прекращу. Ловлей заниматься буду. Но пока не клюет. Ты скажи мне, между прочим, зачем все это... Жизнь зачем?

А н т а р. Не могу знать, всю голову репьем забило. Мое дело простое — прилететь. Опросить. Записать. И доложить, куда следует. А тут чего-то не то. Какая-то мелодрама. А мне что Ре, что До. Все едино. Мне в ваши дела категорически запрещено вмешиваться. Были раньше такие, шестикрылки. Вмешивались. В наказание божьими коровками стали. (Превращается в петуха.) Ку-ка-ре-ку! Не вижу карпов и осетров! Выплывайте, ребята! Я вам песенку спою. Про жирафчика.

Б у м е р а н г о в. Сгинь, пернатый. Черт меня дернул... Вот он и приперся. Из метафоры, гад, вылупился, как из яйца... Милости просим!

А н т а р. Осторожнее на поворотах, болезный. Мы ведь особенно магистров любим клевать. Как увидим магистра, такими удалцами становимся. Курам на смех. Кудах-тахтах! По-берегись! (Наступает на Бумерангова.)

Б у м е р а н г о в (медленно отступая и защищаясь удочкой, на которой болтается большая пластиковая рыба). Сгинь... Отойди от меня, космонавт... Тебя на пыльных тропинках Гагарин ждет... Иди в курятник...

А н т а р (успокаиваясь). Вы золотую рыбку поймали и не заметили. Это невежливо.

## Картина 8

Митя висит в пустом пространстве. Вокруг него медленно кружится вселенная, похожая на веретено, состоящее из звездочек.

М и т я (дрыгает ногами, обращается в зал). Вы сидите на горошинах, господа присяжные. Поэтому у вас хандра не проходит. Мне с вами не по пути. Если я начну все разжевы-

вать, минутки не хватит. Наловили птиц, в клетках переполох, а в лесу тихо. Некому гнездышки вить... Любезные охотники! Для косточек — отдельное блюдо поставлено. Мисочки, пожалуйста, за собой помойте... Порошочком потрите. Пусть сверкают как протезы для безногих. Задача-то трудной оказалась. Всё решали, голову ломали, а потом на дачу укатили. Водочка, шашлычок. Карасики. А картофельные очистки не пробовали прикладывать к больным местам? Мамы и кузены, принесите немного горячего каучука! Дайте попить ящерице... Сами видите, финти не финти, а получится гыша. Приглашаю отобедать. На первое — ледяное побоище и чернослив с горностаем. На второе — одесская лестница и фрикасе — шелупонь кисломолочная. А на третье — замороженная вьхухоль с крыжовником и кускус. Приезжайте в Анапу, там вода и песок. Женщины пахнут болотом. У мужчин на ногах ногти как у носорога. А у мальчиков на попках — анютины глазки.

*Мгновенно поворачивается к зрителям задом и спускает больничные штаны. На ягодицах вытатуированы глаза в виде цветов...*

*Занавес*

## ШАНЕЛЬ НОМЕР ПЯТЬ

Вылетел из Шенефельда. Как будто из серой глубины поднялся, наконец, на поверхность моря. Тут царствует холодное Солнце. Плазма-голубизна. Нет земли, а есть только пустота пространства, сияние вечного дня и облачная вата.

Весь полет проболтал с двумя соседями. Импозантный торговый еврей из Одессы не мог остановиться, когда начинал говорить. А начинал он всегда так: «На это я вам вот что скажу...»

И говорил, говорил. Сравнивал Сингапур с Шанхаем. Одессу с Киевом. Вращал коричневыми масляными зрачками. Улыбался застенчиво. Я его слушал, не прерывал — за его любезность и доброжелательность, редкую для бывшего советского человека.

Все речи среднего еврея это или замаскированная или открытая похвала самому себе. Или я несправедлив к евреям, и человеческая речь вообще есть феномен самовосхваления, самоутверждения тленного тела, духа, слова в «глухой вселенной»?

Второй еврей был молодой, лысый, симпатичный. Убежденный киевлянин. Рассказывал о том, «сколько нас вернулось» из Израиля. Раньше модно было уезжать. Теперь — возвращаться.

— Я уехал и квартиру на Подоле продал за десять тысяч, а теперь я приехал и хочу квартиру свою назад. Покупаю. Я плачу за нее двадцать тысяч. И живу. И все довольны. А цены на недвижимость растут, — восклицал он восторженно-печально.

— А на это я вам вот что скажу... — откликнулся первый еврей и говорил двадцать минут без пауз, похлопывая меня по плечу, заглядывая в глаза и застенчиво улыбаясь.

...

Первое впечатление от ноябрьской Москвы — холод, вонь и грязь. Вонь от выхлопных газов и всеобщая безобраз-

ная грязища. Вонь и грязь явно доминируют и в сознании московских обитателей. На улицах суета, грубость, хамство. Высокомерие сильных — богачей, чиновников и их многочисленных холуев — шоферов, охранников.... Злоба и отчаянье бедных и слабых. Тупое смирение. Есть и милые, родные, прекрасные лица. Этих жалко. В какую еще передрагу втравит их сумасшедшая Родина?

...

Встретил в троллейбусе таджика из Душанбе, перешедшего в православие. Внешний вид — террорист. Бородища. Верит в Христа с той же убежденностью и фанатизмом, что и его братья мусульмане в Магомета. Выражение лица как у Спаса в силах. У, бля, зашибу! Попляшете вы все у меня на раскаленной сковородке! И вечный траур.

Таджик сказал:

— Не слушай никого, только свое сердце!

Чтобы бы было со мной, если бы я жил по этой заповеди? Ничего бы не было. Я так и живу. Мое сердце молчит.

...

Звонил первой жене. Минут сорок болтали. Все, вроде, было хорошо. Но вот ведь странность. Расстались мы двадцать пять лет назад. Многие за это время пережили. Но по отношению друг к другу остались прежними. Соперниками. Кидаемся друг на друга как петухи. И клюем, клюем...

Люди действуют, говорят, даже чувствуют — по каким-то навязанным им жизнью схемам. Свою первую жену я люблю до сих пор. Но никогда не признаюсь ей в этом. Написать могу, а подумать — страшно. Получается, что я — не — я. Вместо меня говорит кто-то другой. И живет. Кто?

И так во всем. Самих себя мы не понимаем. Проживаем чужую жизнь. Гоняемся за призраками.

...

Был у Даниловского монастыря. Видел новообретенные мощи. Новые иконы, написанные по канонам средневековья. А иногда и в пошло-реалистической манере. Современное православие — старушечье суеверие. Действует только на кликуш и на несчастных, тоскующих по небесному хлыстовству, интеллигентов. Во дворе монастыря ка-

заки какие-то разгуливают самопровозглашенные. Хорошо еще без шашек и газырей. В самодельных папахах. Киргуду и бамбарбия.

Посетил подругу жены Соломинку. Перенесенное страдание (раковая операция) пошло ей на пользу. Говорила о других людях почти без злобы. Соломинка истово верует, но при этом отдает дань и социологическим, исключаящим влияние небесных сил, теориям.

— Элиты распоясались. Показывают сейчас всему миру, кто в доме хозяин. Кончится это плохо. Глобальным катаклизмом на шарике.

Кончается все всегда плохо. Соломинка женщина профетическая. Как многие другие жители Совка, она проектирует свою неудавшуюся жизнь на мировую историю.

Из монастыря поехал на трамвае к Павелецкому вокзалу. В трамвае сидело несколько пьяных, багровых, страшных людей. Пять остановок ехал сорок минут. Пробки. Замарал пальто.

...

Безуспешно пытался зарегистрировать мой немецкий паспорт. В приглашении написано ясно — прибыть в трехдневный срок на приглашающую фирму и зарегистрироваться. Адрес фирмы: Новинский бульвар, дом один. Приехал. Неприятно поразило — не было там дома номер один, а был — один, дробь два. Захожу в туристическое бюро.

— Простите, где тут фирма Бизнес интерне-шинел?

— Понятия не имею.

— А где дом один, без дроби?

— Понятия не имею.

Захожу в бюро переводов. Спрашиваю про фирму.

— Не знаем мы! Ходят тут, ходят целый день. Фирмы всякие ищут, спрашивают, работать не дают. А мы вообще не на Новинском...

Спросил и у милиционера, стоящего перед входом в банк на проклятом Новинском бульваре.

— Не из Москвы я. Что тут, как тут — не знаю. Понаставили тут фирмов!

Понимая, что жизнь абсурдна и страшна, если ожидать от нее какой-то логики, обошел все шестнадцать учреждений

в доме один, дробь два. Ни один человек мне ничего внятно-го не сказал, ни один не скрыл раздражения. Ни один не по-мог. Поехал домой, на Ломоносовский. Позвонил в прокля-тую фирму. Оказалось, у них принтер старый, иногда не пропечатывает цифры. Настоящий адрес — Новинский 11.

На следующий день поперся снова. После получасовых блужданий нашел искомое бюро. Вся фирма — три человека. Любезная девушка объяснила мне, что, согласно новым пра-вилам регистрации, я должен идти в милицию по месту вре-менного пребывания. Подать там заявление от имени при-нимающего меня на частной квартире лица. Завизировав за-явление, ехать в ОВИР и получить там регистрационный бон. Я обозлился.

Спросил:

— А нельзя ли без ОВИРа, без милиции и без частного лица. Лицо это живет в сейчас в Италии и участвовать в столь важной для Российской Федерации процедуре, как ре-гистрация прибывшего в Москву на шесть дней иностранно-го гражданина, никак не может.

Глубоко вздохнув, девушка произнесла:

— Ну тогда мы сами все сделаем, зарегистрируем вас так, как будто вы в гостинице живете. С вас 1500 рублей.

Знакомая картина — туфта, обман и обдираловка. Отдал ей деньги.

— Приезжайте завтра!

Не отпускает меня Новинский бульвар.

Решил пройтись по Новому Арбату. Натолкнулся на су-ровую тетю, вещающую голосом диктора Левитана:

— Вот вы все мимо идете и не знаете, что в этом здании, в подвале, публичный дом. Там содержатся восемьдесят де-вушек на положении заложниц. Над ними издеваются новые русские и заграничные богатеи. Слушайте, слушайте правду! Преступный капиталистический режим олигархов и служа-щей им продажной путинской власти превратил наш народ в сборище алчущих денег скотов. Без чести, без совести. В пре-ступную банду кретинов, насильников и эксплуататоров. Все идет на продажу. Родители продают своих детей за границу. Там их насилуют и убивают...

Ушел поскорее от тети.

Зашел в Дом книги.

Цены кусачие. Персонал не обучен. Девушки в униформах скучают. Компьютер не знает, есть книга в продаже или нет. Поражала широта репертуара. Кому было выгодно нас всего этого лишать? А сейчас поздно. Другое время. Хорошая книга никому не нужна. Нужно развлечение.

Купил русский орфографический словарь. Когда платил, кассирша заметила горько:

— Как у вас денег много! Тут работаешь, работаешь. С утра до вечера. Всю жизнь. И ничего не наработаешь! А они, вишь, приходят, у них денег — полный рукав.

Я разозлился.

Сказал ей:

— Тут у вас веревки крепкие, добрые. Привяжите к люстре и удавитесь!

Кассирша злобно глянула в мою сторону, искривила лицо, а потом вдруг заплакала. Тяжело и жутко. Опять я виноват. Кассиршу обидел.

...

Поймал машину. Шофер выглядел как этнический кавказец.

— Вы грузин или армянин?

— Попролам, оба.

— Значит, исходя из современной политики российского государства, надо одну вашу половину выслать в Тифлис, а вторую в Ереван.

Шофер рассмеялся и рассказал:

— Я закончил в семьдесят пятом геологоразведочный. По распределению поехал в Сургут. Там до сих пор живу. Там дети. Там мой дом. Меня в Москву послали от фирмы. Зарабатываю всего пятьсот баксов. А тут однокомнатную квартиру снять — пятьсот стоит. Вот и ишачу. Да еще и гонения на грузин начались. Вы скажите, чего он к нам привязался? Гэбэшник. Зачем оскорбил народ? Три раза меня останавливали, документы проверяли. Один раз, ни слова не говоря, в милицию отвезли и побили. Все деньги взяли, пятнадцать тысяч рублей, и выпроводили. Сказали, побежишь



жаловаться, узнаем, найдем и все кости переломаем. А нам за это ничего не будет. Мы для них не люди. Они нас так и называют — звери! В Сургуте лучше.

Приехал домой. Включил телевизор. Показывали какие-то драки между солдатами. Диктор говорил сурово-ласково:

— Во время смотра солдаты выказали патриотизм, стойкость, готовность поразить врага в любой точке мира. Поэтому и называют наш спецназ — лучшим в мире!

Вот идиоты! Какими были, такими и остались. Все патриотизм выказывают. Сами себе мозги промывают. Это русским государственным людям также привычно как уткам и лебедям перья чистить.

...

Был сегодня на Старом Арбате. Холодно. Минус три, влажность сто процентов и ветер дует. Спасибо английскому пальто — защитило от стужи. Не выдержал, зашел в сувенирную лавку и купил палехскую шкатулку за пять тысяч рублей. Ничего с собой поделатать не могу — каждый раз шкатулки покупаю. Дарю потом людям, которые их не ценят и не понимают. А эту красавицу шкатулку себе оставляю.

Рождество. Письмо чистое. Краски нежные. Бриллиант. На черном лаковом фоне горки иконные желтые, охряные и зеленые. В них — «пещеры». На заднем плане русский конфетный город. Дерево оливковое, пышное. Два ангела золотокрылых перед запеленатым младенцем преклоняются. За люлькой телец с телицей, царство животное пришло поклониться младенцу. Богородица в красном лежит, на три расцветших цветка смотрит. Три цветка — Троица, рождением младенца полноту обретшая. Иосиф — могучий как Илья Муромец — смиренно рядом сидит.

Вот она, русская идея, на ладони умещается. Светится вся, переливается. Черный фон это русская угольная жизнь. В ней чернота беспросветная, беспримесная. Жирная. Из нее цветной кристалл рождается, сказочный вертеп. Святая плазма на антраците сублимирует. Сладостный мир. Умиленность. Картиночка. Для сердца и для глаз отрада.

...

От Арбата к Манежу пошел. Вот тебе и на! Уже новый выстроили. Быстро. Два года назад только обгорелые стены

стояли. А внутри, в подвале «Дом фотографии». Пиршество. Подземная галерея, зал размером с футбольное поле. Нашел там фотографии Мохорева. Вот мастер. Как Вампилов — на совковом материале милых людей показывает. Эротика милосердная. Редкий дар.

От фотографии — к картинам.

Парк культуры. Мост. Дом художника, огромный сарай для искусств. Тут много, много цветастых картин висит. Эти произведения бывших советских академиков ничего кроме раздражения не вызывают. Нет в них ни иконной силы, ни палехской нежности и упрямой декоративности. Нет в них и духа модерна. Так. Застрали люди в Совке. Даже не застряли, а сами себя туда поместили. Как рыбок в аквариум. И плавают там с Шишкиным и Куинджи. А об океане и не мечтают. Грустно и поучительно. У Палеха — мастерство. Мир этот, конечно, ремесленный, энтомологический, но честный. А у современных русских айвазовских нет ни мастерства Айвазовского, ни пронзительности Саврасова, а только упрямство, серая мастеровитость, не освещая муть оптической реальности, от которой они так и не смогли оторваться.

...

Был на пятидесятилетия Второй школы.

Торжественный вечер в бывшем Дворце пионеров. Так себе представление. Потом в школе тусовались.

Какая радость старых друзей повидать! Из нашего класса было всего пять человек — Жек, Апоня, Аська, Мо и Ко... Жалко, что так мало. И учителя наши не приехали. Не было ни Германа, ни Фела, ни дяди Яши. На Шефа смотреть больно, так постарел, скукожился. Но все еще сдержан и галантен. Школьники этого больше всего в нем и боялись — сдержанности. Внутреннего спокойствия и достоинства. На этом фоне наши шалости и гадости особенно хорошо были видны. Внимательно слушал речи и выступления на вечере. Не концерт меня интересовал, а отношение — оставшихся к современному политическому режиму в России. Быстро понял — его бояться. Как всегда на Руси царя и опричников боялись, так и сейчас. Формы — и режима и страха перед ним, конечно, изменились, мутировали, но суть осталась. Не страна, а репрессивная пирамида. Только из-за этого уехал бы и сей-

час. Слишком часто эта пирамида превращалась в лезвие, которое резало по живому. Не понимаю оставшихся. Особенно тех, которые могут покинуть страну. Охота им это шизофреническое пойло хлебать?

Смотрел новости. О ракетно-бомбовых ударах в Чечне рассказывают без стеснения, как будто это не Россия, а Гондурас и умирают там не граждане России, а зулусы японские.

Плохо то, что россияне привыкли к запаху смерти, коктейлю из казенных сапогов и выхлопных газов.

Сложите вместе отчаянье обнищавшего пенсионера, ужас обывателя, постоянно нарушающего закон, чтобы хоть сколько-нибудь заработать, и радость несправедливо разбогатевшего нувориша. Добавьте к этому тухлую красную рыбу, гнилые пельмени, хамство и грязь в общественном транспорте, антисанитарию в магазинах, бычьи глаза всяческих охранников, омоновцев, полуразрушенные дома, астрономические цены на жилье, запах кошачьей мочи в подъездах, лживое высокомерное телевидение — и вы получите московскую жизнь.

Бывший друг заявил мне, что мое отношение к Москве это только рефлексии ослабевшего интеллектуала. Нет у меня рефлексий! Только констатации. Ослабел, действительно, мой кишечник в борьбе с красной рыбой и пельменями. Два дня лопал, лопал. Потом догадался, что рыбка-то, с душком, а пельмени нечисто сделаны.

И нос мой тоже ослабел от постоянного обоняния выхлопных газов. На шестом этаже шикарного дома на Ломоносовском проспекте нельзя было форточку открыть, так воняло. И вот, что странно — цена многих квартир в сталинских домах подбирается к полумиллиону долларов, а подъезды в них грязные и вонючие, зачастую и сами квартиры выглядят как трущобы.

Меня спросили — где это ты ощутил — имперскую вонь?

Я ответил — вы, господа, ко многому так привыкли, что и не замечаете вовсе, где и как живете. Вся Москва — скопление имперской вони. Посмотрите, как в ворота Кремля въезжают лимузины сатрапов, как разгоняют менты пеший народ и перекрывают дороги, отчего обычные люди должны стоять в бесконечных пробках. Улицы, стены, полы, потол-

ки — грязные, обшарпанные. В метро душно, там воняет потом и перегаром. Владельцы не по чину шикарных мерседесов и бмв наглы и высокомерны. Про откаты, криминальное обналичивание я уже и не говорю. Про свирепствующий СПИД и тотальную наркоманию тоже. А тут еще и политические убийства начались, одно другого страшнее и гнуснее. Женщину убили красивую. И бесстрашную. Критика режима отравили в Лондоне. Это все и есть — имперская вонь. Смеются. Дурак мол, что с него взять?

...

Долго говорил с бывшим другом. Умный парень. Три часа хвалил новую Москву и самого себя. Он и профессор и гениальный писатель и успешный бизнесмен. По всему миру ездит. Хочет купить остров в тропиках. Путинским режимом доволен. Я ему посоветовал купить островок рядом с Соловками — не далеко ехать будет.

К хвастовству я отношусь спокойно и успехи друга меня радуют. В его речи проскальзывало, однако, что-то особенное, наше, русское — желание пусть косвенно, мягко, но смешать собеседника с грязью, дискредитировать его жизненную позицию. Ну что же, я ведь и сам такой. Я не отвечал, помалкивал, потому что хотел понять. Но так и не понял. Как можно быть довольным Путиным? От одной его злобной физии вытошнить можно. А моему другу он нравится.

...

Был в Кремле. На входе проверка. Все металлическое — клади на стол и шагай сквозь магнитную арку. А внутри крепостных стен иди только по дозволенной полосе. Шаг в сторону — свисток и окрик милиционера. Лагерь. Политическая структура России оставляет на всем свои отпечатки. Структурирует жизнь. Топай, где положено, а в политику не лезь.

Успенский собор. Снаружи — упрощенный до тривиальности собор святого Марка в Венеции, внутри — палехская шкатулка. Зато старые иконы это что-то настоящее. На них божественное находит материальное воплощение. Святой Георгий красный. Богородица на обороте. Проняло меня крепко. Насквозь. Странно, в Бога не верю, а пронимает. До

ощепенения. Такое восхищение. Такая радость, что вот оно, чудо — смотрите, здесь, перед вами. Значит, есть еще не высохший источник в душе! Не все перегорело.

Вышел из собора на площадь и все прошло, фонтан живой воды бить перестал. Еще гаже показались лица туристов, еще злее рожи топтунов, охраняющих свою державную крысу.

— Человек это загадка — справедливо заметил защищающийся от нападок, безденежный эпилептик Достоевский. Об этом я думал, когда ехал в Измайлово, покупать еще одну палехскую шкатулку.

— Зачем тебе еще одна шкатулка? — спрашивал я себя. Тоскливо осознавая, что через десять минут приеду на дурацкий рынок сувениров. Буду искать шкатулку, найду и куплю. Увезу ее домой, а потом не буду знать, что с ней делать. Подарить жалко. Не потому что жалко. А потому, что никто уже давно материальные предметы не ценит и не любит. Да еще — пятьсот туда, пятьсот обратно. Прав был огорченный писатель. Загадка. Спасибо еще, интересный шофер попался. Бывший военный. Воевал в Анголе, в Афганистане, в Чечне. Командир вертолетного звена. Вот, оказывается, для чего я в Измайлово еду. Чтобы по дороге одну историю проверить.

— Знаете, я тут недавно в Германии маленький рассказ опубликовал, про войну афганскую. Мне в восьмидесятых один ваш коллега рассказывал, как там наши солдаты женщин и детей огнеметами сжигали. Я только пересказал, что слышал. А мне говорят — преувеличение. Выходит, я на мою бывшую родину клепаю. Могло такое быть? Огнеметами?

Шофер рассмеялся.

— Да запросто. Я, правда, огнеметом не работал, но ракетами мы деревни с жителями не раз сжигали. По инструкции — стрелять надо было с трехсот метров высоты. А мы с пятидесяти хреначили. Удобнее, видишь куда ракета попала, меньше вероятность, что тебе зад из автомата обжарят. После такой стрельбы все ветровое стекло у вертолета в крови. Обрывки кожи и глаза налипали. Как их внизу ракетами разнесет, так ошметки тебе прямо в рожу летят. И поди разбери, мирные это жители или душманы. Всех лу-

пили. А глаза эти и кровь солдаты на базе водой из шлангов смывали. Каждый день. Часто попадались и детские глаза. А вы говорите — огнеметы.

Вот так всегда. Реальность еще хуже литературы.

...

Обратно ехал на такси с разговорчивым таксистом. Это был недалекий, курносый дядя с слезящимися глазами. Шестидесяти примерно лет. Говорил он всю дорогу от Измайлово до метро Университет. Я старался ему не мешать. Поощрял его вопросами.

— Да, масоны всем правят. С царских времен. Ведь тогда как было? Банкиры все евреи. Их деньги, их проценты. Но царского добра не тронь! Они царя ограбить не могли. Так революцию устроили, царя расстреляли. И вообще всем завладели. Вы думаете, Ленин кто? Бланк он. Жид. Троцкий — Бронштейн. И Горбачев и Ельцин тоже евреи. А Березовский и Гусинский сообразили — на власть стали тянуть. Ну им дали еще денег и из страны поперли. А Ходор, тот вообще президентом заделаться хотел. Его раз предупредили — не лезь, жидюга, в политику. Два предупредили. А потом, когда он уже улетать намылился — хватать за жопу. И посадили. Потому что, если вор — сиди и бабло пили, а на Путю не тяни.

Вы знаете, кто таксопарки разгромил? Лужков. Настоящая фамилия Кац. Сколько домов понастроили. А дороги только для подъезда к рынкам. Строят, строят. Москва пухнет. Черных везде толпы гуляют. А транспорт стоит. Третье кольцо, зачем оно? Для торговых центров только! Ни такси, ни скорая до места добраться не могут. Скоро все в небо полетит.

Я стою сейчас на точке. В Измайлово. Мафии деньги за нее плачу. А кто хозяин точки? Опять еврей. Мильчик, козел тот еще. Носатая харя. Ух, гадкий. А раньше так было — ты выезжаешь на рейс, плати диспетчерше двадцать копеек. Ты еще ничего не заработал, а уже — плати. Я был шляповозом. По Москве мотался. Шляп развозил. Шляпа, известно, больше двадцати копеек не даст на чай. Бывало иногда — целый день мотаешься, а привезешь пять рублей. И холостого пробега сто километров. Была тогда такая штука — две иголки вставляли умельцы в счетчик. За иголки тоже плати-

ли. Я учился только шесть классов, без образования. Всю жизнь шоферить хотел. В такси, чтобы. Люблю с пассажирами разговаривать. Один раз посадил я одну шляпу. В семидесятых годах было. То ли армян, то ли азер. Говорит, я тебе бутылку коньяку дам вместо денег. Я взял, интересно. Ну и че? Выпил на следующий день, с женой, братком и напарником Вовочкой. Жена кормила тогда сына моего младшего, Антошку. Он потом в пятнадцать лет разбился насмерть на мотоцикле. Она этот коньяк только пригубила, а я, браток мой Аркашка и сменщик выпили бутылку. И начало нас часа через три крутить. У жены менструация началась и две недели лило. У меня глаза чуть не вылезли. Аркашка блевал целый день, а сменщик мой, Володька, как бык здоровый, даже в больницу попал. Левую сторону у него парализовало. Вылечили. Только после рота у него дергался. Древесный спирт был в том коньячке. А сейчас люди вообще как черви от ядовитой водки дохнут. Льют в бутылки чего попало, этикетки фальшивые наклеивают. Известное дело. А евреи всем этим управляют. Из ложки. Есть такая всемирная ложка. В Иерусалиме. В храме ихнем собираются, в убежищах атомных. Понастроили там. И управляют отсюда. И Ходор там был. И Путин. А сменщик мой, Володька, тот с лестницы упал. Дома. Сломал ребра, большой палец и нос. А накануне мне сон про него приснился. Будто он один в комнате большой. Стоит просто. Я проснулся. А он мне звонит, Коля, говорит, приезжай скорей, я с лестницы упал, мне нос начисто снесло. Я к нему поехал, а по пути аварию сделал. Меня сменщик без носа ждет. А я ментов дожидаюсь, мне весь зад другое такси разбило. Так он потом без носа и жил. И рот у него дергался. Убили его в начале девяностых. Случайно. Разборка у бандитов была с ментами. Его и зацепили. Из автомата, кажись.

...

Как мне уезжать — естественно туман мертвый. Ни зги не видать. Шофер такси не видел светофоров. Я побаивался, таксист только смеялся.

— Это разве туман? Это молоко, а бывает и сметана!

Высадил меня во Внуково прямо в грязь. Я вылез, почистился, пошел на регистрацию. Зарегистрировался, прошел контроль. Перед посадкой зашел в беспопылинный мага-

зин. Оставалась у меня одна бумажка — тысяча рублей. Смотрю, — стоят на полке коробочки Шанели. Ага, думаю, вот подарок для дочек или жены. Сам в руки просится. И за шкатулки не стыдно будет. Шанель! Черная шаль, смутлая рука в браслете, шик! Купил, спрятал в сумку.

Вышли на улицу. Туман еще гуще сделался. Зашли мы в длинный автобус. И простояли в нем полчаса. Никто нам ничего не сообщал. Водитель ушел куда-то. Туман. Никого из официальных лиц нет рядом. Что делать? Прошло еще полчаса. Немцы начали роптать. А русские ждали терпеливо. Им не в первой. Я думал: «Вот оно. Иные через повешение. Другие от старости. А я, стало быть, через туман».

Почему я на родине все время о смерти думаю? Да, толстый, холестерин, неврастеник. Трус. Но тут другое. Глубоко совковое. Не верит раб, что он свободен. Как животное, которое на волю отпускают. Клетка открыта, а зверь, сидит, бедный, сжавшись в комок, в грязном углу, трясется. Думает — побегу, тут-то меня и пристрелят. Охотники. Наблюдатели вечные. Они.

Ты уехал, стал гражданином свободной европейской страны. Горд как страус. Иностранец! Мечта идиота. А в душе — ты до сих пор не веришь, что родина тебя на свободу отпустила. Трепещешь и мести ждешь. Вот она месть — туман. Не отпустит тебя Москва. И не рыпайся. А не туман, так самолет. Поломка, взрыв. Пилот неграмотный. Арабы-террористы. КГБ. Кроты. Шпионы. Или усталые, небрежные лодманы. Тухлая рыба. На худой конец — неосторожные курильщики в туалете.

Влезли, наконец, в наш аэробус. Пилот объявил, что задержка произошла не по его вине.

— Нам не давали сесть. Заставили зачем-то кружиться над Москвой.

Я успокоился. Пронесло на этот раз. Достал из сумки серебристую коробочку Шанели. Полюбоваться. Представил себе, как вручу её дочке. Любовался-любовался, но что-то мешало, а что — сам не знал.

Тупой. Догадался. На коробочке было написано «Лосьон употреблять после бритья... для сухой мужской кожи».



## ВЕЧЕР ЛИТВИНЕНКО

Мама поучала меня:

— Ничего никому не обещаай. И вообще, засунь язык в задницу!

Я всю жизнь нарушал эти мудрые правила. Меня ловили на слове, позорили. Вот и сейчас — черт меня дернул обещать Б., что напишу про фильм и презентацию книги о Литвиненко на проходящем в Берлине «Международном Литературном Фестивале». И не просил он меня об этом, сам напросился... А теперь, не знаю, что писать, как писать. Книгу я не читал, только авторов видел. Никакой информации, одни эмоции. Распласталась белая страница на мониторе, как простыня. И нет на ней даже пятнышка, зацепочки, чтобы прицепиться и буковками простынку прострочить.

Тишина. Только комп вентиляторами шуршит. Работает. Он работает, вентиляторами шуршит, а я... А мы... Мы живем еще. Дышим. А Литвиненко — мертвый. И Политковская. И Щекочихин. И Старовойтова. И многие, многие другие. Все, кто хотел правду сказать. О путинской педофилии, о взрывах в Москве и рязанских учениях, о наворованных чекистами миллиардах, о Чечне, Курске, Нордосте и Беслане.

Началось это с подлого убийства отца Александра Меня в сентябре 90-го. Что-то в этом преступлении было особенное. Послышалась в нем загадочная нота нового времени. Фальшивая нота... Даже не нота, а скрип, хруст. Россия рачерчивала костями подданных новый круг смерти. Решил тогда — пора, пора сматывать. Не хочу больше вариться в этом протухшем бульоне. Не хочу быть палачом, предателем или узником. Стану лучше немцем.

...

Приснился мне в ночь перед фестивальным вечером сон. Будто еду я по аэродрому. По взлетной полосе. Ночью. Полоса во все стороны разбежалась. Может, всю Зем-

лю покрыла. Дождь в воздухе висит. Лужи. Еду я или мой задрипанный лирический герой или двойник или хреного-знает-кто почему-то в открытом джипе. В американском. Времен войны. В компании каких-то гнусных темных типов. Кто такие? Демоны? Нет, скорее гэбисты. Куда едем? Зачем? Гэбисты поют сиплыми голосами — мы едем, едем, едем, в далекие края, хорошие соседи и добрые друзья...

А мой паршивый альтер эго им подпевает.

Шутки в сторону! Я пленник и везут меня к самолету, чтобы с Родины выслать. С какой такой Родины? С той самой. А я хоть и пою, но трясусь как кролик. Неужели посадят в самолет?

Самолетов вокруг — яблоку негде упасть. Все с пропеллерами. Размером самолеты с пятитонку. Не больше. Детские как бы. И сделаны из толстой резины. Колеблются противно так... Дырки в них рваные. Из дырок марсиане смотрят. Светятся в темноте их красные глаза. Приглашают, тихо. Иди к нам! Мы тебе коржик подарим, с тыквой и яблоками, объединение!

Подъезжаем к какому-то самолету. Никак «Геркулес». Только маленький. Тоже из резины. Вылезаем из джипа. Подался я было к самолету. Остановили гэбисты. Встали вокруг меня кругом. За руки взялись и прыгать начали. Вместе. И запели медленно и тяжело — прыг-скок, прыг-скок, баба села на горох... Попробовал из круга выдраться. Отпихнули грубо. Один просипел мне — прыгай! И я начал с ними прыгать.

Попрыгали, перестали. Всучили мне большой сверток, сели в джип и уехали. А я со свертком в резиновый «Геркулес» полез. Входа не было. Только какой-то лаз в хвосте. Карбалкался, карбалкался... Сверток впереди себя толкал. Занял место на откидном сиденье, у не застеклённого окна. Сверток на колени положил.

Марсиане дали мне коржик. С тыквой и яблоками. И вот, жую я коржик, вкусно, но тянет меня посмотреть, что там, в свертке. В окошко поглядел — вокруг нас полоса пустая. Только джип стоит недалеко. Все гэбисты из него вы-

лезли, курят, посмеиваются и в мою сторону поплевывают. Ждут чего-то. Не удержался, развернул сверток, а там голова Литвиненко. Живая. И говорит мне голова:

— Я — бомба, бомба, бросай меня скорее...

Мне муторно, страшно. Кидаю голову в сторону джиба. Прямо через иллюминатор. И вижу, как она катится по асфальту, касается заднего колеса машины и взрывается. Огромный огненный шар на вытянутой ножке висит над полосой...

...

Зашел перед отходом в интернет, на «Грани», новости проглядел. Вот тебе и на! Правительство в отставке. Испуганный диабетчик Фрадков, лизнув напоследок плоскую задницу президента, ушел. И все правительство с ним. Ушел, но остался. В ожидании смены. Которая не замедлила появиться. И какая достойная смена! Бывший главный осеменитель свиносовхоза «Питерское раздолье», первый секретарь Мухосранского Горкома КПСС, товарищ Зубков. Кремлевская кликуха — Совхознавоз. Старенький. Стало быть, поправит полгода, закашляет, заскулит, на пенсию попросится. Уйдет. И осиротеет Русь. Все заплачут. Как на Девичьем поле плакали... Тут раздадутся призывы, вначале робкие, а потом крещендо, где Вий? Позовите Вия! И он придет. Вылезет из лубянского подземелья, весь обросший иностранными денежными знаками, с железными дзержинскими веками на бесцветных глазках.

А интеллигенты всполошились, взъерошились. Поздно, котятки, царапаться. Прозевали вы свое времечко. Теперь тягомотина доооолго тянуться будет. Пока сяс-мяо не придет. И забеременеет кузнечик. И заалеет восток.

...

По дороге на фестиваль прошли мы с подругой по Фазаненштрассе. Шик, блеск, красота. Зашли в галереи. Объясните мне, всезнайки, почему дома, фасады, машины — шик, блеск, красота, а искусство в светлых, просторных галереях — гадость, ложь, подлое повторение давно, еще в шестидесятых годах, прожёванного материала. Упражнение в цинизме. Удальство мертвых душ. Что стало с искусством? Почему ху-

дожники потеряли уважение к форме, к глубине, к поверхности. Ко времени, которое скукожили, к пространству, которое сжали до мнимости. Нет больше ни мастеров, ни учеников, ни умения, ни соревнования. Кого захотели невежигалеристы сделать гением, тот и гений. А если у тебя нет денег — извини, подвинься, никому твое мнение не интересно. Помню, кормила сестра морскую свинку и черепаху свежей белой капусткой. Так свинка все время толстым задом маленькую черепашку от капусты отгесняла. Вот так и в современном искусстве — отгеснили денежные мешки настоящих мастеров от денег, галерей, выкинули из времени и пространства и жрут, чавкая, свою черную капусту сами. А зритель на — новое искусство и смотреть не хочет.

...

Перед кино вспоминал картинки новостей прошлого года. Литвиненко на смертном одре. Желтое измученное лицо. Глаза уже туда смотрят. Отравили полонием. Был такой придворный негодай. Дочку-красавицу как приманку использовал. За занавеской подслушивал, сволочь.

Один грамм полония убивает миллион лошадей. А что делать, если его на твоей родине тонны? Одни полонии да розенкранцы. А лошадей больше нет. Что делать, если сам воздух твоей страны пропитан ядом раболепия и презрения к бескрылым курочкам? Ты его в легкие. А он их травит, превращает в дрожащие гнойные жабры. Вот и стали люди ершами.

...

Маленький зал в пристройке. Публика культурная. Интеллигентные женщины, страдающие мировой скорбью. Выражение лиц — знаем, слышали, понимаем и вашего, как его, Пушкиногоголя читали. Архипелаг Кулак. И фильм видели. Роль Маргариты исполняла Мадонна. Небесно!

Кроме женщин — несколько косолапых волков, сотрудников российского посольства. От этих особенным холодом веет и бесконечной наглостью. Почему Запад разрешает толочься тут всему этому сброду? Ссаными тряпками гнать нечисть назад, на Лубянку, в их гноехранилище, в волчье гнездо... Эмигранты, те хоть какое-то почтение имеют. К стране, к культуре. А эти.

Появился режиссер Андрей Некрасов. Высокий, в кудрях. Русский Д'Артаньян. Показали фильм. К сожалению, по-английски. А я английский со школьных времен ненавижу. В каждом третьем кадре выныривал сам Д'Артаньян. Во всех ракурсах. Задумчивый. Озабоченный. Глубоко сочувствующий. Еще более глубоко сочувствующий. И еще немножко глубже...

Березовского снимали крупным планом. Неприятное лицо. Старческие пятна и пятнышки, морщины, отвислости, не лицо, а шагреневая кожа. Портрет Дориана Грея, тот, последний, ужасный...

Умный еврей, обаятельный. Но гордыни в нем... Океан. Вот, что деньжищи с человеком делают. А ведь на лице уже кладбище видно. И крестики и звездочки и надгробья. Ухмылочка, еще одна, и еще одна, покруче, легкое разочарование, жалоба, опять ухмылочка. Скользящий дядя.

Показывал Некрасов и несчастную Политковскую. Красивая, печальная женщина. Единственное, что я понял из ее английской речи — никому ее работа не нужна. Не хотят рукаси ничего знать про Чечню. Им так легче семечки лузгать. Казалось, она предчувствовала смерть. И, может быть, даже желала ее. Сколько можно орать в пустоту. Показывать убитых детей. Вывать к милосердию, которого нет. Их же ни в чем не убедишь, они давно уже перестали быть людьми, отупели. Воют только над своими. А на других им плевать. Зачем горло срывать? Они все равно не услышат. Будут и дальше тележвачку жевать, смоченную ядовитой путинской слюной.

...

Сидят напротив друг друга Некрасов и Литвиненко, тени фиолетовые на белый экран отбрасывают. Неудачная декорация.

То, что говорит Литвиненко, думающие люди моего поколения понимали шестнадцать лет отроду.

КГБ-ФСБ — организация государственных бандитов, в прошлом обслуживавшая партийных боссов, а теперь государственных начальников и всех, кто хорошо платит. Занимается слежкой, шпионажем, вымогательством, шантажом.

Контролирует финансовые потоки и ресурсы, крышует экспорт в Европу наркоты... Опасность для всего человечества.

От его откровений разило наивностью неофита. Догадался. Хорошенько им послужив. Поработав в Чечне... Сколько же тебе понадобилось времени, дорогой Саша, чтобы понять очевидное.

Фильм закончился. Поаплодировали Некрасову. Заслуженно, хотя фильм был серый. Задали несколько общих вопросов. На которые Некрасов также обще отвечал.

Моя подруга, английским владеющая еще хуже меня, спросила шёпотом — зачем Литвиненко отравил Березовского? Неужели для того, чтобы сделать приятное Путину на его день рождения? И что там была за женщина, вроде бы полячка? Правильно, ответил я — это полячка, Марина Миншк.

...

После небольшой паузы приступили ко второй части.

На сцене установили стол. Вначале чтец читал книгу по-немецки. Минут сорок. Я задремал. Затем миловидная вдова отвечала на вопросы. Ясно, четко, эмоционально. Формулировки ее речи были явно отточены многократным повторением. Марина Литвиненко борется за честь и достоинство мужа. В конце выступления она заявила:

— Если когда-нибудь в России захотят узнать правду о том, каким был Саша, я поеду, я расскажу...

В том то и беда, что они знают, каким он был, за это и казнили.

...

После вдовы выступал господин Гольдфарб, похожий на уменьшенную в значении копию своего патрона Березовского. То же лицо. Те же гримасы, ухмылки, переходы от легкого презрения к доверительному тону, затем к иронии и завуалированному усталому хвастовству.

Господин Березовский решил, что поддерживать оппозицию в России это выбрасывать деньги на ветер... Через меня прошли десятки миллионов долларов... Надо доказать западным странам необходимость скоординированного давления на Россию... Как Рейган на СССР.

Все вроде правильно. Но почему неприятно его слушать? Говорил Гольдфарб умно, тонко, политично. Но ничего нового не сказал. Почти в каждом его тоне слышалось зевающее высокомерие богатого, хорошо устроившегося иудея. Капризная брезгливость интеллектуала. Рискуя навлечь на себя гнев сверхчувствительного читателя, заявляю — этот обаятельный гонор — главная причина ненависти к евреям во все времена. Не их деньги, не их талант, даже не мнимая богоизбранность. Масляная вкрадчивость. Трупный яд приветливости вечного жида.

А не наплевать ли тебе, дружок, на бывшего гэбэшника и его семью? По-немецки звучит твоя книжка как-то плоско, пресно. И сварганил ты ее удивительно быстро. Спринтер.

...

По дороге домой говорил сам с собой.

Ну вот, посетил ты эту презентацию, посмотрел фильм. Прояснилось что-нибудь в башке? Нет. Кто убил Литвиненко? Какой-нибудь гэбэшный генерал, на которого Литвиненко, отличавшийся хорошей памятью, компроматик завел. Или крупный чиновник. Начальник. Путинский банщик. Или резидент в Англии. А может и сам Путин. Не важно, кто приказывал, кто выполнял. Его убила Родина-Мать. Это главное. Послала этим сигнал. Не только Березовскому, всем нам, эмигрантам, всему русскому Зарубежью. Сидите тихо, или всех траванем. Будете корчиться, бляди! А нынешние ваши хозяева нам слова не скажут.

Мы этот сигнал поняли. Другого и не ожидали. Все в порядке. Мир таков, каков он только и может быть.

В киоске у вокзала мы купили два вегетарианских дёнера с козьим сыром. Дома пили чай с медком.

Утром, за кофе, я спросил свою немку — что тебе из вчерашнего больше всего запомнилось? Она ответила — элегантные туфли господина Гольдблюма. Тебе такие не по карману...

## ПЕРЕПРЫГНУЛ

В январе 2016 я перепрыгнул через 60. Лет. С моим весом это нелегко.

60 — голубое число, было для советских тружеников мужского пола одним из сакральных чисел, гораздо более важным, чем фундаментальные математические константы  $\pi$  и  $e$ .

Потому что в шестьдесят лет мужчины выходили на заслуженную пенсию. Чаще всего — в первый же день после дня рождения. За неделю до которого происходили торжественные проводы. Со слезами, награждениями, водкой и мордобоем. А если пенсионеры работали дальше, то для всех других они становились стариками, ветеранами, отработанным материалом.

Если статистика не врет, до пенсии доживали в СССР (и доживают сейчас, в путинской России) только семь мужчин из десяти, к шестидесяти пяти их оставалось четыре с половиной, а до семидесяти доживали только полтора человека. Могикане!

80 — число огненное. Обозначенная Всевышним граница жизни. Восемидесятилетние мужчины встречались в СССР редко, они считались долгожителями. Это были динозавры. Пережитки прошлого. Рамолики и отжившие свой век развалины. Вечно больные, ворчливые, придирчивые... полуслепые, тугоухие, пованивающие, корчащиеся в больницах и домах для престарелых или сидящие на шеях постаревших детей, дожидаящихся их смерти. И отравляющие все вокруг себя гноем старости. Были, конечно, и исключения. Например, мой родственник Алексей Борисович Певзнер, знаток конструктивизма, доцент по специальности «металловедение» и ярый антисоветчик, вышел на пенсию в шестьдесят лет и сказал:

— «Ну теперь заплатят мне большевички. Я буду жить долго!»



И действительно, прожил еще 27 лет, и умер, здоровый как огурчик, во сне, гостя у шестидесятилетней дочери в Будапеште. В Будапеште дядя Лёля (так звали его дома) случайно гостил и в 1956 году и видел... все видел... И часто говорил: «Я-то знаю, что надо сделать со всеми брежневскими-суловыми и их опричниками с Лубянки — на фонарных столбах повесить кверху жопами. Я это видел у венгров! Только разве от русских советчиков дождешься чего хорошего? Крысы и нелюди».

90 — число ледяное. Тут и комментарий бесполезен. Не только люди и их дела, но и память о них, и сами слова замерзают, не выдержав оцепенения небытия.

А 100 — это уже не число, а нечто юбилейно-статистическое.

В будущем году будет столетие ВОСР. Помните еще, что это такое? Столетие крошечного ужаса и торжествующей подлости. В которое давно пора воткнуть осиновый кол, а вместо этого запутинцы-крымнаши кормят проклятую гадину своей и чужой кровью... пытаются оживить смердящий труп СССР.

...

Шестидесятилетие притягивало и пугало. Многие надеялись на то, что, вот, мол, выйду на пенсию, и тогда отдохну, порыбачу, займусь наконец садом... лечением... воспитанием внуков... почитаю вволю... поиграю на трубе... посмотрю мир... напишу роман... выучу японский... посету семью умершего брата в Ленинграде... разведусь...

Но почти ни у кого из этих «пенсионных мечтателей» не получалось ничего. Хорошо еще, если они не умирали в сорок или пятьдесят, а через пять лет после выхода на пенсию не ходили под себя.

А сколько было страхов! Океан ужаса. Уволят и стаж, стаж, понимаете, стаж прервется! Да что вы, не дай бог!!! Характеристику испортят — понизят зарплату, пенсия будет пятьдесят рублей. Не дадут персональную пенсию, а я всю жизнь на них ишачил!

Сколько из-за будущей пенсии, маячившей сладкой розовой полосой на свинцовом небосводе трудящегося совка, происходило инфарктов, инсультов и опоясывающих лиша-

ев... Какой черной завистью пылали люди к тем, кто получит пенсию большую, чем они. Высчитывали бесконечно, проценты... Жили не сегодняшним днем, а будущим, которое никогда не наступало... Как портили себе и другим нервы... каждый день, каждый день. Какие интриги устраивали... подсиживания, коллективную травлю, увольнения по сокращению штатов, проверки, персональные дела.

А после выхода на пенсию вдруг понимали, что вся чехарда, весь цирк не только не стоил свеч, но и растоптал их свободу, сожрал их молодость, их жизнь и здоровье. Что все их диссертации, выступления, открытия... еще при их жизни разворованы или втоптаны в грязь, а сами они забыты или вычеркнуты из истории. Что ВСЕ, все их амбиции, бесконечные труды и хлопоты, надежды и свершения, подлости и самопожертвования... все было, с самого начала, как сказано в Книге Книг, только «суеюй сует».

Старики умирают и приходят новые поколения белок и хомяков, которые влезают в те же колеса, и крутят, крутят их и бегут, бегут, задыхаясь, из последних сил перебирая лапками... бегут всю жизнь к пенсии... бегут, бегут, часто до самой смерти, теряя все дорогое и важное, не щадя никого... и приобретая только хвори.

Вот и я пробежал свои шестьдесят.

Нет, прошел пешком, с любопытством поглядывая по сторонам, останавливаясь и подолгу созерцая картинки и ландшафты, слушая музыку сфер и обходя многолюдные толпы и коллективные кормушки, пропуская орды бегунов вперед.

Бегите, бегите... достигайте, добивайтесь, хапайте, жрите. А я... потихоньку пойду. Куда спешить? На лужок да под дубок.

...

Мне часто снятся «сны прогульщика».

Может быть потому, что часто прогуливал школу, и в университет наведывался редко, и с работы уходил в час. А чего там торчать? В мертвом доме. И в Германии, вместо того, чтобы зарабатывать на пенсию, на акции, на мерседес, на домик с садиком и радикулитом, на мебель, ковры, путешествия, электронику и молодых сочных сучек, бил до остервенения баклуши...

«Сон прогульщика» начинается обычно с того, что я куда-то иду, или еду на поезде или автобусе, или даже лечу на самолете. Поезд, автобус, самолет, конечно, не похожи на реальные транспортные средства. Это что-то большое, деревянное, неуклюжее, трясущееся, угрожающее, люди там сидят на полу или на потолке, поют хором какую-нибудь заунывную песню и вяжут из пестрой шерсти свитера... или бумажки рвут.

Люди? Нет, в моих снах никаких людей нет, есть заполненные чем-то человекоподобные фигуры, что-то вроде манекенов, только не из пластика или из дерева, а из темноты, капелек пота, скорлупок чувств, глины воспоминаний.

Мы проезжаем или пролетаем «моря», «долины», «горы»...

Все это разумеется тоже не настоящее во сне. А как будто халатно слеplенное из папье-маше полоумным орнитологом-любителем. И в субстанцию ландшафтов щедро вкраплены мои ощущения, представления, ошибки и страхи, которые постоянно меняют формы этих «морей», «долин» и «гор».

Подсвечивают и подлаживают.

Тянут и разрывают.

Надстраивают и сносят.

Приехали, прилетели, вышли из автобуса, поезда, самолета, и я тороплюсь, тороплюсь в «школу».

Школа во сне — тоже не имеет ничего общего с школами, в которых я когда-то учился. Это не здание, а сложная многоэтажная конструкция, слеplенная из опавших листьев, внешнего вида вовсе не имеющая, а изнутри напоминающая архитектурные фантазии Пиранези, из цикла «Темницы». Особенно ту гравюру, в которой видны готические арки. Единственное, что отличает мою «школу» от темницы с готическими арками Пиранези — это наличие в школе длинных полутемных «залов» или пустот, таящих всевозможные неожиданности и ловушки. С потолков там свисают веревки. Канаты, лески с крючками, шнуры, петли.

Я, заключенный этого мрачного пространства, стою в одном из таких залов... жду...

Наконец откуда-то приходят другие школьники... «одноклассники». Это не дети, а крупные, больше меня, составленные из больших темно-серых кубиков, фигуры. На гранях кубиков — возникающие и исчезающие записи, рожицы и тещины языки. «Одноклассники» — в группе. Они сговорились. А я один. Они прилежно учились в «школе». Посещали занятия. Они — знают материал. А я не знаю ничего. Даже то, как зовут учительницу. Меня не было. Я прогулял. Отсутствовал. Я не знаю, как расколоть эти головоломки. Не знаю, как правильно собрать кубик-рубик. Не умею брать интегралы по частям. Забыл чему равняется синус трех икс. И как построить трапецию с помощью жопы и пальца.

Сейчас будет контрольная. Я провалюсь. Меня выгонят из школы. Не дадут аттестата. Я не смогу поступить в университет. Меня заберут в армию. Покалечат. Я не получу пенсию. Проживу жизнь больным и бездомным, роюсь в отбросах.

Ужас! Ужас!

Приходит учительница. Она — манекен, составленный из пирамид лжи и притворства. И еще — она лисица. Стережет лисят. Теревит их за ушки. В руках у нее книги — это задания контрольной. Она их раздает ученикам... пританцовывает и напевает песенку про отличников. Дает и мне. Я открываю эту страшную книгу. Из нее съяты на темный щербатый пол формулы, слова, числа, фразы, аб-зацы — как крупные перфорированные чешуйки черной рыбы...

Учительница повернула свое лицо-пирамиду ко мне... уставилась, лисья морда!

Все смотрят на меня. Злорадствуют... Ждут, что я закричу как павиан.

Я слышу смешки и насмешливые реплики.

Боже, как же я выкручусь? Что же мне делать?

Погибать, погибать...

...

И тут, когда я уже ломаю пальцы от отчаяния, ко мне как маленький светящийся шарик летит через весь этот ужас — мысль. Мысль и уверенность. И начинается метаморфоза. Преображение. Я теряю страх и гордо встаю в позу атланта. Я держу небеса и звеню, как колокол. И говорю —

гордо, громко, без запинки, ведь силы и память уже возвратились ко мне — я закончил вашу задрипанную школу и получил ваш аттестат, поступил в МГУ и закончил его. Я работал на вас десять лет, а потом уехал от вас. Навсегда. Мне не надо писать вашу контрольную. Я сдал все экзамены. Мне шестьдесят лет.

Фигуры моих одноклассников и учительницы съеживаются, падают, исчезают... исчезает и ужасная школа и сквозь полузакрытые веки я начинаю различать окна и жалюзи нашей берлинской спальни. Пора варить кофе...

Сон этот повторяется часто. Только вместо школы появляется университет или институт, а вместо одноклассников — кафедра и коллеги.

...

Эмиграция моя была, увы, не триумфальным шествием атланта или молодого Зигфрида, а отступлением, побегом. В Германии я не попал в капиталистический рай, а был насильно помещен на территорию бывшей ГДР и проведен там сквозь строй всяческих унижений.

Первый год эмиграции я был бездомным, жил в лагере-общежитии в городке Глаухау, потом в другом лагере, в Мееране, затем в чужой квартире в Дрездене и только в августе следующего года снял квартиру в городе К., грязную, холодную конуру с печным отоплением. Но возвращаться в Москву, в мою теплую кооперативную квартиру, полную любимых книг и картин, я не хотел. Ни за какие коврижки. Уехал, значит уехал. Баста.

Возможно, эта моя временная немецкая «бездомность», наглость и злоба немецких чиновников, с которыми пришлось иметь дело, и потеря московской квартиры и породили второй сон, который приходит ко мне регулярно, раз в две-три недели.

Это «сон бездомного эмигранта».

Начинается он хорошо. Я еду себе в берлинском с-бане.

Разумеется, и Берлин и с-бан в моем сне не похожи на реальный город и на городскую электричку. Вагон с-бана смахивает на вагон московского метро времен моего детства, а Берлин похож на все большие города, в которых мне довелось побывать — Нью-Йорк, Париж, Рим...

Въезжаем мы в какой-то туннель и долго-долго по нему тащимся. Внезапно отваливается крыша вагона, и вагон едет без крыши... беззвучно отваливаются... пропадают... и стены... и вот, я еду уже не в вагоне, а на платформе с сидениями... никого кроме меня, на платформе нет... и платформа с страшным скрежетом падает в колодец с вертикальными рельсами. Скользит вниз.

Выныриваю на улице какого-то города. Знаю, это — Москва. Хотя город этот на Москву и не похож. Скорее, это город К., почти все дома в нем — трехэтажные, такие, какие строили в Германии в двадцатых годах. Кирпичные, с маленькими окнами и покатыми крышами... с легким привкусом Баухауза и с элементами неизжитого еще Югенд-стиля...

И тут, тоже стены и крыши домов, асфальт, фонари, автомобили, трамваи — не предметы, а испарения, миражи... морок. Отвердевшее, но постоянно ускользающее, не поддающееся анализу подсознание... недонесок разума. Или над-сознание... предчувствие... предвидение... нечто из будущего. Может, и не моего.

...

Ты идешь по улице этой «Москвы», а она тебя не держит... и ты проваливаешься сквозь картонный асфальт в ад...

Тыходишь в магазин, а там вместо людей — безглазые манекены, отражения, куклы, пародии.

И в этом безумном городе, в этом вывернутом наизнанку мире, ты, повинувшись ур-инстинкту, начинаешь искать твой дом. Твой потерянный дом.

Ищешь метро, чтобы проехать в нем в «Ясенево» или к «Метро Университет». Опускаешься вместе с толпой зомби в шахту и замечаешь, что поезда этого метро, похожие на составленные вместе вагончики американских гор, ездят только вниз и вверх... делают под землей мертвую петлю.

А если ты находишь свой старый дом с башенками, то видишь — рядом с домом течет река, широкая, полноводная... только вместо воды в ней — миллиарды скомканых, грязных бумажек... это документы... заявления... запросы... паспорта... визы... а настоящая река, из воды, течет теперь через твою квартиру... и ты знаешь, что она уже унесла в небытие твои книги, твою жизнь.

И вот... нет ни прошлого, ни будущего, нет родных и друзей, есть только этот страшный город, эта потусторонняя «Москва», а ты — никому не нужный бездомный...

И ты бежишь и бежишь, и ищешь свой дом, которого больше нет. А если ты случайно находишь его... и падаешь в изнеможении на пол... и раскрываешь любимые книги и обнимаешь любимую... Не проходит и пяти минут, как какие-то неизвестные люди входят в квартиру... их стертые лица трясутся от злобы, их руки хватают все, что попадется, и бросают на пол, который превращается в зияющую пропасть, их страшные пасти раскрыты и они орут, как мартовские коты, высунув длинные раздвоенные языки.

Один раз во сне я решил покинуть «Москву»... и долго-долго бегал по ее пустым гулким улицам... переплывал реки и каналы... перепрыгивал пропасти, влезал по фасадам на редкие высокие здания (входы в них были замурованы), чтобы увидеть, где же начинается окраина, где окружная дорога. Но у потусторонней «Москвы» нет окраин, нет окружной дороги, нет границы... однажды попав в нее, будешь метаться по ней все оставшееся тебе на Земле время.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЭМИГРАЦИИ

(из интервью)

Решение об отъезде из СССР, принятое мной в феврале 1990 года, не было мимолетным капризом, оно было реакцией на страшные удары и бесконечные маленькие гнусности, которыми наша советская Родина щедро одаривала и меня и других своих граждан.

Первым таким ударом, в буквальном смысле перебившем мне и многим другим молодым людям дыхание, был разгон летом 1971 года знаменитой московской «математической, с литературным уклоном», Второй школы, в которой я тогда учился, закончил как раз восьмой класс. Об этой школе, точнее — об этом острове свободы в советском океане лжи и подлости — написаны бесчисленные воспоминания выпускников и бывших учителей, разбросанных по всему свету, издано несколько книг. Поэтому я не буду распространяться, замечу только, что я никогда ни до своих неполных трех лет во Второй школе, ни после не встречал стольких умных, свободных, творческих людей как там. Мехмат МГУ, где я учился, казался после Второй школы — замшелым захолустьем. В институте, в котором я после мехмата десять лет сидел, работали конечно умные люди, талантливые, остро думающие ученые, но затхлая атмосфера госучреждения и страх за собственную судьбу и карьеру заставляли их забиваться в норы, превращали их в подобострастных совков, рабов начальства и государства, проповедников злобного советского обскурантизма. В Германии я познакомился с различными людьми. Встречались среди них и таланты и умницы, но второшкольники мне были роднее и ближе... Может быть потому, что среди них преобладали интеллигентные евреи, полуевреи или люди, находящиеся в родственных или дружеских связях с евреями, а в Германии таких людей по известным причинам нет.



В Москве-Ленинграде конца шестидесятых, начала семидесятых существовал неформальный еврейский культурный круг. Что-то вроде живого интернета. В этот круг входили не только евреи и ивановы-по-матери, но и тысячи их друзей и знакомых. Этот круг был хранилищем и распространителем знаний и культуры. Он вбирал в себя все хорошее, что тогда создавалось, писалось, снималось и щедро делился этим со своими людьми. На симфоническом концерте в консерватории, на показе фильмов Феллини в «Иллюзионе», на встрече с Роланом Быковым или Тарковским, на защите докторской диссертации по математике или лингвистике — везде присутствовали представители этого сообщества. Они же читали каждую заслуживающую внимания книгу, слушали иностранные «голоса», ходили на лучшие концерты, присутствовали на процессах против диссидентов — и вот уже по телефону или «по кухонным каналам» неслась проверенная и критически осознанная информация. Привлекалось внимание. Создавалось культурное пространство.

Одним из генераторов этого пространства и была Вторая школа. Она воспитывала самостоятельно думающих, умеющих учиться и читать тексты творческих людей, будущих ученых. Процент евреев-учеников и педагогов в ней был велик. За это ее и ненавидели советские начальники. Вначале в школу послали комиссию, потом сняли директора — Овчинникова и разогнали учителей. Ученики ушли сами.

Ушли мои любимые учителя. Наш класс опустел. Ушла и девочка, в которую я был влюблен. Мне больше ходить в школу не хотелось. Вместо того, чтобы идти на уроки, я с моим другом Женькой ехал в кинотеатр «Иллюзион» и смотрел там американские комедии тридцатых годов. После кино мы гуляли по тогда еще пустой Москве, ели мороженое и болтали... Расставшись с Женей у Октябрьской площади, я уходил бродить по переулкам Замоскворечья или ехал на Арбат, в Дом Книги, или заходил в Пушкинский музей.

Тогда, во время этих одиноких прогулок по Москве и по музейным залам я впервые ощутил странное блаженное чувство отторгнутости от «правильной» жизни, от коллектива, от общества, от моей безумной страны, безнадежно отравленной советчиной.

Это и было началом эмиграции. Вначале — внутренней, а после переросшей в настоящую.

К сожалению, этим первым ударом дело не ограничилось. После него последовали и другие. Один другого тяжелее.

Почти сразу после моего окончания МГУ началась Афганская война, закончившаяся незадолго до моего отъезда из страны. Бессмысленная эта бойня, учиненная моим народом в чужой стране висела как свинцовая гиля позора на каждом из нас. Состоялась Олимпиада 80. КГБ разгромил диссидентское движение. Началось очередное закручивание гаек во всех сферах жизни, так называемая брежневская стагнация. Показательная ссылка академика Сахарова и его жены в Горький и издевательства над ними воспринимались нами как личная трагедия. Сахарова насильственно кормили, а боль в горле от трубки испытывали мы все.

И без того спертая атмосфера в обществе еще спустилась во время правления Андропова.

Вместе с Черненко гнила и умирала огромная страна.

Грнул Чернобыль. Утонул Нахимов. Горбачев попытался оживить труп — перестройкой, а когда не вышло — попробовал было грубой силой скрепить разваливающийся СССР. В 90-м году стало ясно, что мы все стоим на краю пропасти. В магазинах пропали те немногие продукты, которые еще там были. Социальная духота предвещала бурю. Пора было уезжать.

...

Я приехал в Дрезден в конце сентября 1990 года по туристическому приглашению. Виза была мне открыта на две недели. После посещения Западного Берлина я твердо решил никогда не возвращаться на родину. О том, что в Германии можно остаться по «еврейской линии», я и понятия не имел.

Я, конечно, мог пойти в полицию и попросить на общих основаниях политического убежища. Чутье однако подсказывало мне — не ходи, ничего хорошего из этого не выйдет.

Был и другой путь — поехать во франкфуртский аэропорт, найти там каких-нибудь представителей израильского Сахнута, и заявить им, что хочу в Израиль. Они бы, полагаю,

тут же меня отправили в Землю Обетованную. От этого шага меня удержали страхи. Не смейтесь, пожалуйста! Я боялся жары и языка иврит. Не хотел быть пушечным мясом. Как еврей по отцу я справедливо полагал, что стопроцентные айды мне об этой моей половинчатости не раз злорадно напомнят. Да еще и арабы вокруг, и армейская служба. И жара, жара, жара... Надо было остаться в милой цивилизованной Европе, только как?

Помог, как всегда, случай. Гулял я по еврейскому кладбищу в Дрездене. Ни на что уже не надеялся. И вот, подходит ко мне маленькая такая старушка, смотрит в мою мрачную харю своими молодыми голубыми глазами, улыбается и говорит мне по-английски:

— Вы еврей из СССР?

— Да.

— Почему вы такой мрачный, что-нибудь случилось?

— Не хочу возвращаться домой.

— Поезжайте в Израиль, там здорово. Представляете, даже водопроводчики и таксисты там евреи!

— Это конечно обнадеживает, но там жарко. Я хочу жить тут, в Германии.

— Понимаю. Тогда вам надо поехать в Берлин и найти еврейскую общину на Ораниенбургерштрассе. Там вам помогут остаться. Спешите, дверка может и захлопнуться.

Я как мог, на плохом английском, поблагодарил мою спасительницу и на следующий же день на последние деньги отправился со своим маленьким рюкзачком в Берлин. Нашел общину. Там со мной говорила какая-то циничная тетка из наших. Тетка была по-видимому давно и хорошо в Германии устроена, поэтому на меня она смотрела не без отвращения, особенно ее возмущали моя засаленная анапская матросская фуражка с золотой кокардой в виде краба, подаренная мне две недели назад одним симпатичным рыбаком, и мои, анапские же, коричневые сандалии (сандалии и меня самого приводили в ужас, и не только сандалии, но и зеленоватая курточка с вышитой на рукаве надписью «Мосэнерго» и жёваные брюки и застиранная белая майка, но денег на покупку новой обуви и одежды у меня не было), но дело свое сделала, написала мне адрес на листочке и сказала:

— Идите сейчас же туда, там с двух часов таких как вы принимает фрау Шмидт, она поговорит с вами и решит вашу судьбу.

Я поспешил по указанному адресу. Длинное казенное здание находилось где-то за улицей Унтер-ден-Линден. Я поднялся на второй этаж и попал в пустынный коридор, залитый светом. Нашел указанную мне комнату. Постучал. Вошел. И тут же мне захотелось уйти, пропасть, испариться.

В огромной пустой зале стоял стол, за ним сидели двое: импозантная женщина в светлой вязаной кофточке и мужчина в черном. Перед столом стоял стул — на него меня жестами пригласили сесть. А вокруг стола стояли люди с камерами и прожекторами. Много людей. Человек тридцать. Как мне потом сообщили, это были телевизионщики, которым дали задание — показать типичного еврейского беженца из СССР.

Что делать? Ко всему этому я подготовлен не был. Никаких интервью с роду не давал. Людей с камерами побаивался. Какой-то чёрт в голове шепнул мне доверительно: «Да наплюй на все! Вся твоя жизнь — дурацкая комедия. Плыви по течению и наслаждайся представлением. Изменить ты все равно ничего не можешь».

Я послушался чёрта и сел на стул перед столом. На меня смотрело много незнакомых людей (мне казалось — вся Германия), в лицо светили яркие, шипящие как змеи, лампы, я был оглушен, смущен, фуражку с крабом положил на колени.

Говорила со мной женщина — фрау профессор Шмидт. По-русски. Мужчине она мои слова переводила шепотом почему-то на английский. Как-то чувствовалось, что главный тут — именно он, этот черный человек. Хотя фрау Шмидт много лет преподавала русский язык в ...ом университете, говорила она неважно, а понимала и того хуже. Но была доброжелательной и спокойной. Говорили мы минут сорок.

Беседа наша записывалась телевизионщиками. Через две недели, когда я уже жил в лагере Глаухау, мое интервью показали по ZDF. Мои солагерники хмыкали. А я сторал со стыда.

Вначале профессорша внимательно изучила мое свидетельство о рождении и мой внутренний советский паспорт. Потом спросила торжественно:

— Господин Ш., почему вы хотите остаться жить в Германии?

Камеры и микрофоны впились в меня как скорпионы.

— Потому что в СССР евреи политически преследуются и дискриминируются государством, из-за бытового антисемитизма и страха погромов.

Все это было правдой и неправдой одновременно. Разумеется, евреи преследовались в СССР. Но только те, которые активно боролись за право выехать в Израиль. А я репатрироваться не хотел и с государством не боролся. Дискриминация евреев в СССР? Да, разумеется, была дискриминация. И это было отвратительно. Но моя семья от нее почти не пострадала. Мой папа-еврей окончил МГУ, защитил кандидатскую и работал в МГУ до своей смерти. Моя тетка еврейка закончила МГУ, защитила и кандидатскую, и докторскую, работала в НИИ при Академии наук. Мой дед-еврей работал главным инженером крупнейшей строительной фирмы. Моя бабушка-еврейка работала конструктором точных приборов в обсерватории. Моя мать, жена еврея, доктор геологических наук, работала в московском НИИ. Мой отчим-еврей, тоже доктор, работал в НИИ под Москвой. Я сам, полуеврей, закончил МГУ и работал там почти до отъезда. Многие мои коллеги по институту были евреями. Почти все — кандидаты и доктора.

Тут скорее стоило бы говорить не о дискриминации, а наоборот, о засилье...

Бытовой антисемитизм? Был конечно. Но где его нет?

Страх погромов — тогда действительно был.

Фрау Шмидт не унималась.

— Не могли бы вы привести примеры преследования и дискриминации. Если можно — на вашем примере.

Я растерялся. Не было примеров. Надлежало их однако срочно выдумать. Я начал с правды — рассказал, о том, что против моей фамилии в классном журнале кто-то все время писал — жид, затем о том, как меня дразнили маленькие хулиганы из соседней школы, как меня унижала учительница-

антисемитка — а закончил враньем. Рассказал о том, что партийные органы запретили мне заниматься живописью, потому что я еврей (на самом деле меня не приняли в «Московский Горком графиков», несмотря на то, что общее собрание постановило принять, а почему — до сих пор не знаю), не пустили в Болгарию за то, что я еврей (на самом деле пустили, хотя и муржили долго — только я заболел отитом и поехать не смог).

Кажется, я придумал что-то еще, еще кошмарнее, не хочу вспоминать...

Следующий удар был ниже пояса.

— Господин Ш., в вашем паспорте стоит «русский», и в вашем свидетельстве о рождении написано, что ваша мама — русская. Знаете ли вы, что, согласно Галахе, вы евреем не являетесь?

Начинается!

Я растерялся. Зловещее слово «Галаха» было мне незнакомо. Моя мама действительно была русской женщиной, хоть и с примесью турецкой крови, за что ее, впрочем, тоже дразнили жидовкой, родилась она в Верее и жила во время войны с бабушкой в Москве. В паспорте моем действительно стояло — «русский».

Я вздохнул и ответил смиренно:

— Я еврей только по отцу, потому и стоит «русский» в паспорте.

После этого я стыдливо потупился и изобразил на морде траур.

Фрау Шмидт и телевизионщики остались таким ответом и выражением моего лица очень довольны. Именно такими, изможденными, изнемогшими от преследований и дискриминации — и хотела видеть тогда Германия евреев из СССР.

Следующая группа вопросов была тоже нелегкой.

— Считаете ли вы себя верующим иудеем?

— Когда вы в последний раз были в синагоге?

— Читаете ли вы Тору на иврите?

— Соблюдаете ли еврейские традиции?

— Едите ли вы свинину?

— Говорите ли вы или ваши родственники на идиш?

— Обрезаны ли вы?

— Почему вы не хотите репатриироваться в Израиль, на вашу историческую родину?

Отвечая, я и стыдился, и внутренне хохотал, и просил прощения у Всевышнего. Седовласый старик в ночной рубашке укоризненно смотрел на меня со сверкающего облака и неодобрительно качал головой.

В конце собеседования фрау Шмидт пожала мне руку, черный человек кивнул, но руки не подал, мне вручили маленькую бумажку и билет на поезд в саксонский Глаухау. И сказали, чтобы я сейчас же туда ехал, потому что там организуется «лагерь» для таких же, как я, евреев из СССР, и я к нему приписан.

Я отправился в Глаухау.

Страшно хотелось есть и пить. Голова разболелась от яркого света. Ехать нужно было долго. Денег не было. Приехал. Огляделся. Маленький городок. Захолустье. Улицы плохо освещены. С трудом нашел общежитие студентов Технического университета Цвикау, в котором должен был находиться лагерь. Обратился с помощью жестов к вахтеру. Понемецки я не знал тогда ничего, кроме «Гитлер капут». Показал ему бумажку из Берлина. Он только развел руками, пожал плечами и показал на лавку. Я сел на нее и ждал, ждал, ждал.

...

Поздно вечером появился Вольфганг, переводчик, единственный смотритель лагеря. Он отвел меня в маленькую комнатку с окном, столиком, умывальником и двухэтажной кроватью. Сказал, что придет за мной завтра в восемь утра, и мы пойдем в полицию.

Я напился воды из-под крана и лег спать в нижней половине кровати. В соседней комнате часов до трех громко болтали студенты-арабы. Пахло неприятно, общежитием. Началась моя новая немецкая жизнь.

Побывал с Вольфгангом в полиции. Полицейские меня ни о чем не расспрашивали. Им было густо начхать на мои еврейские дела — их, как мне объяснил Вольфганг, интересовало только одно — не поддельные ли у меня документы. Они долго рассматривали мой паспорт и свидетельство о рождении в лупу и терли их какой-то дрянью. Потом унес-

ли в другую комнату для просвечивания особым аппаратом. В конце концов, документы мне вернули и вручили мне крохотную бумажку с печатью. Из содержания которой следовало, что я — беженец, принятый в рамках гуманитарных мероприятий согласно параграфу... и что мне разрешено три месяца жить в Глаухау и не разрешено Глаухау покидать.

С этой бумажкой мы с Вольфгангом направились в социаламт, где мне, после заполнения многостраничных анкет, выдали в кассе 400 (кажется) марок. Вольфганг тут же попросил меня заплатить за месяц проживания в общежитии какую-то небольшую сумму, вручил мне квитанцию и побуждал встречать следующих новоприезжих.

Я зашел в магазин и купил две булочки, мясной салат с майонезом, сухое молоко, пирожное «поцелуй негра» и банку растворимого кофе. У себя в комнатке я съел булочки и салат, и еда показалась мне небесно вкусной. Вскипятил воду в эмалированной кружке привезенным из Москвы маленьким спиральным кипятильником. Выпил кофе с молоком. Съел «поцелуй негра». Блаженство! Потом опять пошел в магазин. Купил себе дешевые часы, носки, трусы, джинсы, пару приличных ботинок, бежевую курточку и синюю шапочку с козырьком. Старое советское барахло тут же выкинул. Затем не удержался, пошел в книжный и купил на сто марок альбомы по искусству и словари. Начал листать альбомы, даже попытался перевести несколько страниц монографии о Климте. Господи, как интересно и хорошо!

Походил по городку, посмотрел на архитектуру, на немцев, на природу.

Изумила бедность. Развалины. Лица у аборигенов — как будто вырублены топором. Пожилые женщины — похожи на ведьм на иллюстрациях к детским сказкам. Интеллигентных лиц нет вообще. Красивых девушек не видно. В нижней части города — неработающие текстильные фабрики.

По ночам в Глаухау почему-то невыносимо воняло. Вода в речке была цвета помоев и тоже скверно пахла. Зато леса вокруг Глаухау были замечательные.



Я тогда и не знал, что под ними — урановая руда. Ее добывал комбинат «Висмут», которым командовали советские. Недалеко от Глаухау до сих пор возвышаются гигантские пирамиды порожней породы.

...

Приехали остальные жители нашего лагеря. Начались ежедневные шестичасовые занятия немецким языком. Занятия эти были нудными, тяжелыми — трудно взрослому учить чужой язык. Не запоминаются слова, сколько их ни повторяй. Говорили наши преподавательницы на саксонском диалекте. С каждым днем занятий наши ряды таяли. Немецким языком овладело только около четверти обитателей лагеря. В основном женщины.

За всю мою московскую жизнь я не видел таких неприятных евреев, каких повидал в «лагере для еврейских беженцев» в Глаухау и потом, в городе К., в котором был перевалочный пункт для контингентных беженцев («контингентный» означает только, что каждая земля Германии обязана была принять свой «контингент», свое количество таких беженцев). Невежественные грубые примитивные люди. Часто с криминальными замашками. Многие принципиально не платили в поездах. Некоторые подворовывали в окрестных магазинчиках. И бахвалились этим. Один еврей из Ленинграда, которого прозвали за его успехи в овладении немецким языком «Цвай нога», просверлил в монетке дырочку, продел в нее ниточку и бросал ее в телефонный аппарат. Аппарат монетку проглотить не мог и «Цвай нога» беззаботно болтал часами со своими неухавшими ленинградскими родственниками и описывал жизнь в Глаухау примерно так: «Глуховка — кошмар, но Германия — прелесть. Приезжайте скорее все сюда. Эти идиоты платят нам деньги ни за что. Мне вылечили все зубы и собираются делать протез. Я купил электрический утюг с паром».

После звонка он вытягивал монетку за ниточку обратно...

Долгие его переговоры заинтересовали телефонную компанию, его вычислили и поймали с поличным. Цвай нога рассказывал:

— Представляешь, беседую я себе с тетей Бертой. Убеждаю ее, что надо продать дачу и валить сюда. А она не хочет продавать дачу, она там с Сеней прожила сорок лет. У нее там райские кущи. Вот, говорю я, говорю, ну а в автомате моя монетка с ниточкой, понимаешь, автомат икает-икает, но монетку не берет. Ты ведь знаешь, я близорукий, вижу плохо без очков. На время разговора я очки снял, а потом надел, хотел тете Берте адрес продиктовать. И вижу я... Как в кошмаре... ко всем стеклам кабины с другой стороны какие-то люди носами прижались. Помнишь, в детстве, так делали... получается свинья, пятачок. И вот пять таких свиней смотрят на меня огромными глазами и лыбятся, лыбятся... Я чуть от страха не умер, а это были полицейские.

...

Моим соседом по комнате оказался интересный человек, Боря С.. Он на всё вокруг нас смотрел еще более изумленно, чем я. Он освободился из тюрьмы за несколько дней до отъезда в Германию. Он и Москву-то не узнал. Просидел пятнадцать лет за убийство. На мой бестактный вопрос, кого он убил, Боря ответил:

— Сдуру убили человека, неважно кого. При ограблении киоска.

— Боря, а ты проходил собеседование с фрау Шмидт?

— Да, мучила меня эта кикимора минут десять.

— Ну и что ты ей сказал, где ты был последние пятнадцать лет?

— Я сказал, что работал в угольных карьерах... га-га-га...

Боря получил в полиции такую же бумажку, как и я, сменил с моей помощью советские водительские права на немецкие и тут же уехал в Берлин. Он ни разу не ночевал в Глаухау. За это я его очень уважал.

Боря появился в Глаухау месяца через три для того, чтобы сняться с учета в полиции — его берлинские друзья уже обустроили его новую жизнь. Привез с собой целый чемодан различных мясных и рыбных деликатесов и бутылок восемь водки. Все это мы раздали нашим людям (один сосед по лагерю говорил мне:

— Знаешь, тут такие консервы вкусные. Только не понимаю, почему на банках собачка нарисована...).

После этого он уехал в Берлин на новеньком, только что купленном микроавтобусе. Через несколько недель Боря мне позвонил и рассказал, что с ним случилось на обратном пути из Глаухау в Берлин.

— Ты помнишь, я купил микроавтобус в Бонне. Оформил страховку на один перегон. Ну и поехал. У вас побывал, а потом значит домой. А по пути — туман страшный. Ни зги, а я, ты же знаешь, водить машину не умею, правил не знаю. Короче вцепился я одному чуточку в зад. Тот — другому, перед ним, тот дальше. Пробка там была. А я не видел. Тихо ехал, но затормозить не смог. Из-за тумана. И ты представляешь, сорок! Сорок машин в аварию попали из-за меня. Никто не погиб, только машины побили. Фашисты-мусора меня хватъ, а я им страховку в рыло! Потом выяснилось — на полмиллиона ущерб. Бог меня спас с этой страховкой. Я пожертвовал пятьсот марок на синагогу. Завтра идем с друзьями в баню обмывать аварию. Хочешь, приезжай — приветим, с девочками познакомим? А то ты там в Глуховке протухнешь!

...

Примерно треть моих коллег по лагерю не имела никакого отношения к еврейству. Некоторые мне даже об этом, не таясь, рассказывали. Это были украинцы или молдаване (был и один армянин), купившие свидетельства о рождении и паспорта специально для Германии. Стоили они тогда долларов по двадцать за ксиву, не больше. Все эти документы проверялись и просвечивались в полиции Глаухау так же тщательно, как и мои. Ну никак доблестные тевтоны не могли понять, что документы эти были подлинные, не фальшивые... выданные действительно теми учреждениями, которые должны были такие документы выдавать, заверенные настоящими печатями, подписанные реальными чиновниками, которые и должны были подписывать. Но... СОДЕРЖАНИЕ этих документов было насквозь фальшивое. Никого из таких «евреев» не разоблачили, не отправили назад в Украину, все они получили статус беженца, социальные пособия, а позже «фремденпассы», немецкие паспорта для иностранцев.

Много было половинок, как и я. С русскими женами и детьми-четвертушками. Только процентов десять из нас были действительно стопроцентными аидами. Настоящих, верующих, живущих по обрядам, обрезанных евреев — не было ни одного!

Были в лагере и антисемиты. Были и всамделишные, вооруженные огнестрельным оружием бандиты. Хорошо еще, они вели себя сдержанно, только иногда по ночам, когда напивались, стреляли из пистолетов с крыши общежития по звездам.

Вольфганг говорил мне, что жители Глаухау нас ненавидят и боятся.

Боялись — потому что видели наши бандитские рожи и слышали выстрелы по ночам. А вот за что они нас ненавидели? Я спросил об этом Вольфганга.

— Понимаешь, тут даже не ненависть, скорее жгучая зависть. Посмотри, когда ваша очередь пособие получать... у социала — два десятка ваших мерседесов паркуются, а ведь социальщику иметь машину запрещено. Немцу бы и в голову не пришло на тачке за социалом кататься. Да еще на такой... А вы — на мерсах, бмв, ауди. Местные жители думают так: эти новые приехали, они все льготы получают от западников, а нам ничего не останется. Им и закон не писан. Жиды проклятые...

Откуда мерсы и ауди? Многие привезли с собой из СССР деньги. Борис мне показывал портфель, полный валюты. Привезли деньги и тут же их вложили в дело. Начали перепродавать автомобили. Покупали в Нюрнберге и везли их в Дрезден. Пока гэдээровцы не расчухались. Наваривали бабки и покупали новые машины для перепродажи. У некоторых моих коллег через восемь месяцев «лагеря» уже было тысяч по сорок-пятьдесят марок — для того времени деньги огромные. У меня денег не было, но зато я мог общаться с немцами на их языке и даже пытался читать Кафку и Гессе в оригинале.

После окончания курсов все разъехались, кто куда. Я жил какое-то время в Дрездене, в пустующей квартире матери кузена моей жены, потом перебрался в город К..

Тут судьба взяла меня за шкуру и притащила в арбайтсамт (на биржу труда).

Не могу удержаться от соблазна, расскажу о своем первом посещении этого волшебного места, из окна коридора которого, очень к месту, была видна семиметровая голова борца за права трудящихся Маркса работы скульптора Кербеля.

Главное, что поразило тогда меня в этих узких коридорах — это выражение лиц посетителей. Тот, кто полагает, что у среднего немца нагловатое самодовольное лицо, должен непременно посетить арбайтсамт города К.. Какая уж тут наглость, какое уж самодовольство! Униженные и оскорбленные, на все готовые, измученные, серые, больные... Безработные гэдээровцы. Они потеряли не только работу, но и родину, привычный уклад жизни, веру в человека и надежды. Сильные и смелые к тому времени уже давно покинули город. Остались неисправимые патриоты, растерявшиеся, пьющие, пассивные, неумные. Управлять ими приехали с Запада люди, не сумевшие высоко подняться по карьерной лестнице в свободном мире.

После недолгого ожидания (часа полтора) меня принял господин Шульц. Как я потом узнал, этот невзрачнейший маленький человек в недалеком прошлом состоял в комиссии — не знаю при каком учреждении — решающей, можно ли гражданину демократической республики посетить бабушку в Ганновере или дедушку в Кёльне. Господин Шульц был приветлив, но суховат. Когда я ему на моем плохом немецком объяснил, что закончил Московский университет, десять лет работал в НИИ, имею какое-то количество печатных работ, выиграл даже конкурс молодых ученых... он спокойно посмотрел на меня своими мышьиными глазками и тихо сказал:

— Нам не нужны ученые вашей специальности, у нас самих ученые — безработные. И я не вижу никакой необходимости предоставлять работу иностранцу, в то время как столько граждан ФРГ сейчас лишены постоянного заработка и вынуждены влачить жалкое существование. Так что на нас не надейтесь, ищите работу сами. В следующий свой визит, предоставьте, пожалуйста, доказательства того, что вы посы-

лаете по почте ваши бевербунги (просьбы принять на работу), не меньше десяти в месяц, иначе мы начнем снижать вам пособие. Помните, никто вас сюда не звал, вы сами приехали и этим еще осложнили положение людей, которые тут родились и выросли. Долго эксплуатировать немецкую социальную систему, жить тут как пенсии, мы вам не позволим!

На мою просьбу, устроить меня на курсы немецкого языка, господин Шульц отозвался так:

— У нас нет денег на ваше обучение. Язык вам надо было учить до того, как вы прибыли в Германию. Раньше надо было думать! Впрочем, никто ведь вас тут насильно не держит. Поезжайте на родину, там вам учить язык не понадобится.

Как бы ни был мне противен господин Шульц и его поучения, крупицу правды они содержали.

...

Мне, обыкновенному советскому человеку, в московский период моей жизни и в голову не приходило, что где-то, почему-то можно жить, не работая, и жить не так уж и плохо. Такие понятия, как «социальное пособие» или «пособие по безработице» — были в СССР неизвестны. Да, наши инвалиды и пожилые люди получали нищенскую пенсию, на которую с огромным трудом, на хлебе и картошке, выживали. Более-менее приличную, так называемую «персональную пенсию», получали только немногие важные для коммунистического государства старики. Обычная пенсия составляла тогда от 50 до 110 рублей. Персональная — кажется 210 или больше рублей. За безработицу, которая считалась тунеядством, потерявших по каким-то причинам работу людей советское государство наказывало лагерными сроками. Был такой элегантный ход — уволить с работы еврея, подавшего заявление на выезд в Израиль, с «волчьим билетом», т.е. лишить его возможности устроиться на какую-либо другую работу, и посадить через два месяца «за тунеядство». То же иногда делали в СССР и с пытающимися уехать в ФРГ этническими немцами. В ГДР им уезжать особенно не препятствовали.

Помню, возвращался я с моим приятелем Володей с какого-то сабантуя. Шли мы по Лаврушинскому переулку, ря-

дом с Третьяковкой. Я посмотрел на здание галереи, похожее на терем-теремок, и перед моим внутренним взором пробежали почему-то не любимые картины Врубеля, а типичные для России мрачные сюжеты: «Утро стрелецкой казни» (лобное место перед собором Василия Блаженного, могучие виселицы у Кремлевской стены, стрельцы в колодках, плачущие жены и дети, злобная морда Петра Великого), «Боярыня Морозова» (Чудов монастырь-тюрьма, еретичка-раскольница в цепях, нищие, юродивые) и «Иван Грозный убивает своего сына» (похожий на дьявола царь сжимает в объятьях своего истекающего кровью сына, которого только что ударил жезлом в висок)...

Я спросил Володю:

— Слушай, а как поживает Юлечка М.? Что-то давно ее не видно.

У этой самой Юлечки были такие же глубокие эротичные синяки под глазами, как у несчастной суриковской боярыни. Может быть поэтому она мне тогда и припомнилась.

— А ты не знаешь, что ли?

— Что не знаю?

— Да она уже три года в Западном Берлине живет!

— Вот те на... Она же православная, все по монастырям носилась. Про батюшку своего заливала, про иконки... Как же она там живет? Где работает? Она вроде и языка не знает и от всех наук отеклась.

— Да не работает она, живет на пособие.

— Какое такое пособие?

— А вот такое. Если ты на Западе не работаешь — пособие будешь получать. Не шибко велико, но на скромную жизнь хватит. У них безработные лучше живут, чем у нас профессора. Бананы все жрут и белое мясо. Порнуху смотрят и в фолксвагенах гоняют.

Так я узнал о существовании — пособия. И, признаться, мне, живущему в обнищавшей перестроечной Москве, получавшему позорно маленькую зарплату научного сотрудника, описанная Володей жизнь берлинского безработного показалась раем.

Порнуха! Бананы! Мясо! Потрясающе! И еще и на работу не надо ходить и делать там заведомо бессмыслен-

ные, вредные дела. Не надо смотреть на опостылевшие верноподданные рожи коллег и слышать с утра до вечера их дебильные разговоры. Можно сидеть себе спокойно и рисовать.

...

В счастливое — несмотря ни на что — время студенчества я осознал одну несчастливую для меня очевидность и одну, наоборот — прекрасную. Моим несчастьем стало то, что математика и механика, как быстро выяснилось, меня вовсе не интересовали. Лекции и семинары раздражали и злили, хотя я их посещал нерегулярно. Учиться я не хотел — и не учился, сдавал только кое-как зачеты и экзамены. Перспектива — после МГУ стать ученым и играть чужую роль десятилетиями — ужасала. Но деваться-то было некуда. Не на фабрику же идти работать! Работа на фабрике, на заводе, на стройке или на земле, крестьянином, считалась в государстве рабочих и крестьян страшнейшим унижением, позорным занятием безмозглых кретин, последней перед тюрьмой ступенью падения человека.

Моим счастьем стало то, что я начал — самостоятельно — заниматься рисунком, живописью и историей искусства. Это было сказочно. Ван Гог, Сезанн, Дега, Гоген! Мунк! Рембрандт! Макс Эрнст! Клее! Брейгель и Босх! Что может быть лучше? Ничего. Я рисовал, малевал, искал и читал книги, рассматривал репродукции, бегал в Пушкинский музей. Позже, в середине восьмидесятых годов, неоднократно принимал участие в выставках художников-нонконформистов. Искусство стало для меня главным и любимым занятием, содержанием моей жизни. К сожалению, за любовь к искусству в Советском Союзе денег не платили. Даже наоборот — если ты рисовал, к тебе относились настороженно, почти как к врагу. Не имея в руках удостоверения МОСХа (Московского Союза Художников) невозможно было участвовать в каких-то выставках, легально продавать картины, даже краски и холсты невозможно было кушать...

Вы спросите: какого черта ты не поступил в Академию Художеств, в Суриковский, на искусствоведение или еще куда-нибудь, где учат малевать и изучают твоих ван-гогов?



Да, отвечаю я вам, вы были бы правы, если бы мы жили в нормальном государстве, а не в агрессивной диктатуре, использующей коммунистическую демагогию для закабаления и одурачивания собственного населения. Я чуть не полгода ходил на лекции — благо недалеко — по истории древнегреческого искусства. На которых профессор рассказывал нам не столько про Фидию, Поликлета и Мирона, сколько про восприятие античности — Марксом, Энгельсом и Лениным. Слава Богу, незабвенный козлотур Лёня Брежнев ничего о древнегреческом искусстве не написал, а то бы и его козлятину пришлось учить. Для контраста я посетил еще курсы лекций по русской иконописи. Читал его доцент с кафедры научного атеизма. Внушал нам, — как церковники с помощью икон промывали мозги верующих. Помню, какой-то дерзкий студент спросил профессора, не является ли изображение Ленина иконами и не служат ли они той же цели. Доцент угрюмо посмотрел на студента, вздохнул и продолжил лекцию.

Все советские высшие учебные заведения заражали студентов коммунистическими трихинами. Эта идеологическая обработка и была главной целью любого вуза. Но если на мехмате МГУ помимо изучения истории партии и научного коммунизма нам еще и преподавали математический анализ и механику космического полета, то на так называемых гуманитарных факультетах — все предметы были насквозь пропитаны ядовитой идеологической галиматфеей, учиться там было контрпродуктивно. Поэтому я и не пошел в «художества», а поступил на мехмат.

Когда Володя рассказал мне о том, что наша общая знакомая Юлечка не работает и бананы жрет, я естественно подумал, что... было бы неплохо и мне... не работать... рисовать... И по музеям ходить. И бананы, и мясо...

...

В 1992 году, летом, на мою жену, гулявшую с нашей полугодовой доченькой в огромном городском парке города К., напал какой-то мерзавец. Вероятно, скинхед. Он набросил ей сзади на шею петлю и начал душить. Жена упала, а детская коляска с спящей дочкой покатила в низину. Про-

ехав метров двадцать, коляска врезалась в дерево, опрокинулась, ребенка из нее выкинуло. В этот момент жена потеряла сознание. Не знаю, что было бы дальше, но что-то испугало преступника, и он убежал. Может, прохожий какой показался или велосипедист. Жена пришла в себя, побежала к дочери. Та, слава Богу, не пострадала.

Меня в тот день в городе не было. Я приехал на следующий день, заплаканная жена мне все рассказала и мы пошли в полицию. Написали заявление, началась беседа. Высокая женщина с чутунным лицом прочитала заявление, потом мрачно посмотрела на мою маленькую, трясущуюся жену и спросила жену чутунным же голосом:

— Он вас изнасиловал?

— Нет.

— Нанес вам какие-либо телесные повреждения, которые вы можете нам предъявить?

— Я могу только показать вам красную полосу на шее от веревки. Видите?

— Это не доказательство. Не могли бы вы составить словесный портрет преступника?

— Он подкрался сзади, набросил мне на шею веревку и начал душить. Я потеряла сознание. А когда очнулась — его уже не было. Я его видела издали. Он убежал. Заметила только, что он лысый, как скинхед, и высокий.

— Откуда вы знаете, что этот, убегающий, был именно тем, кто вас якобы душил. Может, какой спортсмен, не имеющий отношения... Мало ли кто. Вы действительно были вчера в парке? Что вы хотите добиться своими измышлениями? Знаете ли вы, что ложные показания — это уголовное преступление?

Беседа превратилась в допрос. Тон полицейской дамы становился все более угрожающим. Я попытался вмешаться, но безуспешно. Меня одернули. Пригрозили вывести из комнаты. Подошли другие полицейские и стали пристально на нас смотреть. Я разглядел в их бесцветных глазах плохо скрываемое презрение. Я тогда понимал только каждое четвертое слово. Переводчика не позвали. А по-русски, хотя все присутствующие его более или менее хорошо знали, с нами никто говорить не пожелал.

Жена вдруг зарыдала. Мы быстро покинули полицию. Полицейские орала нам вдогонку что-то гнусное. Не понял, что.

Мы ждали, что полиция потребует нас к себе или, по крайней мере, сообщит, поймали ли мерзавца скина, но так и не дождались. Жена через год оставила город К., уехала с дочерьми в Баден-Вюртемберг, к родителям. А я остался в городе К. Года примерно через два я узнал, что в том же парке изнасилована и убита девушка. Задушена шнурком. А еще лет через десять, один знакомый левый журналист-краевед рассказал мне следующее: «В те времена, полиция в бывшей ГДР еще не пришла в себя от шока объединения и симпатизировала неонацистам. Хорошо еще, что ты и твоя семья от нее не пострадали. Преступника в парке, скорее всего, никто и не искал. Мало того, если бы он твою жену прикончил вместе с ребенком, да и тебя заодно, они бы только обрадовались. Они и сейчас тут у нас не шибко лучше. Иностранцев ненавидят. Хотя внешне — скрывают, конечно, ненависть. Мины строят вежливые, а в сердцах — бешеная злоба. Кстати, в том самом здании, где твою жену допрашивали, раньше одно время размещалось Гестапо».

После этого происшествия до меня дошло, что жизнь в Германии будет вовсе не тем, о чем я мечтал. Коемуждо по делам его.

## **ИСТОЧНИК** **(из интервью, 2009)**

Для писателя существует только один источник — прошлое. И только один адресат — будущее.

Из прошлого в будущее устремляется поток героев, событий, мизансцен и мыслей. Через череп писателя, через компьютер настоящего...

Писатель пишет свой текст в скобках существования...

Я леплю словесные фигуры. Обретающие по ходу работы самостоятельность и самобытность, оживающие в тексте, берущие свои судьбы в свои руки, стремящиеся выйти за скобки...

Из самого себя, знакомых, близких, далеких и вовсе никогда не существовавших я делаю новых людей... Они — их страсти, слезы и радости — главная цель, извечное наслаждение писателя, этого фанатичного переработчика вторсырья.

Что мне помогает писать рассказы? Тяга будущего и боль пережитого. Старейший жанр литературы — рассказ — родился из желания преодолеть боль прошлого... Преобразить ее. И выплеснуть в будущее новой энергией жизни.

Охотник рассказывает о своих ранениях на охоте. О драконах и саблезубых тиграх. Шаман — о путешествии в страну мертвых. О битвах со злыми духами. Писатель — это и метафизический охотник и путешественник в загробном мире и борец с драконами...

В сумерки или холодной ночью, когда страхи и ужасы гнетут сердце, хочется посидеть у камина с друзьями. Послушать бывалого охотника Балдео из «Книги джунглей Киплинга». Или прокуриста Иозефа К. из «Процесса» Кафки. Или пасечника Фому Григорьевича из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», который, как известно, никогда не носил пестрядёвого халата, а сапоги чистил самым лучшим смальцем...

Русский писатель в Германии? Оксюморон! Так, так...

Кому все это надо? Никому, кроме тебя... Литература — это твое последнее тело, подготовь его к вечности.

...

Родился я в Москве в 1956 году. В январе. Как мне потом рассказывали — в лютый холод. Моя беременная мама решила на санках покататься. Очнулась — в роддоме на Шаболовке. В детстве я жил в «Доме преподавателей» на Ломоносовском проспекте. Учился в знаменитой математической Второй школе за универмагом Москва. Литературу нам преподавал толстовец Герман Наумович Фейн (Герман Андреев) — блестящий педагог и добрый человек. Он научил нас читать и анализировать текст. Атмосфера свободы и творчества Второй школы раздражала власти гришинской Москвы. Школу разгромили. Тогда это делали еще без применения ракет воздух-земля, но тоже достаточно эффективно.

В 1978 году я закончил мехмат МГУ. Науку я не любил, учился только для того, чтобы не расстроить бабушку. После окончания университета десять лет работал в НИИ. Параллельно посещал частные уроки живописи. Неоднократно бывал у легендарного Михаила Матвеевича Шварцмана, создателя «иератур». В восьмидесятых годах участвовал в выставках неофициального искусства в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице в Москве.

В 1990 году эмигрировал в Германию с женой и дочерью. Наш тогдашний отъезд был, как это сейчас модно говорить, не эмиграцией, а эвакуацией из страны, грозящей не только лишениями и голодом, но и погромами. Погромы не состоялись, но мы уехали.

Я человек без биографии. Писать рассказы начал в 48 лет. В этом возрасте Довлатов уже умер. А я бросил рисование и начал рассказы писать.

...

Мне не надо путешествовать и встречаться с людьми, чтобы увидеть и понять мир — мир сам приходит ко мне в мой подвальный театр («Записки следователя») и выступает передо мной на сцене, а я его журю и подбадриваю... Кстати, жуткий этот рассказ — один из самых реалистических в моей книге капричос. Был у меня двоюродный брат отца, следова-

тель, жил в Щекино под Тулой. Вся история убийства оттуда, со всеми подробностями. Кто на самом деле убил — никому не интересно. Важно — кого можно за это засадить и что с этого можно поиметь. А сверхзадача — чисто советская — показать народу, что карающая рука, вот она, тут! С Калдырихой я беседовал недалеко от нашей первой дачи под Нарой. Многие подробности «снов» — из бессвязных записок дядюшки Шурика. Он умер в своей однокомнатной квартире в Щекино. Лет семидесяти пяти. Милиция взломала дверь. Шурик лежал мертвый на полу. Тетрадочку его передал мне другой мой родственник, который ездил бедного Шурика хоронить.

Меня иногда обвиняют в злоупотреблении насилием и сексом. А мой натурализм, между прочим, произошел не от желания писать так-то и то-то, а от жестокости советской жизни. Нашей жизни. Жизни вообще. Как-то я подсчитал на пальцах, скольких моих родных убили или репрессировали при Сталине, сколько близких, друзей, знакомых погибли в мое время и позже — в девяностые годы прошлого века. Пальцев не хватило. Я знаю, что натуралистические сцены отвращают от моей прозы две главные группы читателей — чувствительных мужчин и стареющих женщин. Знаю, но поделать ничего не могу — мои герои манифестируют не мое, а свое либидо. Иногда в довольно грубой форме. Мешать им в этом неблагородном деле я не имею права. Безобразничают они, а шишки сыплются на меня, на автора... Это несправедливо — не Толстой спал с лысым Вронским, а потом бросился под поезд, а мадам Каренина, не Достоевский насилывал девочку, а потом удавился, а Ставрогин.

Добавочной «жесткости» моей прозе придают немецкий язык и немецкое искусство... С кем поведешься... Немецкое предложение — конкретно, ясно. Информация, точная реплика. Приказ. А фраза на русском языке зачастую вовсе не имеет смысла. Как мост в никуда.

И немецкое искусство удивительно конкретно, до тривиальности прямо. Прямо божественный Дюрер. И Кранах. И Грюневальд. Прямые и экспрессионисты. Не циничны, — конкретны. Смотрел недавно выставку эротической графики Георга Гросса — и с удивлением заметил фактурное сходство с моими текстами, посвященными советской жизни...

Рассказ «Перед грозой» — не тяжкая выдумка. А реальность. Как и другие мои рассказы.

Проза — это палящее метафизическое пространство...

От зноя жизни не спрячешься в словечки. Автору не к лицу жеманство. Приходится принимать на себя тяжесть небес. Небес, телес — все одно. Тут не отрава, не забава, не натурализм. Тут опыты существования. Чистая экзистенция. Нулевая литература. Без фиговых листочков культуры.

...

На мой взгляд, честный писатель, сочиняя и воспаряя, использует даже не личный опыт, а, еще ниже, — свою низость и убожество. Гоголь только и делал, что упивался убожеством и низостью Плюшкиных и Маниловых, которых вытаскивал из закровов собственной души. То же самое делал и Достоевский со своими бесами (игрок, сладострастник, убийца)... И даже Толстой (ревность в «Крейцеровой сонате»). Кроме собственной низости или, если угодно, человечности, отлитой в разные образы, у писателя и нет ничего... Все остальное — помпезное вторичное вранье, самовнушение, бессмысленные словесные спекуляции.

Довлатов умудрился из собственных комплексов создать или выдуть как стеклодув целую галерею героев-компенсаторов. Это роднит его с Пушкиным... Который в своей литературе представляется Дон Жуаном или Германном или конногвардейцем, а в реальности должен был против воли надевать мундир камер-юнкера и выпрашивать у царя деньги.

Недавно умер Солженицын. Этот писатель, по видимому, верил в то, что так, как он написал, все на самом деле в истории и было. Это мания величия. У меня такой веры нет. Человек не понимает не только других людей, но и самого себя. Что же говорить об истории... Но не все так безнадежно. Если писатель беспристрастен, легок как пух, морально нейтрален, политически не заряжен... Тогда он может уловить неуловимое — тайные течения жизни, скрытую жизнь образов и слов. Если же себя заранее «зарядить» чем-то положительным — например патриотизмом, православием и народностью — то художественная правда, вильнув хвостиком, исчезнет. Помните Пушкинское — «Зачем крутится ветр в овраге, подьмет лист и пыль несет, когда корабль в

недвижной влаге его дыханья жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на чахлый пенъ? Спроси его. Зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт».

В рассказе «Доносчица» грань между реальностью и вымыслом не размывается — там все вымысел, представляющийся автору самой реальной на свете реальностью. Это наш советский — чахлый пенъ...

...

Алконост — это райская птица. Нечто вневременное. Поэт Николай Клюев писал: «Я алконостную Россию засунул в дедушкин сусек», «У Алконоста перья — строчки, пушинки — звездные слова». Иногда Алконоста под влиянием прекрасной картины Васнецова неправильно называют — птицей печали. Противопоставляя ее птице радости — Сирину. Алконост привиделся герою ключевого рассказа моего сборника. Перед добровольной смертью. Как последнее упование. Попытка пробиться к свету, к радости райской.

В оформлении изданной Литературным европейцем книги «Алконост» я использовал советские плакаты. Меня в этих дебильных изображениях привлекает жалобная нота исчезновения, бессилия идеологии перед сменой исторических формаций. Сменой платформ. Их невыносимым скрежетом. Эта кукурыникова ложь была для большинства населения огромной страны — правдой. Сталинские соколы летали в розовом советском поднебесье. Могучие коровы выдавали кубические километры молока. Доярки бряцали блестящими бронзовыми медалями. Миллионы советских людей мирно трудились на своих местах и над всем этим воспарял великий светлый человек Сталин. И вдохновлял. И помогал. И думал о каждом. И вот, все это барахло выброшено на помойку истории. С которой ее пытаются достать новые вожди слепых...

Развивайте свиноводство! Проклятье поджигателям войны! Строго храни военную тайну, сынок!

В своих рассказах я пытаюсь найти этого «сынка», этот сюрреалистический звук. Диссонансную, пронзительную ноту, звучащую в эпоху перемен. Так что совет-



ские плакаты в книжке — это только изобразительная параллель повествованию. Инварианты совкового сознания. Декорации мелодрамы.

...

Корень моего писательства — Юго-Запад Москвы, среда моего детства. Туда, в прошлое, бежит мысль, стремится душа. Туда направляются и слова. Чтобы собрать на лапках букв смысл прошедшего бытия, как пчела собирает мед...

Мандельштам писал: «Я человек эпохи Москвошвея».

А я человек Ленинского проспекта, по которому каждый день ездил на троллейбусе в школу... Мой мир — это Ленинские горы, кинотеатр Прогресс, Калужская застава, Нескучный сад, улица Панферова, где я жил в университетском доме, проспект Вернадского, метро Юго-Западная, рядом с которым, в тринадцатизэтажном доме находилась наша вторая кооперативная квартира. После окончания университета и до отъезда за границу я жил в Ясенево, но это неприятное место так и не полюбил. Мое сердце осталось на Юго-Западе.

Там, на Юго-Западе Москвы частично осуществилась задуманная Сталиным и материализованная в хрущевско-брежневское время коммунистическая утопия. Был построен советский Город Солнца. Роль центрального храма на холме выполнял храм науки — МГУ.

Во время народных праздников или встреч космонавтов Ленинский проспект украшали красными полотнищами, вечерами загоралась щедрая иллюминация, через металлические репродукторы в уши москвичей транслировалась оптимистическая торжественная музыка. Первый концерт Чайковского в исполнении Андрея Гаврилова... Огромные кирпичные дома внушали жителям бесчисленных коммуналок ложное чувство уверенности в завтрашнем дне, превосходства над остальными москвичами и обитателями провинции. Юго-Запад был триумфом, мечтой, советским Олимпом.

Мое первое послесталинское поколение, выросшее на этом Олимпе, было морально раздавлено историей. О его судьбе я и пишу в своих рассказах. Без обобщений и морализаторства. Без претензий на литературу.

Литература сама по себе меня больше не интересует. Меня не трогает форма, почти не привлекает поэзия. Я по-

старел. И цель моя традиционна для стареющих — пробиться к ускользающей реальности, воскресить в памяти навсегда утраченное. Слава Богу, память не безгранична.

...

На событие можно смотреть по-разному. Например, сверху. Это позиция всевидящего ока. Оно смотрит с небес на людишек, на их копошение, видит все — их рождение, их ничемную жизнь и их конец. Писатель «всевидящее око» планирует, определяет жизнь своих героев. Создает композиции или конструкции, разворачивающиеся во времени по строго рассчитанному расписанию... Конец известен заранее. Ужасы деструкции и восторги апофеоза пережиты еще до начала писания.

Альтернативой такому писательству служит органическое письмо, открытая композиция. Органический писатель не смотрит на мир сверху, он находится внутри мира. Внутри текста. Он участник, голос, тело, сознание, предложение, слово...

Он не планирует повествование, а подчиняется его ходу. Освобождает своих героев от предустановленных пороков или добродетелей, разрешает им самим развиваться, говорить, действовать.

Боль пережитого вдохновляет писателя на писание, воспоминание — это первичный импульс, завязка... Писатель фиксирует образ словами, создает ядро. И толкает его. Дальше ядро катится само — писатель едва успевает записывать, действие рассказа развивается, разливается как река в половодье. Словесная образная жидкость течет по прихотливым протокам жизни. Течет вниз, как дао... Конец путешествия заранее не известен, апофеоз может и не произойти вовсе.

Действие не следует схеме, предустановленной гармонии или запрограммированной катастрофе, а складывается из внутренних потребностей, из прозаических случайностей, из вольного развития речи. Мысли. Судьбы...

Не нужно учить человека и человечество, они не обучаемы. Не нужно что-то доказывать — это бесполезно, жизнь опровергает любые истины. Не нужно манипулировать героями, надо дать им свободу. Воздержаться от подтасовок.

Лев Толстой понимал стохастическую природу бытия, но в своей прозе не мог удержаться от планирования. Его органичность распространялась только на детали. Которые именно из-за этого нам так нравятся, несмотря на несносно-большое их количество.

Достоевский слушал голоса своего расщепленного сознания, его органичность распространялась до уровня диалогов. Ветки повествования он силой связывал в пучки и располагал их крестообразно. Так диктовала ему его христианская совесть. От этого его герои теряли убедительность. Исчезала тайна. Романы наполнялись истерикой не желающих подчиняться автору героев. По жилам повествования разливалась ядовитая Достоевщина.

...

Классические примеры органичного письма — это «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Жизнь Тристрама Шенди» Лоренса Стерна. Из современной литературы — «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева.

Хотя у Ерофеева страшный конец с шилом в горле просвечивает уже в самом начале поэмы — т.е. все повествование происходит, как сказал бы Флоренский, в «обратном времени». Но развитие внутри глав бессмертной поэмы — органично. Свободно. Повествование льется как водка в стакан, вдохновляясь от самого себя...

Органичны и «Мертвые души» Гоголя — и внутри одной фразы и в рамках глав. У этой книги нет архитектурной структуры, скорее это аквариум. Попытка превратить его в некое подобие готического триптиха или иконостаса Гоголю не удалась. Его герои так и не стали иконами или иллюстрациями добродетели. Свиные и кувшинные их рылы остались торчать в окнах гоголевской прозы. Не фантазия и не грехи писателя подвели его, а сама животная природа человека-подлеца. Чичикова невозможно переделать в рачительного хозяина. В Коробочке или в даме, приятной во всех отношениях, нет ни скромной добродетельной помещицы, ни тем более «Царицы Небесной». Сопротивление героев навязываемой им их создателем сущности или судьбе может привести писателя к катастрофе. Что и случилось с Гоголем. После его бессмысленно ранней смерти мир так и остался лежать во зле.

Я пишу преимущественно визуально. Мысли, рассуждения — вписываю в текст, только если мои герои думают или рассуждают. Даже в диалогах я стремлюсь к визуализации... Т.е. говорящий персонаж, словами, как штриховкой, набрасывает свой характерный силуэт, — рисует сцену. Наглядность, простота, естественность прозаического описания — это то, что я особенно ценю в прозе. Длинные предложения наводят на меня тоску — как рисунки с бесконечным количеством лишних линий...

Я не боюсь элементарно построенной описательной фразы. Если бы мог — писал бы без глаголов. Глагол — это авторский пинок в зад герою. Иди туда-то и туда-то. Делай то-то и то-то, говори так. Чувствуй так... А из безглагольного описания действие вылезает само. И движения и мысли и чувства...

Пустое пространство на рисунке играет важнейшую роль. Чтобы придать ему форму и рисуются линии. Таинство прозы совершается во время короткой паузы для дыхания — в бессловесной пустоте между фразами, между словами и буквами. Герои прозы живут тут самостоятельно. Это их главное бытие — в отрыве от вериг языка...

## СОДЕРЖАНИЕ

Скорпионы.....	5
Бешеный волк.....	7
Аленький цветочек.....	9
Огненный ангел.....	14
Пальцев.....	17
Вакханалия.....	27
Псоу.....	35
В институте.....	51
Новый год.....	62
Записки следователя.....	72
Свидание.....	87
На Пасху.....	99
Любовь.....	109
Моя русская бабушка.....	123
Купала.....	129
Смерть Саши.....	139
У Григория Егоровича.....	148
Сад наслаждений.....	157
Африка.....	163
Волька.....	175
Коля и петя.....	186
В больнице.....	189
Перед грозой.....	199
Вечная жизнь Зубова.....	206
Утконос.....	227
Доносчица.....	239
Чингачгук.....	253
Алконост.....	270
Монстр.....	285

Охота на вепря .....	292
Капричос .....	305
Шесть посланий виртуальной возлюбленной .....	315
Анапа .....	323
Шанель номер пять .....	341
Вечер Литвиненко .....	354
Перепрыгнул.....	361
Несколько слов о эмиграции ( <i>из интервью</i> ).....	369
Источник ( <i>из интервью, 2009</i> ).....	389

Книга впервые напечатана  
в киевском издательстве КАЯЛА  
в 2020 году.  
Настоящее издание – это авторская перепечатка.

**Игорь Шестков**

САД  
НАСЛАЖДЕНИЙ